

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Том 11 * № 3 * 2012

**SOCIOLOGICAL
REVIEW**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2012
Том 11. № 3

ISSN 1728-192X (Print)

ISSN 1728-1938 (Online)

Интернет-версия журнала: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: puma7@yandex.ru

Главный редактор Александр Фридрихович Филиппов

Заместитель главного редактора Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии Светлана Петровна Баньковская
Виктор Семенович Вахштайн
Дмитрий Юрьевич Куракин
Ирина Максимовна Савельева
Андрей Михайлович Корбут (Беларусь)
Джеффри Александер (США)
Эдуард Надточий (Швейцария)

Редактор интернет-сайта Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературный редактор Каринэ Акоповна Щадилова

Корректор Инна Евгеньевна Кроль

Компьютерная верстка Андрей Михайлович Корбут

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Лео Штраус: искусство писать и искусство читать..... 4
Александр Павлов
- Преследование и искусство письма..... 12
Лео Штраус

SCHMITTIANA

- Спор об основах политического: Лео Штраус versus Карл Шмитт..... 26
Тимофей Дмитриев
- Глоссарий..... 41
Карл Шмитт

РУССКАЯ АТЛАНТИДА

- «Единственный голос, к которому прислушивается правительство»..... 45
Евгений Емельянов, Андрей Тесля
- Письмо Ю. Ф. Самарина — А. И. Герцену..... 60

CULTURAL SOCIOLOGY

- Культурсоциология и «Уотергейт»: «Политика, выходящая за пределы
обыденного»..... 75
Дмитрий Куракин
- «Уотергейт» как демократический ритуал..... 77
Джеффри Александер

ПЕРЕВОДЫ

- Коррупция — возвращение «старого» мира в эпоху модерна?..... 105
Карл-Хайнц Заурвайн
- Безгосударственность как нормальный формат социальной жизни:
аргументация Дж. Скотта..... 120
Ирина Троцук
- Четыре приручения в истории человечества: огня, растений, животных и... нас..... 123
Джеймс Скотт

ЭТНОМЕТОДОЛОГИЯ И КОНВЕРС-АНАЛИЗ

- «Что такое этнометодология?» — 40 лет спустя..... 142
Светлана Баньковская
- Что такое этнометодология?..... 144
Гарольд Гарфинкель

РЕЦЕНЗИИ

Порядок на местах, или Борьба с безопасностью.....	155
<i>Андрей Корбут</i>	
От манифеста к тексту.....	164
<i>Оксана Запорожец</i>	
Творческое действие в креативном городе.....	169
<i>Дмитрий Сапонов</i>	
Abstracts.....	178

Лео Штраус: искусство писать и искусство читать

Александр Павлов*

Аннотация. Статья представляет собой предисловие к публикации одного из самых важных текстов политического философа XX века Лео Штрауса «Преследование и искусство письма». Автор описывает герменевтику и правила интерпретации текстов, выработанные Лео Штраусом. В статье рассматривается оригинальная позиция словенского философа Славоя Жижека по отношению к мнению Штрауса об экзотеризме и эзотеризме. Автор также пытается ответить на вопрос, мог ли сам Лео Штраус писать «между строк» и были ли у него на это причины, и в итоге приходит к выводу, что Штраус не только мог, но и писал эзотерически. Однако, что именно Штраус писал «между строк», другой вопрос и тема нового исследования.

Ключевые слова. Лео Штраус, Славой Жижек, Эрик Фёгелин, Александр Кожев, политическая философия, эзотеризм, принуждение, преследование, цензура, истина, искусство письма.

Как свидетельствует биограф Жака Лакана Жак-Ален Миллер, Лакан прочел книгу Лео Штрауса «Преследование и искусство письма» сразу после её выхода в свет в 1952 году (Миллер, 2011: 30). Лакана на этот текст навел Александр Кожев, друг и доброжелательный оппонент Штрауса. Статью, благодаря которой философа вспомнят через тридцать лет после смерти и о которой будут спорить его критики и сторонники, Штраус опубликовал в 1941 году (Strauss, 1941), а спустя 11 лет Штраус выпустил одноименную книгу (Strauss, 1952), куда вошли еще несколько текстов — о Маймониде, Йехуде Галеви и Спинозе, а также упомянутая статья в качестве методологического указателя к чтению. В 1949 году Штраус прочел несколько лекций о естественном праве, а в 1953 году, собрав эти лекции под одной обложкой, опубликовал книгу «Естественное право и история» (Штраус, 2007). Обратившись к изучению естественного права и получив ставку профессора в университете Чикаго, он приостановил свои «эзотерические исследования». Таким образом, в период с 1941 по 1952 год Штраус разработал и применил метод, с помощью которого следовало читать великие тексты. Остается вопрос: не пользовался ли он сам, научившись «читать тексты между строк», «письмом между строк», чтобы оставить тайное послание молодому поколению?

* Павлов Александр Владимирович — кандидат юридических наук, доцент кафедры практической философии философского факультета НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ. Email: ale-pavlov@yandex.ru

© Павлов А. В., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

Кожев вступил со Штраусом в публичный спор, посвященный книге «О тирании» (Штраус, 2006; Strauss, 2000), в 1950 году (Kojève, 1950). Кожев разделял далеко не все соображения Штрауса о тирании, но по поводу «искусства письма», кажется, был согласен со своим другом абсолютно во всем. Во всяком случае, в 1964 году Кожев опубликовал статью «Император Юлиан и его искусство письма», в которой отдал дань уважения своему другу и предпринял в его честь попытку прочитать произведения императора Юлиана «между строк». В статье подчеркивалось, что Юлиан, будучи политиком, говорил о возможности писать между строк теми же словами, что и Штраус (который, по мнению Кожева, не читал Юлиана), и с большим успехом это письмо практиковал. Не намек ли это на то, что Штраус, заведя речь об эзотерическом стиле великих мыслителей, сам практиковал этот стиль?

Если Штраус действительно хотел сказать что-то важное только избранным читателям, не означает ли это, что он ошибся, приравняв, в соответствии с мыслью Сократа, знание к добродетели? То есть не оказалась ли ложной его идея о том, что поделиться правдой, которую ты знаешь, с благожелательно настроенными, достойными доверия, рассудительными друзьями безопасно? Если судить по обвинениям многих исследователей в том, что у Штрауса было тайное учение, которое он нес молодым людям, то на поверхностный взгляд эта идея может показаться несостоятельной. Однако тексты Штрауса подверглись внимательному прочтению и последующему обсуждению, и разве не свидетельствует это скорее о правоте мыслителя? Кроме того, он уже давно умер и физически явно не мог подвергнуться преследованию. И поскольку речь идет о тридцатилетней дистанции между смертью Штрауса и актуализацией его творчества, разве это говорит о том, что «молодые люди», к которым обыкновенно обращается любой автор, пишущий между строк, усвоили учение Штрауса?

Ответ на вопрос, зачем Штраусу рассуждать о «тайном искусстве письма», если он сам решил практиковать это искусство, довольно простой. Мы обнаруживаем его именно у Лакана. Миллер считает, что ссылка на «Преследование и искусство письма» Штрауса очень точно характеризует собственный дискурсивный, аналитический метод Лакана: «Есть вещи, которые следует давать понять, не высказывая их прямо, ибо высказывая их прямо, мы рискуем навлечь на себя гонение Другого и его гнев. Говорить поэтому приходится между строк, чтобы услышать могли лишь те, кто должен услышать. О том, что не должен услышать никто, мы просто молчим» (Миллер, 2011: 30). Действительно, не хотел ли Штраус того, чтобы, во-первых, его прочитали «молодые люди», и во-вторых, те, кто благодаря его, казалось бы, простому, но в то же время довольно туманному тексту стал бы вычитывать этот текст «между строк» и искать там тайное учение?

Тем более важно, что Штраус, по его собственному признанию, реабилитирует этот метод в современной исторической науке. Он отмечает, что методология чтения текстов на предмет их тайного содержания утеряна и забыта, что ныне в моде совершенно другой способ интерпретации текстов и что свободно говорить о возможности адаптации литературной техники к «запросам» «преследования» мешают

обычаи, возникшие благодаря изменениям в методах исторических исследований. Штраус делает особый упор на «чтении между строк», а вовсе не на письме. На самом деле сказать о том, что великие мыслители прошлого писали между строк, это не сказать ровным счетом ничего. Да и какой толк знать, что кто-то умел «писать между строк», если не можешь между строк читать. Штраус говорит именно об искусстве чтения, а не письма, это очевидно. Его задача — предоставить внимательному, а не поверхностному молодому читателю «правила для руководства ума» при чтении великих текстов.

Но зачем вообще читать тексты между строк? Если Миллер прав, что Лакан боялся избежать гнева Большого Другого, то по отношению к Штраусу требуется иное объяснение. Дело в том, что на протяжении всей истории человечества, даже в самые либеральные ее периоды, существовали различные формы преследования за свободу высказывания и даже за свободу исследования — казнь, изгнание, заточение в тюрьму, бойкот. Однако вместе с тем сохранялось и независимое мышление — независимое, следовательно, неудобное правящему режиму. Правящий режим принуждает мыслить так, как надо именно ему. Но Штраус различает «принуждение» и «преследование». Первое, по-видимому, обращено к молодым людям, мысль которых еще не сформировалась и которых еще можно принудить мыслить так, как угодно режиму. Второе, кажется, направлено на тех, кто каким-то образом уже стал независимым мыслителем и может высказывать мнение, неудобное режиму. Чтобы избежать преследования, мыслителю необходимо «прятать» свою мысль между строк. При этом автор должен быть прозорливым настолько, чтобы оставаться понятным для тех, к кому он обращается таким образом.

Наиболее простой способ объяснить, зачем необходимо уметь писать между строк и как это делать, — обратиться к самому Штраусу: «...рассмотрим *простой пример, который, я верю, не настолько далек от реальности* (курсив мой. — А. П.), как это может поначалу показаться. Мы легко можем представить себе *историка* (курсив мой. — А. П.), живущего в тоталитарной стране, в целом уважаемого члена единственной существующей партии, который находится вне всяких подозрений. Мы можем также представить, что ряд научных изысканий привел его к сомнениям в правильности одобряемых государством взглядов. Никто не может помешать историку опубликовать статью, в которой он со всей страстью обрушится, скажем, на либеральные взгляды. Однако прежде чем критиковать и атаковать эти самые взгляды, ему, безусловно, придется их изложить. Это изложение будет выдержано в тихой, невыразительной и даже слегка скучной манере, которая будет казаться неестественной. Он станет использовать множество специализированных терминов, приводить большое количество цитат и придаст чрезмерную важность несущественным деталям. Покажется, что автор предпочел священной войне человечества мелкие дразги буквоедов. И только когда речь пойдет о самом важном, о самой сути, тогда только автор сформулирует три-четыре предложения в том лаконичном и живом стиле, который только и способен привлечь внимание юноши, привыкшего мыслить. Как это ни странно, в этом центральном отрывке суть „вражеской“ теории будет изложена

четче, жестче и привлекательней, чем она была сформулирована в период расцвета либеральной мысли, ибо историк негласно отсекает все нелепые „отложения“ на ее теле, которые смогли сформироваться за тот период, когда либерализм, уже добившись успеха, погрузился в состояние застоя. Юный и рассудительный читатель впервые сможет взглянуть на запретный плод. При этом критическая часть, весь основной объем произведения будет представлять собой яростный пересказ наиболее злобных изречений „священных книг“ государства. Эти несдержанные высказывания вызовут отвращение или даже скуку у интеллигентного юноши, который именно по причине своего возраста наверняка был некогда ими пленен. А продолжив читать книгу, он обнаружит в самой расстановке цитат из авторитетных книг значительные дополнения к тем лаконичным утверждениям, которые видел в первой части произведения» (Strauss, 1988: 24–25).

Первое, на что следует обратить внимание: речь идет о «*примере, не настолько далеком от реальности*». Главное же заключается в следующем. С точки зрения Лео Штрауса, в интеллектуальном климате Запада произошли фундаментальные изменения, о которых говорилось выше в контексте чтения текстов великих авторов. «Являются ли (и если да, то до какой степени) подобные изменения прогрессивными, или, наоборот, они сигнализируют об упадке — вопрос, на который ответить может только *философ. Историк*» (курсив мой. — А. П.) же вменяется более скромная обязанность. Он будет всего лишь по справедливости притязать на то, чтобы, несмотря на все перемены в интеллектуальной среде, традиция исторической достоверности не прерывалась» (Strauss, 1952: 29).

Штраус позиционировал себя как историка политической философии, а не политического философа. Историк, о котором он говорит в этой цитате, вероятнее всего, он сам. Историк в цитате выше — опять же он сам. Ведь там, где речь идет о либеральном историке в тоталитарном государстве, неслучайно говорится именно об историке, а не философе.

Приведу еще один пример, чтобы показать, что Штраус мог выступать таким историком. В статье «Три волны современности» он вкратце описывает кризисы, которые пережила политико-философская традиция, берущая происхождение от Макиавелли. С точки зрения Штрауса, первый кризис современности обнаруживается в работах Руссо, а второй — у Ницше. В самом конце Штраус неожиданно приходит к политическим выводам и заключает: «*Всякое политическое использование Ницше представляет собой извращение его учения. Тем не менее сказанное им было прочитано политиками и вдохновило их. Он несет столь же малую ответственность за фашизм, как и Руссо за якобинство. Это значит, однако, что он столь же ответственен за фашизм, как и Руссо за якобинство*» (Штраус, 2000: 81). Не означает ли это, что Штраус несет столь же малую ответственность за то, как были поняты его слова, и что он столь же ответственен за политические следствия, которые его ученики вывели из его политической философии, как Ницше за фашизм, а Руссо — за якобинство? Чтобы не нести ответственности и чтобы не было недопонимания при чтении его текстов, сам Штраус сформулировал правила чтения «письма между строк».

Что же это за правила для руководства ума историка? Хотя Штраус упоминает о них как бы вскользь, их можно эксплицировать и даже посчитать. Правило номер один: «Чтение между строк строго запрещено во всех случаях, когда применение этого метода будет менее правильным, чем его неприменение». Правило номер два: «Прежде чтения между строк должен быть произведен подробный анализ недвусмысленных высказываний автора». Правило номер три: «До того как интерпретация текста сможет обоснованно притязать на адекватность и даже правильность, должны быть детально рассмотрены контекст, в котором встречается то или иное суждение, литературные особенности всей работы, ее план». Правило номер четыре: «Удалять отрывок или исправлять его нельзя, прежде чем будут рассмотрены все варианты его интерпретации, — в том числе тот вариант, при котором текст несет ироничный оттенок. Если признанный мастер словесности допускает ошибки, за которые пришлось бы краснеть даже студенту университета, разумно предположить, что эти погрешности преднамеренны, в особенности если автор рассуждает, как бы случайно, о возможностях умышленных ошибок в произведении». Правило номер пять: «Взгляды одного из героев (даже — положительного героя) драмы или диалога не должны восприниматься как взгляды самого автора. Истинное мнение мыслителя не обязательно соответствует тому, что он говорит в большинстве своих текстов». Правило номер шесть: «Достоверность и точность нельзя путать с отказом или неумением увидеть лес за деревьями. Настоящий историк примирится с тем, что существует огромная разница между доказательством своей правоты и постижением того, что действительно хотел сказать великий мыслитель». Также Штраус дает важный ориентир, где именно следует читать между строк. Тайные высказывания об истине «не всегда появляются во введении или других заметных частях книги. Некоторые из них даже невозможно заметить, не говоря уже о том, чтобы понять, постольку мы ограничены рамками представлений о преследовании и привычным отношением к свободе высказываний, которые главенствуют последние триста лет».

Таким образом, Лео Штраус предлагает метод, с помощью которого надо *читать* «написанное между строк». Не означает ли это, что Штраус просит читать и его тексты в соответствии с теми же правилами, которые он применял при чтении других текстов? Штраус сам дает нам ключ к пониманию того, стоит ли вообще читать его собственные тексты между строк. При исследовании «Путеводителя растерянных» Маймонида он вскользь замечает, что Маймонид писал «Путеводитель» «в соответствии с правилами, которым обычно следовал при толковании Библии. Значит, если мы хотим понять „Путеводитель“, нам нужно толковать его в соответствии с правилами, которые Маймонид применяет в этом сочинении для объяснения Библии» (Strauss, 1952: 61). Именно этот кусок цитирует и Славой Жижек, правда, в совершенно другом контексте, и притом делает из него не совсем корректные выводы.

Примечательно, что самый известный сегодня лаканианец Славой Жижек вряд ли вышел на Штрауса через Лакана, но не менее любопытно, что он обратился именно к тексту «Преследование и искусство письма». Более того, мысли и цитаты из книги, к которым обращается Жижек, относятся не к ключевому тексту, а к главам, посвя-

ценным Маймониду и Спинозе. Можно предположить также, что Жижек познакомился с книгой поверхностно, опустив чтение первой главы и обратившись сразу к пункту «Секреты и противоречия». На мой взгляд, хотя Жижек по обыкновению и предложил интересную и оригинальную интерпретацию мысли Штрауса, он не совсем понял, о чем речь, поскольку не познакомился с «Преследованием и искусством письма» внимательно и подробно.

Словенский лаканианец говорит о Штраусе так, будто воспроизводит уже сформулированную мысль с заранее расставленными акцентами, нежели делает собственное заключение, прочитав книгу: «Внутренний кризис демократии служит также причиной возрождения популярности Лео Штрауса: ключевая особенность, которая делает его политическую мысль важной сегодня, — это элитистское представление о демократии, т. е. идея о „необходимой лжи“». Скорее всего, Жижек находится под впечатлением от чтения книги Энн Нортон о Штраусе и американской империи (Norton, 2004). В доказательство можно привести тот факт, что в более поздней своей книге Жижек цитирует «О тирании» Штрауса по тексту Нортон (Жижек, 2007: 15, 468).

Но вернемся к интерпретации Жижека «искусства письма». Жижек упрекает Штрауса в том, что тот, заговорив о необходимости для философов использовать «благородный вымысел», не вывел всех последствий из двусмысленности этой позиции. Конечно, мудрые знают истину и считают, что простолюдины не в состоянии ее понять и тем более жить с ней, вместе с тем и сама истина недоступна познанию как таковому, вот почему философы вынуждены обращаться к вымыслу для заполнения структурных пробелов в своем знании (Жижек, 2004: 199–202). Философ изъясняется туманно, во-первых, чтобы его не поняли простые читатели, во-вторых, потому что только так и возможно изложение великого философского содержания, ведь философу просто-напросто нечего сказать. «По Штраусу, невыносимой эзотерической тайной является тот факт, что нет никакого бога и бессмертной души, нет никакого божьего суда, а есть лишь этот земной мир, в котором отсутствуют глубокий смысл и гарантии благополучного исхода моральной борьбы» (Жижек, 2004: 205).

Разумеется, и Жижек задает ключевой вопрос: должны ли тексты Штрауса быть прочитаны в этой же эзотерической манере, и если да, то как далеко следует идти в этом направлении? Чтобы ответить на этот вопрос, Жижек предлагает ответить совсем на другой: в чем именно состоит эзотерическое учение Лео Штрауса? «Существует только одно последовательное решение: „эзотерическое“ учение может заключаться лишь в отсутствии четкого разграничения между экзотерическим и эзотерическим, то есть в том скандальном обстоятельстве, что экзотерические „публичные“ учения содержат больше истины, чем эзотерическая тайна, что в действительности одураченными оказываются сами авторы, пытающиеся одурачить неграмотных, зашифровывая свое настоящее послание» (Жижек, 2004: 209–210). Эта мысль настолько же неверна, насколько и эффектна. Грубо говоря, если сами философы остаются одураченными, спрятав свое послание, то, может быть, Штраус, осознав это, постарался донести до вдумчивой публики мысль, что тайное послание великих мыслителей существует. Хотя никто не знает, какую именно тайну содержат тексты, все знают, что тайна в

них заложена. Штраус сам говорит о том, что наиболее удачной стратегией текстов станет смешение экзотерического и эзотерического методов интерпретации (Strauss, 1952: 31). И хотя сам Жижек вспоминает про штраусианский парадокс, будто тайны Штрауса публикуются огромными тиражами, но говорит о нем лишь походя, приводя только в качестве примера. Возникает соблазн скорректировать мысль Жижека иллюстрацией из «Золотого тельца» Ильфа и Петрова следующим образом: Штраус намекает, что «гири золотые», и чтобы добраться до золота, в которое гири отлиты, нужно их распилить, но люди не смогут понять, золотые ли они на самом деле, потому что не смогут распилить их. Однако главная проблема заключается в том, что Штраусу есть что зашифровывать между строк. И если бы Жижек познакомился с ключевой работой Штрауса «О тирании» сам, а не в пересказе Энн Нортон, то, вероятно, пришел бы к совершенно другим выводам. Примерно то же произошло и с Кожевом, ошибка которого была в том, что он прочитал «Преследование и искусство письма» позже, чем «О тирании». Иначе, можно быть уверенным, полемика развернулась бы совсем по-другому.

Единственным, кто понял истинный замысел Штрауса, оказался другой немецкоязычный эмигрант Эрик Фёгелин, прочитавший статью «Преследование и искусство письма» раньше, чем «О тирании», и указавший на это в своей рецензии. «Учитывая систематический характер размышлений, критика у Штрауса оказывается в невыгодном положении. Эти размышления, хоть и охватывают широкий круг явлений, изложены столь сжато, а порой и столь эзотерически, что вероятность непонимания идей Штрауса становится высока. Со всеми возможными извинениями за ошибки, которые могут обнаружиться, скажу, что проблема, более всего интересующая автора, — свобода интеллектуальной критики при тираническом правлении. Мы живем в эпоху тирании, следовательно, представляет интерес не только то, что древние говорили о ней, но, возможно, в еще большей степени то, как они могли говорить что-то, при этом не будучи убитыми» (Фёгелин, 2011: 126). Фёгелин утверждает, что Штраус пользуется «эзотерическим стилем письма между строк», хотя и признается в том, что мог неправильно понять своего друга и коллегу (подробнее см.: Павлов, 2011). Однако сам Фёгелин не мог раскрывать секретов коллеги, но лишь указал, что ключевым текстом для внимательного чтения молодых людей должна стать именно эта книга. Я убежден, что это действительно так.

Литература

- Жижек С. (2004). Ирак: история про чайник / пер. с англ. А. Смирнова. М.: Праксис.
- Жижек С. (2007). Устройство разрыва. Параллаксное видение / пер. с англ. А. Смирнова и др. М.: Европа.
- Миллер Ж.-А. (2011). Жизнь Лакана, предлагаемая вниманию просвещенной публики / пер. с франц. А. Черноглазова. М.: Гнозис.
- Павлов А. В. (2011). О тирании и искусстве письма // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 115–124.

- Фёгелин Э. (2011). «О тирании» Лео Штрауса / пер. с англ. К. Колкуновой под ред. А. В. Павлова // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 125–130.
- Штраус Л. (2000). Три волны современности // Штраус Л. Введение в политическую философию / пер. с англ. М. Фетисова. М.: Праксис. С. 68–81.
- Штраус Л. (2006). О тирании / пер. с англ. и древнегреч. А. А. Россиуса, пер. с франц. А. М. Руткевича. СПб.: Изд-во СПбГУ.
- Штраус Л. (2007). Естественное право и история / пер. с англ. Е. Адлер и Б. Путько. М.: Водолей.
- Norton A. (2004). Leo Strauss and the politics of American empire. New Haven: Yale University Press.
- Kojève A. (1950). L'action politique des philosophes // Critique. 1950. № 6. P. 46–55, 138–155.
- Strauss L. (1941). Persecution and the art of writing // Social Research. Vol. 8. № 4. P. 488–504.
- Strauss L. (1952). Persecution and the art of writing. Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (2000). On tyranny. Chicago: University of Chicago Press.

Преследование и искусство письма*

Лео Штраус

Аннотация. Текст «Преследование и искусства письма» Лео Штрауса является одним из самых важных философских и философско-политических текстов в XX веке. Эта статья 1941 года, впоследствии вошедшая как ключевая глава в одноименную книгу 1952 года, стала важнейшим источником специальной методологии работы с «великими текстами» Платона, Аристотеля, Макиавелли, Гоббса, Локка и т. д. В этой статье Лео Штраус предложил читать «великие тексты» экзотерически и эзотерически, то есть вчитываться «между строк», чтобы лучше понять замысел автора. Конечно, авторы не всегда прибегают к этому методу тайного письма, но Лео Штраус доказывает, почему у великих философов были причины писать «между строк», и пытается дать инструментарий, чтобы понимать, в каких случаях это могло иметь место. Этот текст впоследствии не только многие историки политической философии приняли за главную установку при работе с источниками, но статью неоднократно вспоминали и самому Штраусу, обвиняя его в том, что он и сам писал «между строк».

Ключевые слова. Интерпретация, эзотеризм, экзотеризм, история политической философии, истина, преследование, принуждение, благородная ложь, искусство письма.

То, что давление часто становится освободителем
для разума, — самый унижительный, но в то же
время самый бесспорный исторический факт.

У. Э. Х. Леки

I

Во многих странах, где на протяжении целого века люди наслаждались практически полной свободой общественных дискуссий, ныне эта свобода подавлена. Ей на смену пришел контроль над высказываниями и господство тех взглядов, которые считает правильными государство. Стоит в общих чертах рассмотреть эффект, оказываемый подобным принуждением-преследованием на мысли, равно как и на действия¹.

* Пер. с англ. Е. Кухарь под ред. А. В. Павлова. Источник: *Strauss L. (1952). Persecution and the art of writing // Strauss L. Persecution and the art of writing. Chicago: University of Chicago Press. P. 22–37.*

© Кухарь Е., 2012

© Павлов А. В., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. *Scribere est agere (лат.)* — «Писать — значит совершать действие». См.: Blackstone, 1765–1769: Book IV, Chap. 6. [Речь идет о «Комментариях к законам Англии» английского судьи Уильяма Блэкстоуна (1723–1780). — *Прим. ред.*]. Ср.: Макьявелли, 2004: III, 6 и; Декарт, 1989: VI (начало).

Подавляющее число людей — в основном представители молодого поколения² — принимают навязанные государством взгляды если не сразу, то спустя некоторое время. С помощью чего их переубеждают? Какую роль здесь играет фактор времени? Этих людей не убеждали насильно, да и принуждение напрямую никогда не ведет к убежденности. Принуждение лишь расчищает для нее дорогу, замалчивая факт существования какого-либо сопротивления. То, что зовется свободой мысли, в большинстве случаев приравнивается (а на практике и сводится) к возможности выбрать между несколькими взглядами, которые предлагаются небольшой группой людей — ораторами или писателями³. Если и этот выбор запрещен, уничтожается единственный вид интеллектуальной свободы, на которую способно большинство и которая имела какое-либо политическое значение. В условиях преследования развивается так называемая *logica equina* («лошадиный разум»). О несущемся на колеснице Пармениде⁴ или о Гулливеровых гуингнмах⁵ никто не может точно и обоснованно заявить: «Это — ложь». То есть вранье недоказуемо. И такая логика применима не только к лошадям и философам на колесницах — она часто, пусть и модифицированным образом, определяет мысли многих людей. Люди привыкли к тому, что человек может лгать и лжет. Однако, добавляют они, ложь недолговечна и не может пройти проверку повторением, не говоря уже о постоянном повторении. По этой причине утверждение, многократно повторяемое и не встретившее опровержения, наверняка является правдой. Еще один их аргумент состоит в том, что если сделанное простым человеком заявление еще может быть ложью, то заявление, звучащее из уст человека уважаемого, несущего большую ответственность, а следовательно, и занимающего высокую должность, — наверняка достоверно. Эти два силлогизма приводят к выводу, что истинность утверждения, которое многократно озвучено высшими чинами и не подвергнуто ничьей критике, — вне сомнений.

2. «Сократ: Но как заставить поверить этому мифу — есть ли у тебя для этого какое-нибудь средство? Главкон: Никакого, чтобы поверили сами [первые] стражи, но можно это внушить их сыновьям и позднейшим потомкам. Сократ: Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу: я примерно так понимаю твои слова» (Платон, 1994а: 415 с6–d5).

3. «Разум есть способность выбора» — центральный тезис «Ареопагитики» Джона Мильтона. См.: Милтон Д. (1995). Арёопагитика. Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии (1644) / пер. с англ. С. В. Шервинского // О свободе: Антология западноевропейской классической либеральной мысли / под ред. М. А. Абрамова. М.: Наука. С. 19–47. — Прим. ред.

4. «Кони, несущие меня, куда только мысль достигает, / Мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий, / Что на крылах во Вселенной ведет познавшего мужа, / Этим путем я летел, по нему меня мудрые кони, / Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми были» (Парменид. [1989]. О природе // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1: От этических теокосмогоний до возникновения атомистики / под ред. А. В. Лебедева. М.: Наука. С. 295). — Прим. пер.

5. Гуингнм (hoуhnhnm) — сочиненное Дж. Свифтом слово, является подражанием ржанию лошадей. «После... караковый конь попробовал научить меня еще одному слову, гораздо более трудному для произношения; согласно английской орфографии его можно написать так: hoуhnhnhnt (гуингнм)» (Свифт Д. [1976]. Путешествия Гулливера / пер. с англ. под ред. А. А. Франковского // Свифт Д. Сказка бочки. Путешествия Гулливера. М.: Художественная литература. С. 327). — Прим. пер.

Однако в странах, где живут люди, не подчинившие свое мышление правилам *logica equina* (иными словами, люди, способные на истинно независимое мышление), нельзя принудительно навязать взгляды «сверху». Преследование не может помешать независимому мышлению. Оно не может остановить выражение независимой мысли: ибо поделиться правдой, которую ты знаешь, с благожелательно настроенными, достойными доверия, рассудительными друзьями — предприятие достаточно безопасное как двести лет назад, так и сегодня (Платон, 1971: 450 d3–e1). Более того, преследование не может остановить даже публичное выражение «еретических» мыслей: человек с независимым мышлением может высказать свои взгляды на людях и оставаться нетронутым, если он, к примеру, передвигается с осторожностью и способен скрыться. Он также может высказывать свои мысли в письменном виде, не навлекая на себя опасность, если умеет «писать между строк».

Собственно, именно выражение «писать между строк» и обозначает предмет этой статьи. Для литературы результат преследования таков: под его влиянием писатели-бунтари развивают определенную технику письма — технику завуалированного изложения собственных идей. Словосочетание «писать между строк» сугубо метафорично. Любая попытка избежать метафор, поясняя его значение, приведет нас к настоящей *terra incognita* — к полю, чьи просторы пока неизвестны ученым и требуют еще более важного и чрезвычайно интригующего исследования. И можно без преувеличений сказать, что единственно правильный путь подготовки к нему начинающий исследователь пройдет, читая труды риториков Античности.

Возвращаясь к нашему предмету, рассмотрим простой пример, который, я верю, не настолько далек от реальности, как это может поначалу показаться. Мы легко можем представить себе историка, живущего в тоталитарной стране, в целом уважаемого члена единственной существующей партии, который находится вне всяких подозрений. Мы можем также представить, что ряд научных изысканий привел его к сомнениям в правильности одобряемых государством взглядов. Никто не может помешать историку опубликовать статью, в которой он со всей страстью обрушится, скажем, на либеральные взгляды. Однако прежде чем критиковать и атаковать эти самые взгляды, ему, безусловно, придется их изложить. Это изложение будет выдержано в тихой, невыразительной и даже слегка скучной манере, которая будет казаться неестественной. Он станет использовать множество специализированных терминов, приводить большое количество цитат и придаст чрезмерную важность несущественным деталям. Покажется, что автор предпочел священной войне человечества мелкие дрязги буквоедов. И только когда речь пойдет о самом важном, о самой сути, тогда только автор сформулирует три-четыре предложения в том лаконичном и живом стиле, который только и способен привлечь внимание юноши, привыкшего мыслить. Как ни странно, в этом центральном отрывке суть «вражеской» теории будет изложена четче, жестче и привлекательнее, чем она была сформулирована в период расцвета либеральной мысли, ибо историк негласно отсекает все нелепые «отложения» на ее теле, которые смогли сформироваться за тот период, когда либерализм, уже добившись успеха, погрузился в состояние застоя. Юный и рассудительный читатель

впервые сможет взглянуть на запретный плод. При этом критическая часть, весь основной объем произведения, будет представлять собой пересказ наиболее злобных изречений «священных книг» государства. Эти несдержанные высказывания вызовут отвращение или даже скуку у интеллигентного юноши, который именно по причине своего возраста наверняка был некогда ими пленен. А продолжив читать книгу, он обнаружит в самой расстановке цитат из авторитетных книг значительные дополнения к тем лаконичным утверждениям, которые видел в первой части произведения.

Мы видим, таким образом, как преследование способствует развитию специфической техники письма, а вследствие этого — особого рода литературы, где позиция автора по всем ключевым вопросам преподносится исключительно завуалированно. Обычно подобные тексты адресованы не ко всем читателям — лишь к достойным доверия и образованным. Такая литература имеет все преимущества личного общения, но не имеет его основного недостатка — ведь личное общение было бы ограничено только кругом знакомых автора. В то же время она обладает всеми преимуществами публичной коммуникации, избегая главного минуса — смертной казни для ее выразителя. Каким же образом может мыслитель публично обратиться к меньшинству, при этом чудом оставаясь немим для большинства читателей? Аксиома, которая делает подобное письменное высказывание возможным, такова: большинство недумаящих читателей поверхностны; только вдумчивые читатели — внимательны. Автор, желающий обратиться исключительно к вдумчивому человеку, должен только и всего — писать в такой манере, чтобы лишь очень внимательный читатель смог понять смысл, заложенный в книге. Но, могут нам возразить, существуют такие умные и внимательные читатели, которым нельзя доверять и которые, раскрыв замысел автора, разоблачат его перед властями. Что мы можем возразить? Будь Сократ не прав, когда говорил, что «добродетель — это знание», а мыслящие люди по природе своей достойны доверия и не злы, — подобная литература была бы невозможна. Однако Сократ был прав.

Еще одна аксиома (хотя она истинна ровно до тех пор, пока преследование не выходит за рамки законодательных процедур) такова: как правило, внимательный автор со средним уровнем интеллекта все же более умен, чем даже самый умный цензор. А ведь именно цензор должен доказывать, что автор является носителем или выразителем еретических взглядов. Для этого он должен доказать, что текстовые неточности в работе неслучайны, что автор использовал двусмысленные выражения намеренно и умышленно неверно формулировал то или иное предложение. То есть цензор должен доказать не только тот факт, что автор умен и в целом является хорошим писателем (ибо человек, допускающий умышленные ошибки в письме, должен для этого хорошо владеть искусством письма), но и то, что он находился на обычном уровне своих способностей, когда писал инкриминируемые ему строки. А как это можно доказать — если даже Гомер время от времени погружался в дремоту?

II

Подавление независимой мысли было частым явлением в прошлом. Разумно будет допустить, что люди, способные на независимое мышление, рождались прежде в такой же пропорции ко всем остальным, как и теперь. Допустим также, что они совмещали в себе ум и осторожность. Тогда возникает закономерный вопрос: возможно ли, что кто-то из великих мыслителей прошлых веков адаптировал свою литературную технику к «запросам» преследования, раскрывая свои взгляды на значимые проблемы исключительно между строк.

Что мешает нам свободно говорить о такой возможности, так это обычаи, возникшие благодаря изменениям в методах исторических исследований. Относительно недавно целый ряд новых принципов снискал себе широкое одобрение и стал применяться на практике. Принципы эти заключаются в следующем. Каждый период прошлого должен быть рассмотрен сам по себе — к нему нельзя применять чуждые ему нормы. Каждого автора нужно анализировать по отдельности. В интерпретации текста нельзя применять термины, которые непередаваемы на язык автора и которые не употреблялись активно в его время, — насколько бы они ни были значимы. Признать верными можно только те изложения взглядов автора, которые в конечном итоге подтверждаются его же собственными четкими высказываниями. Еще один из принципов, имеющий решающее значение, таков: из сферы гуманитарного знания исключаются авторы прошлого, чьи взгляды можно понять, только вчитываясь между строк. Даже если автор не утомляет на каждой странице дотошными утверждениями, что a равно b , напротив, упоминая между строк, что a не является b , современный историк все равно будет требовать ясных свидетельств веры автора в « a — это не b ». Ожидать таких свидетельств не приходится — и вот современный историк выигрывает спор: он может игнорировать чтение между строк, считая его «произвольным угадыванием», или (если он ленив) просто признать за этим методом свойства интуитивного познания.

Применение вышеописанных принципов имело важные последствия. Еще не так давно люди, храня в памяти известные утверждения Бодена, Гоббса, Бёрка, Кондорсе и других, верили, что существует фундаментальная теоретическая разница между современной политической мыслью и политической мыслью Средних веков и Античности. Нынешнее же поколение ученых выучило со слов одного из самых популярных историков нашего времени, что «от правоведов II века до теоретиков Французской революции история политической мысли непрерывна; она меняется в своей форме и своем содержании, но ее фундаментальные понятия все же остаются неизменными» (Carlyle, Carlyle, 1927, vol. 1). До середины XIX века считалось, что Аверроэс был враждебен по отношению к какой бы то ни было религии. Но благодаря успешной критике Ренаном средневековой легенды современные ученые уже считают Аверроэса приверженцем мусульманства (Renan, 1866: 292 ff.; Gauthier, 1909: 126 ff., 177 ff.; ср: Gauthier, 1928: 221 ff., 333 ff.). Прежде авторы верили, что «упразднение религиозного и мистического мышления» характерно для подхода греческих врачей. Проходит время, и

ученые утверждают, что «врачи времен Гиппократы придерживались догм о сверхъестественном» (Edelstein, 1937: 201, 211). Лессинг, один из глубочайших специалистов в гуманитарной науке всех времен, обладавший предельно редким сочетанием учености, вкуса и философского склада ума и считавший, что бывает истина, которая не должна или не может быть озвучена вслух, утверждал, что «все древние философы» разделяли свои учения на «явное» (общепонятное, экзотерическое) и «тайное» (эзотерическое). Позже великий теолог Шлейермахер выступил с теорией, согласно которой существует только одно, единое учение платоников; суть тайного знания древних философов из практических соображений свели к содержанию «публичных речей» Аристотеля. В этой связи один из величайших гуманистов современности заявляет, что приписывание какого-либо тайного учения Аристотелю, «очевидно, является поздним изобретением, проистекающим из духа неопифагорейства» (Lessing, 1925a: Второй диалог)⁶. Согласно Гиббону, Евсевий⁷ «косвенно сознался, что поддерживал все то, что могло способствовать возвеличиванию религии, и подавлял то, что могло бросить на нее тень». Согласно же современному историку, «утверждение Гиббона о том, что церковная история чересчур пристрастна, само по себе является предвзятым суждением» (Shotwell, 1939, vol. 1: 356 ff.). Вплоть до конца XIX века многие философы и теологи считали, что Гоббс был атеистом. Сейчас многие историки гласно или негласно отрицают это. Один современный мыслитель, не считая Гоббса абсолютно верующим человеком, все же увидел в его произведениях принципы неокантианского понимания религии (Tönnies, 1925: 148)⁸. Сам Монтескье, равно как и некоторые его современники, считал, что замысел работы «О духе законов» был хорош и даже прекрасен. Лабулэ же был уверен, что очевидная спутанность этого плана, да и другие его недостатки, были обязаны своим существованием цензуре и преследованию. Один из наиболее выдающихся современных историков политической мысли при этом считает, что в работе Монтескье «мало связного содержания, а количество несоответствий чрезвычайно велико»; также, считает он, «нельзя сказать, что в „Духе законов“ Монтескье есть какой-либо план» (Sabine, 1937: 551, 556)⁹.

6. Lessing, 1925b: 147; Schleiermacher, 1804: 12–20; Jaeger, 1934: 33; см. также: Grant, 1874, vol. 1: 398 ff. и: Zeller, 1897, vol. 1: 120 ff.

7. Евсевий Кесарийский (ок. 260–339) — епископ, христианский мыслитель и писатель, автор произведения «Церковная история». — *Прим. пер.*

8. Catlin, 1922: 25; Honigswald, 1924: 175 ff.; Strauss, 1930: 80; Lubieński, 1932: 213 ff.

9. Meinecke, 1936: 139 ff., 151 (сн. 1); Laboulaye, 1875: xviii ff. Лабулэ цитирует в связи с этим важный отрывок из «Eloge de Montesquieu» д'Аламбера. См. также: Bertolini, 1875: 6, 14, 22 ff., 34, 60 ff. Ремарки д'Аламбера, Бертолини и Лабулэ являются просто пояснением того, что во введении поясняет сам Монтескье, когда, например, пишет в предисловии: «Если искать план автора, то найти его можно только в плане произведения» (см. конец Книги 11 и два письма Гельвеция: Montesquieu, 1876: 314, 320). Д'Аламбер пишет: «Мы говорим о темноте, которую можно допустить для такой работы, а также об отсутствии порядка. Однако то, что может показаться темным обычному читателю, не является таковым для тех, кого автор имеет в виду; впрочем, намеренной темноты тоже нет. Г-н де Монтескье, которому иногда приходилось высказывать значительные истины, полное и открытое выражение которых могло бы кое-кого без надобности задеть, обладал мудростью их маскировки; и он — благодаря этому невинному приему — скрыл эти истины от тех, для кого они были бы вредны, хотя для мудрых они не по-

Эта подборка примеров не случайна. Она показывает: идеи мыслителей прошлого и взгляд современных историков на них так отличаются друг от друга не только потому, что историческое знание стало более точным, но и потому, что в целом в интеллектуальном климате произошли фундаментальные изменения. За последние десятилетия многие исследователи подкорректировали либо вообще отбросили в сторону рационалистическую традицию, столь отвечающую подходам мыслителей прошлого, и большое влияние на которую все еще оказывает позитивизм XIX века. Являются ли (и если да, то до какой степени) подобные изменения прогрессивными, или, наоборот, они сигнализируют об упадке — вопрос, на который ответить может только философ.

Историку же вменяется более скромная обязанность. Он будет всего лишь по справедливости притязать на то, чтобы, несмотря на все перемены в интеллектуальной среде, традиция исторической достоверности не прерывалась. Поэтому он не станет руководствоваться произвольным мерилем точности, которое априори может исключить из гуманитарного знания наиболее значимые факты прошлого; он будет придерживаться таких правил, которые приведут его к познанию сути предмета. А правила таковы. Чтение между строк строго запрещено во всех случаях, когда применение этого метода будет менее правильным, чем его неприменение. Прежде чтения между строк должен быть произведен подробный анализ недвусмысленных высказываний автора. До того как интерпретация текста сможет обоснованно притязать на адекватность и даже правильность, должны быть детально рассмотрены контекст, в котором встречается то или иное суждение, литературные особенности всей работы, ее план. Удалять отрывок или исправлять его нельзя, прежде чем будут рассмотрены все варианты его интерпретации, в том числе тот вариант, при котором текст несет ироничный оттенок. Если признанный мастер словесности допускает ошибки, за которые пришлось бы краснеть даже студенту университета, разумно предположить, что эти погрешности преднамеренны, в особенности если автор рассуждает, как бы случайно, о возможностях умышленных ошибок в произведении. Взгляды одного из героев (даже — положительного героя) драмы или диалога не должны восприниматься как взгляды самого автора. Истинное мнение мыслителя не обязательно соответствует тому, что он говорит в большинстве своих текстов. В общем, достоверность и точность нельзя путать с отказом или неумением увидеть лес за деревьями. Настоящий историк примирится с тем, что существует огромная разница между доказательством собственной правоты и постижением того, что действительно хотел сказать великий мыслитель.

Нужно понимать, что чтение между строк не повлечет за собой полного консенсуса между всеми учеными. Но существует и контраргумент: ведь широко применяемые ныне методы также до сих пор не привели к всеобщему или хотя бы широкому согласию в отношении важных вопросов. Ученые прошлого века склонны были решать текстологические проблемы, обращаясь к генезису произведения, к анализу того, как

гибли». Точно так же некоторые современники «ритора» Ксенофонта считали, что то, «что прекрасно и методично написано — не написано ни прекрасно, ни методично» («Кинегетик», 13.6).

происходило становление мышления автора. Предполагалось, что противоречия или расхождения в рамках одной книги или между двумя книгами одного автора доказывают, что его мысль претерпела изменения. Если нестыковок слишком много, иногда без привлечения каких-либо внешних свидетельств принималось решение, что труд представляет собой подделку. Эта процедура в последнее время пользуется дурной славой, многие ученые склоняются к большему консерватизму в отношении литературной традиции и менее подвержены влиянию каких-то внутренних, локальных свидетельств. Однако конфликт между традиционалистами и «высокими критиками»¹⁰ все еще далек от разрешения. Традиционалисты могут доказать, что в ряде важных случаев «высокие критики» не подтвердили своих гипотез. Но даже если бы все их ответы в конце концов оказались неверны, проблемы, которые увели их в сторону от традиции и убедили попробовать какие-то новые методы, уже демонстрируют их осведомленность в вопросах, никак не тревожащих типичных традиционалистов. Правильные ответы на самые серьезные из них требуют методологической рефлексии над литературной техникой великих мыслителей прошлого, над такими ее характеристиками, как неясность плана, противоречия в рамках одной работы или между несколькими книгами одного автора, оплошности в важных связях аргументации и т. д. Подобная рефлексия неизбежно выведет исследователя за привычные рамки современной эстетики и даже традиционной поэтики и, думаю, рано или поздно заставит принять во внимание феномен преследования. Упомянем другой момент — еще один аспект этой же темы. Мы иногда видим противоречие между традиционным, поверхностным, доксографическим анализом кого-то из великих писателей прошлого и более осмысленным, глубоким, монографическим анализом. Оба они одинаково точны, так как подкреплены недвусмысленными высказываниями рассматриваемого автора. И только очень немногие сейчас придерживаются мнения, что традиционная интерпретация способна отражать общедоступную, экзотерическую часть учения автора, тогда как монографический анализ касается как общедоступного, так и тайного, эзотерического учения.

Современные исторические исследования, возникшие в эпоху, когда преследование уже скорее просто вспоминают, чем ощущают на собственном опыте, пытаются разрушить тенденцию «чтения между строк» и осуждают попытки признавать приоритет фундаментального замысла автора над теми мыслями, которые он чаще всего озвучивает. Любая попытка возродить прежний подход в нынешний век историцизма сталкивается с проблемой поиска критерия: что принимать во внимание, а что нет. Если существует взаимозависимость между преследованием и чтением между строк, то один из критериев таков: рассматриваемая книга должна быть создана в эпоху преследования, то есть в то время, когда политические или иные принципы навязывались с помощью закона или обычая. Еще один критерий заключается в следующем: если талантливый автор имеет светлый ум, хорошо знает устоявшиеся в государстве правила и противоречит им только тайно, при этом внешне придерживаясь каких-

10. Высокая критика (библейская историко-литературная критика) занимается исследованием священных книг с целью их атрибуции, датировки и выяснения источников. — *Прим. пер.*

то других предпосылок и выводов, подозрение, будто он выступает в оппозиции к системе, будет закономерным — и мы должны взяться за изучение его книги с самого начала, с гораздо большим вниманием и с меньшей наивностью, чем когда-либо ранее. Иными словами, в ряде случаев мы считаем недвусмысленные «внешние» свидетельства доказательством того, что автор выразил свои взгляды по наиболее важным вопросам именно между строк. Такие высказывания, однако, не всегда появляются во введении или других заметных частях книги. Некоторые из них даже невозможно заметить, не говоря уже о том, чтобы понять, поскольку мы ограничены рамками представлений о преследовании и привычным отношением к свободе высказываний, которые главенствуют последние триста лет.

III

Понятие преследования охватывает большое многообразие явлений, от наиболее жесткого типа, воплощенного испанской инквизицией, до самого мягкого — социального остракизма. Между этими крайними формами существуют явления, которые и считаются наиболее важными с точки зрения литературной и интеллектуальной истории. Они проявлялись в Афинах V и IV веков до н.э., в некоторых мусульманских странах раннего Средневековья, в Голландии и Англии XVII века, Франции и Германии XVIII — все это относительно либеральные периоды. Одного взгляда на биографии Анаксагора, Протагора, Сократа, Платона, Ксенофонта, Аристотеля, Авиценны, Аверроэса, Маймонида, Гроция, Декарта, Гоббса, Спинозы, Локка, Бейля, Вольфа, Монтескье, Вольтера, Руссо, Лессинга и Канта¹¹, а в некоторых случаях и одного взгляда на титульные листы книг этих авторов достаточно, чтобы понять: хотя бы на протяжении каких-то периодов жизни они были свидетелями или страдали от преследования более жесткого, нежели социальный остракизм. Нельзя нам также закрывать глаза на факт, которому власти не уделяют достаточного внимания: преследование религиозное и преследование «свободного исследования» не равнозначны. Были времена и страны, когда и где свобода вероисповедания была разрешена, а вот свобода исследований — нет¹².

Мнение людей касательно свободы общественных дискуссий, несомненно, зависит от того, что они думают о народном образовании и его границах. По большому счету досовременные философы были менее смелы в этом отношении, чем современные. Начиная со второй половины XVII века все большее количество неортодоксальных мыслителей, страдающих от преследования, публиковали свои книги не только для того, чтобы делиться своими взглядами, но и чтобы внести вклад в уничтожение преследования как такового. Они верили, что подавление свободы исследований и за-

11. Что касается Канта, чей случай идеален, даже такой историк, как Воган, которого меньше всего можно поставить под подозрение или подвергнуть скептицизму, отмечает: «Мы практически приходим к тому, чтобы заподозрить Канта в насмешках над своим читателем и скрытой симпатии к революции» (Vaughan, 1939, vol. 2: 83).

12. См. «Фрагмент»: Lessing, 1925c: 38 ff.

прет на публикацию итогов были всего лишь временным результатом неправильной организации общества и государства и что царство всеобщей тьмы можно заменить республикой всеобщего света. Они ждали то время, когда в результате распространения народного образования станет возможна практически полная свобода слова; или — преувеличим ради большей ясности — то время, когда никто не будет подвергаться опасности из-за того, что услышал правду¹³. Они утаивали свои убеждения только в той мере, в которой это обеспечивало им максимальную безопасность. Будь их работы более трудными для восприятия, они бы не смогли достигнуть цели, которая состояла в том, чтобы просветить как можно большее количество простых людей. Читать их книги между строк относительно легко¹⁴. Совсем другой была позиция более древних мыслителей. Они считали, что пропасть, разделяющая «мудрецов» и «плебс», является базовой характеристикой человеческой природы, и этот факт не изменится лишь благодаря развитию народного образования: философия, наука — по сути своей привилегия избранных. Эти мыслители были уверены в том, что философия опасна для большинства людей — и этим большинством ненавидима (Цицерон, 1975: II, 4; Платон, 1994б: 64 b; Платон, 1994а: 529 b2–3, 494 a4–10). Если бы даже авторам с подобными взглядами нечего было бояться со стороны круга определенных лиц, облеченных политической властью, они, исходя из вышеуказанной предпосылки, неизбежно должны были бы прийти к выводу, что публичное обсуждение философской или научной истины невозможно или нежелательно — всегда, в любое время. Они вынуждены были скрывать свои убеждения ото всех, кроме таких же точно философов, как они сами, либо ограничиваясь сугубо устными наставлениями для тщательно подобранной группы учеников, либо излагая наиболее важные вопросы в виде сжатых сообщений-знаков (Платон, 1994б: 28 c3–5; Платон, 1994в: 332 d6–7, 341 c4–e3, 344 d4–e2)¹⁵.

13. Вопрос о том, возможно ли достижение этой предельной цели в каких-либо иных условиях, кроме как в самых спокойных, поднимает в наше время Арчибальд Маклиш в: MacLeish, 1940. Он пишет: «Возможно, роскошь абсолютного признания, предельного отчаяния, крайнего сомнения сами по себе должны опровергаться авторами, живущими в спокойные, благоустроенные эпохи. Я не знаю».

14. В особенности я думаю о Гоббсе, чье значение в деле, о котором шла речь выше, трудно переоценить. Это хорошо понимал Тённис, который подчеркивал следующие два высказывания своего героя: «Paulatim eruditur vulgus» [«Чернь постепенно учится». — *Прим. пер.*] и «Philosophia ut crescat libera esse debet nec metu nec pudore coerenda» [«Чтобы возникнуть, философия должна быть свободной, и ее не должны сдерживать ни страх, ни стыд. — *Прим. пер.*]. См.: Tönnies, 1925: iv, 195. Гоббс также говорит: «Подавление теорий приводит только к единению и ожесточению тех, кто в них уверовал, усиливая их злобу и силу» (Hobbes, 1839: 242). В своей работе «О свободе и необходимости» он пишет маркизу Ньюкаслу: «Если говорить о большей части человечества — рассматривая людей не такими, какими они должны быть, а такими, какими являются на самом деле, — то, должен признаться, наша дискуссия по данному вопросу скорее повредила бы им, чем укрепила бы их благочестие, и посему, если бы только его светлость [епископ Бремхолл] не пожелал моего ответа, я бы не писал его; и пишу, лишь надеясь на то, что ваши светлости сохранят его в тайне».

15. То, что упомянутый выше взгляд совместим с принципами демократии, показано наиболее ясно у Спинозы, который был поборником и либерализма, и демократии. См.: Спиноза, 1935: XI, 2. См. его: Спиноза, 1934: 14, 17. Равно как и: Спиноза, 1935: V 35–39, XIV 20, XV (конец).

Текст по природе своей доступен всем, кто способен читать. Поэтому автор, который избрал второй путь, станет излагать вслух только такие взгляды, которые смогут быть восприняты нефилософским большинством: все его тексты будут, строго говоря, общепонятными, экзотерическими. Его публичные высказывания не во всех отношениях окажутся созвучны истине. Будучи философом, а значит, ненавидя «ложь в душе» сильнее, чем что бы то ни было еще, он не станет обманывать себя, закрывая глаза на то, что подобные тексты — не более чем «правдоподобная ложь» или «благородная ложь». Да, он предоставит своим мыслящим читателям выпутывать правду из поэтического или диалектического контекста. Но автор и не справился бы с поставленной перед собой задачей, если бы стал четко обозначать, какие из его суждений выражают благородную ложь, а какие — благородную правду. Для мыслящих читателей он и так сделает более чем достаточно, дав им понять, что он почему-то не чурается «благородной лжи» или «правдоподобных сказок». А для историка литературы главное отличие между типичным досовременным философом (которого с трудом можно отличить от досовременного поэта) и типичным современным философом заключается в их отношении к «благородной (или простой) лжи», «лжи во спасение», к «окольному пути» (Мор, 1935: конец первой главы) или «экономии правды». Порядочного читателя просто шокирует предположение, будто великий ум способен намеренно обманывать огромное большинство своих читателей¹⁶. Но, как отметил один либеральный теолог, такие подражатели находчивому Одиссею все же более искренни, чем мы, — они называют «благородной ложью» то, что мы бы просто обозначили словами «учитывать чьи-то общественные обязательства».

Общепонятная, экзотерическая книга содержит в себе два пласта, два учения: «популярное» учение наставнического характера — оно находится как бы на переднем плане; и философское учение, касающееся наиболее важных тем, — оно прописано между строк. Нельзя отрицать, что некоторые великие авторы высказали ряд важных истин, вложив их в уста какой-либо недостойной уважения личности: с помощью такого отвлекающего маневра они стремились показать, что не одобряют выражаемые слова. В связи с этим вполне понятно, почему в великой литературе прошлого мы находим так много бесов, сумасшедших, нищих, софистов, пьяниц, эпикурейцев и шутов. При этом те, к кому на самом деле адресованы подобные книги, — это и не бездумное большинство, и не настоящие философы как таковые. Это молодые люди, которые, возможно, когда-то станут философами. Именно их нужно вести шаг за шагом: от тех распространенных взглядов, которые необходимы для реализации практических (в т.ч. политических) замыслов — к абстрактной правде. С этой целью молодежь нужно направлять, указывая ей на тайные черты в рассматриваемом учении: на неясность плана, противоречия, псевдонимы, неточные повторы

16. Более развернутую дискуссию на тему того, что Августин называет «*magna quaestio, latebrosa tractatio, disputatio inter doctos alternans*» [«большой вопрос, туманное исследование, спор, в котором одни ученые мужи говорят „да“, а другие — „нет“»], можно найти у Гроция. См.: Гроций, 1956: Книга III, глава I, параграф 7 ff. и в особенности параграф 17, 3. См. также 9 и 10 письма из провинции Паскаля и Джереми Тейлора: Taylor, 1671: Книга III, Глава 2, Правило 5.

уже высказанных утверждений, странные обороты речи и т. д. Эти штрихи не выведут из дремоты того, кто не желает видеть леса за деревьями, но сдвинут с места все камни преткновения в сознании тех, кто способен это сделать. Вообще подобные книги обязаны своим существованием любовью зрелых авторов к молодежи¹⁷, на чью ответную любовь они надеются: экзотерические книги — это «письменные речи, вызванные любовью».

Вся «общепонятная» литература исходит из того, что существуют некие основополагающие истины, которые ни один разумный человек не станет произносить вслух, потому что это может навредить другим — в первую очередь тем, кто, будучи уязвлен неприятной для себя истиной, должен будет естественным образом нанести ответный удар тому, кто ее произнес. Иными словами, подразумевается, что свобода исследований и возможность обнародования всех результатов этих исследований не является гарантируемым правом. Экзотерическая литература по существу своему присуща нелиберальному обществу. Поэтому закономерно возникает вопрос: какую пользу такая литература могла бы принести в истинно свободном государстве? Ответ прост. В платоновском «Пире» Алкивиад, прославленный сын прославленных Афин, сравнивает Сократа и его речи с некими статуями, которые очень уродливы снаружи, но внутри содержат прекраснейшие изображения божеств¹⁸. Произведения великих авторов прошлого прекрасны даже снаружи. И все же их видимая красота — настоящее уродство по сравнению с красотой тех тайных сокровищ, которые открываются только после длительной, трудной, но всегда приятной работы. Такой приятной и нелегкой работой, мне кажется, философы считали получение образования — и всячески ее восхваляли. Образование, верили они, это единственный ответ на вечно довлеющий над нами вопрос — политический вопрос *par excellence* — как примирить порядок, который не угнетает, со свободой, которой не злоупотребляют.

Литература

- Гроций Г. (1956). О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / пер. с лат. А. Л. Саккетти. М.: Юридическая литература.
- Декарт Р. (1989). Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках / пер. с франц. Г. Г. Слюсарева // Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль. С. 250–294.
- Макьявелли Н. (2004). Рассуждения о первой декаде Тита Ливия / пер. с ит. М. А. Юсима // Макьявелли Н. Сочинения исторические и политические. Сочинения художественные. Письма. М.: АСТ, Пушкинская библиотека. С. 136–468.

17. Ср.: Платон, 1994а: 539 a5–d1; Платон, 1990: 23 c2–8.

18. По мнению Алкивиада, Сократ «похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силену, то внутри у него оказываются изваяния богов» (Платон. [1993]. Пир / пер. с древнегреч. С. К. Апта // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль. 215 a–b). — Прим. пер.

- Мор Т. (1935). Утопия. Золотая книга столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия. М.-Л.: Academia.
- Платон. (1990). Апология Сократа / пер. с древнегреч. М. С. Соловьева // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 1. М.: Мысль. С. 70–96.
- Платон. (1994а). Государство / пер. с древнегреч. А. Н. Егунова // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль. С. 79–420.
- Платон. (1994б). Тимей / пер. с древнегреч. С. С. Аверинцева // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 3. М.: Мысль. С. 421–500.
- Платон. (1994в). Седьмое письмо / пер. с древнегреч. С. П. Кондратьева // Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль. С. 475–504.
- Спиноза Б. (1934). Трактат об усовершенствовании разума / пер. с лат. Я. М. Боровского. Л.: ГАИЗ.
- Спиноза Б. (1935). Богословско-политический трактат / пер. с лат. М. Лопаткина. М.: ГАИЗ.
- Цицерон. (1975). Тускуланские беседы / пер. с лат. М. Гаспарова // Цицерон. Избранные сочинения. М.: Художественная литература. С. 207–357.
- Bertolini. (1875). Analyse raisonnee de l'Esprit des Lois // Montesquieu. Œuvres complètes. Т. 3. Paris: Garnier. P. 1–62.
- Blackstone W. (1765–1769). Commentaries on the laws of England. Oxford: Clarendon Press.
- Carlyle A.J., Carlyle R. (1927). A history of mediaeval political theory in the West. Edinburgh: William Blackwood and Sons.
- Catlin G. E. G. (1922). Thomas Hobbes as philosopher, publicist, and man of letters. Oxford: B. Blackwell.
- Edelstein L. (1937). Greek medicine in its relations to religion and magic // Bulletin of the Institute of the History of Medicine. Vol. 5. P. 201–246.
- Gauthier L. (1909). La theorie d'Ibn Rochd (Averroes) sur les rapports de la religion et de la philosophie. Paris: E. Leroux.
- Gauthier L. (1928). Scolastique musulmane et scolastique chretienne // Revue d'Histoire de la Philosophie. 1928. № 2. P. 221–253, 333–365.
- Grant A. (1874). The ethics of Aristotle. London: Longman, Green & Co.
- Hobbes T. (1839). The English works. Vol. 6. London: John Bohn.
- Honigswald R. (1924). Hobbes und die Staatsphilosophie. München: Reinhardt.
- Jaefer W. (1934). Aristotle: Fundamentals of the history of his development. Oxford: Clarendon Press.
- Laboulaye E. (1875). Introduction a l'Esprit des Lois // Montesquieu. Œuvres complètes. Т. 3. Paris: Garnier. P. i–lxix.
- Lessing. (1925a). Ernst und Falk // Lessing. Werke. Bd. XXI. Berlin: Bong.
- Lessing. (1925b). Leibniz von den ewigen Strafen // Lessing. Werke. Bd. XXI. Berlin: Bong.
- Lessing. (1925c). Von Duldung der Deisten H. S. Remarius: Fragment eines Ungenannten // Lessing. Werke. Bd. XXII. Berlin: Bong.
- Lubieński Z. (1932). Die Grundlagen des ethisch-politischen Systems von Hobbes. München: Reinhardt.
- MacLeish A. (1940). Post-war writers and pre-war readers // Journal of Adult Education. Vol. 12.
- Meinecke F. (1936). Die Entstehung des Historismus. München: R. Oldenbourg.
- Montesquieu. (1875). Œuvres complètes. Т. 6. Paris: Garnier.
- Renan E. (1866). Averroès et l'averroïsme: essai historique. Paris: M. Lévy.

- Sabine G. H.* (1937). A history of political theory. New York: H. Holt.
- Schleiermacher F.* (1804). Platons Werke. Bd. 1. Berlin: Realschulbuchhandlung.
- Shotwell J. T.* (1939). The history of history. New York: Columbia University Press.
- Strauss L.* (1930). Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft. Berlin: Akademie.
- Taylor J.* (1671). Ductor dubitantium: or, The rule of conscience in all her general measures; serving as a great instrument for the determination of cases of conscience. London: Royston.
- Tönnies F.* (1925). Thomas Hobbes leben und lehre. Stuttgart: Frommann.
- Vaughan V. E.* (1939). Studies and the history of political philosophy. Manchester: Manchester University Press.
- Zeller E.* (1897). Aristotle and the earlier Peripatetics. London: Longmans & Green.

Спор об основах политического: Лео Штраус versus Карл Шмитт

Тимофей Дмитриев*

Аннотация. В статье рассмотрен спор двух выдающихся политических мыслителей XX в. Карла Шмитта и Лео Штрауса об основах политического. Показано, как критика либерализма и защита самостоятельности и безусловности политического Карлом Шмиттом радикализуется Лео Штраусом за счет обнаружения протолиберальных элементов в политическом учении Томаса Гоббса и реактуализации понятия человеческой природы и *status naturalis* в «Заметках о „Понятии политического“» Штрауса. Особое внимание в статье уделено доказательству того, что публикация «Заметок» знаменует собой поворотный пункт в философской эволюции Лео Штрауса, поскольку критика шмиттовской критики либерализма стала важнейшим моментом, подтолкнувшим Штрауса к мысли о необходимости выхода за пределы мышления эпохи модерна и возврата к классическому взгляду на политику.

Ключевые слова. История политической философии, политическое, тотальное государство, критика либерализма, культура, теолого-политическая проблема, Штраус, Шмитт, Майер, Гоббс.

Выход в свет русского перевода книги немецкого политического философа Хайнриха Майера «Карл Шмитт, Лео Штраус и „Понятие политического“» (Майер, 2012) дает хороший повод вернуться к вопросу об основах политического, ставшего предметом заочного спора двух выдающихся европейских мыслителей 80 лет тому назад. В то же самое время этот спор, как мы увидим в дальнейшем, позволяет снова поставить на повестку дня проблему отношения политического и теологического в эпоху модерна, которая занимает особое место в интеллектуальном наследии этих двух авторов.

История эта начинается в 1927 г., когда Шмитт, в ту пору — один из ведущих правоведов Веймарской республики, публикует в журнале «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik» первую редакцию своего «Понятия политического» (Schmitt, 1927). Она находит свое продолжение в 1932 г., когда Штраус, тогда еще молодой и начинающий историк политической мысли, пишет и публикует свои «Замечания на „Понятие политического“» (Strauss, 1932). Эти замечания оказываются столь уместными и дельными — *sachlich*, как говорят сами немцы, — что Шмитт не только внимательно знакомится с ними, но и тщательнейшим образом, как показывает Майер в сво-

* Дмитриев Тимофей Александрович — кандидат философских наук, доцент кафедры наук о культуре факультета философии НИУ ВШЭ. Email: t-dmitriev@yandex.ru

© Дмитриев Т. А., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

ем исследовании, переписывает третью (1933) редакцию «Понятия политического» с учетом замечаний, высказанных Штраусом в его рецензии (Майер, 2012: 13–18). «Это единственный труд, — пишет Майер о «Понятии политического», — на страницах которого Шмитт реагирует на критику методом красноречивых вычеркиваний, дополнений и новых формулировок. Только в случае „Понятия политического“ Шмитт ведет открыто-потенный, подразумевающий тщательную ревизию собственного текста диалог с интерпретатором. Партнером в диалоге выступает автор „Замечаний“ Лео Штраус» (Майер, 2012: 15–16). Так завязывается заочный спор между двумя первоклассными умами, а вызванный им резонанс нет-нет да и дает о себе знать в ходе современных дискуссий, посвященных переосмыслению понятия политического в политической мысли XX века¹.

В чем заключается суть заочного спора Шмитта и Штрауса по поводу оснований политического в трактовке Хайнриха Майера? В своем исследовании критики Штраусом «Понятия политического» Шмитта Хайнрих Майер обращает особое внимание на предположение Штрауса, что главная интенция Шмитта в его критике либерализма заключается в его желании отстоять серьезность жизни против попыток либерализма свести все к экономике и развлечениям. Более того, Майер утверждает, что в конечном счете расхождение между Штраусом и Шмиттом заключается в том, искать ли оправдания серьезности жизни в политической теологии (Шмитт) или в классической политической философии (Штраус). Развитию и доказательству этого тезиса по сути дела посвящена книга Майера.

Как показывает Майер, Шмитт начинает борьбу за понятие политического — речь идет о первой редакции текста, относящейся к 1927 г., — из оборонительной позиции. Он стремится утвердить политическое как самостоятельную область наряду с теми, автономия которых признается систематикой либерального «политического» мышления: экономической, этической, культурной. Для того чтобы добиться этой цели, Шмитт прибегает к риторике «чистой политики», утверждающей главенствующую роль и самостоятельность политического. «Вопреки отрицанию политического со стороны „удивительной последовательной и, несмотря на видимые неудачи, и сегодня абсолютно господствующей систематики либерального мышления“ (I, 29), — пишет Майер о Шмитте, — он пытается сделать значимой „бытийственную объективность и самостоятельность политического“ (I, 5). В качестве оборонительного можно расценить его стремление добиться для политического такого признания, на которое претендует „всякая самостоятельная область“ (I, 3, 4) и которое либерализм не отрицает за „другими“ (областями) (I, 29, 30). Оборонительным является его утверждение, что специфическое для „области политического“ различие друга и врага могло бы „иметь теоретический и практический смысл без ссылок на моральные, эстетические, экономические или иные различия“ (I, 4). Наконец, оборонительным является и тот ответ, который Шмитт дает на вопрос об определении политического врага: он „именно иной, чужой“» (Майер, 2012: 27).

1. Обзор современных споров вокруг «Понятия политического» Шмитта см. в: Strong, 2007.

По словам Майера, риторика «чистой политики» в первом (1927) издании «Понятия политического» давала Шмитту двойное политическое преимущество. «Она помогает в особенно интенсивном смысле отстаивать свою собственную „чисто политическую позицию“ от нападков „нормативной“ и в то же время атаковать нормативные „злоупотребления“ и „вмешательства“ в область „чистой политики“ с самоочевидным превосходством морального негодования. Враг, который занимается политикой и рядится при этом в „неполитические и даже антиполитические“ одежды, погрешает против честности и прозрачности чистой политики» (Майер, 2012: 29).

В то же самое время риторика «чистой политики» в первом издании «Понятия политического» не была лишена и недостатков, главный из которых заключался в сведении политического к внешнеполитическому, а внутривнутриполитического — к полиции (Майер, 2012: 30–31). Согласно риторике «чистой политики», война представляет собой вооруженную борьбу между народами; именно они являются истинными субъектами политики. Будучи оформленными в политические единства, они образуют «плюриверсум» политического мира. Более того, о гражданской войне как о значимом факторе политического XX в. в первом издании пока нет еще речи. Правда, узость такого понимания политического становится очевидной для Шмитта уже в конце 1920-х гг. в связи с выходом на первый план в его размышлениях феномена «тотального государства», для которого характерно тесное взаимопроникновение государства и общества. «Возможность „тотального государства“, — пишет Майер, — усиливает внимание к „потенциальному всеприсутствию“ политического, и она дает возможность разбить либерализм на его собственном поле, во внутренней политике» (Майер, 2012: 34). Внутривнутриполитическое больше нельзя было уложить в прокрустово ложе полицейских мероприятий не только потому, что события первых десятилетий XX в. наглядно доказали верность тезиса Ленина о том, что этому веку суждено было стать веком войн и революций, принимающих по всему земному шару форму гражданских войн и выводящих на авансцену политического новых субъектов — тоталитарные партии и движения, партизан и террористов и т. д., но и потому, что «тотальное государство» больше уже не могло держаться принципа *laissez-faire* и довольствоваться ролью «ночного сторожа» при частнокапиталистическом хозяйстве. В работе «Хранитель конституции» Шмитт писал по этому поводу: «В любом современном государстве отношение государства к хозяйству образует подлинный предмет непосредственно актуальных внутривнутриполитических вопросов. На них уже невозможно отвечать посредством старого либерального принципа невмешательства, абсолютного не-интервенционизма» (Schmitt, 1931: 81).

Иными словами, отождествление государства с политическим становится неправомерным в свете того исторического развития, которое суверенное рациональное государство европейского типа проделало в современную эпоху. Шмитт объясняет это тем, что в XX в. на смену «нейтральному» государству XIX в., которое, как выражается Шмитт в другой своей работе, «царствует, но не правит» (Шмитт, 2000 [1922]: 11), приходит «тотальное» государство. Как подчеркивает Шмитт, развитие идет от абсолютистского государства XVIII в. через нейтральное государство XIX в. к тоталь-

ному государству XX в. Этот новый тип государства характеризуется тем, что в нем не остается ни одной сферы общественной жизни, которая в той или иной степени не испытала бы на себе воздействия государства. Иными словами, в условиях массовых демократий XX века, когда государство и общество пронизывают друг друга, государство утрачивает монополию на политическое. Вследствие этого современное «тотальное государство» оборачивает вспять процесс деполитизации, на котором основывается либеральное понимание политики: «Уравнение „государственное = политическое“, — пишет Шмитт, — становится неправильным и начинает вводить в заблуждение, чем больше государство и общество начинают пронизывать друг друга: все вопросы, прежде бывшие государственными, становятся общественными, и наоборот: все дела, прежде бывшие „лишь“ общественными, становятся государственными, как это необходимым образом происходит при демократическим образом организованном общественном устройстве. Тогда области, прежде „нейтральные“ — религия, культура, образование, хозяйство, — перестают быть нейтральными в смысле не-государственными и не-политическими. В качестве полемического контрпонятия против таких нейтрализаций и деполитизаций важных предметных областей выступает *тотальное* государство тождества государства и общества, не безучастное ни к какой предметной области, потенциально всякую предметную область захватывающее. Вследствие этого в нем *все*, по меньшей мере в возможности, политично, и отсылка к государству более не в состоянии обосновать специфический различительный признак „политического“» (Шмитт, 1992 [1932]: 38).

Возможность нового определения сущности политического Шмитт ищет на пути построения новой систематики политических категорий. По его словам, политическое имеет свои собственные предельные критерии, отличные от критериев, действующих в других, относительно самостоятельных областях человеческого мышления и действия. В области морали таковыми являются «доброе» и «злое», в области эстетического — «прекрасное» и «безобразное», в области хозяйства — «полезное» и «вредное». В свою очередь, «специфически политическое различение, к которому можно свести политические действия и мотивы, — это различение *друга* и *врага*. Оно дает определение понятия через критерий, а не исчерпывающую дефиницию или сообщение его содержания. Поскольку оно невыводимо из иных критериев, для политического оно аналогично относительно самостоятельным критериям других противоположностей: доброму и злему в моральном; прекрасному и безобразному в эстетическом и т. д. Во всяком случае, оно самостоятельно не в том смысле, что тут собственная новая предметная область, но в том, что оно не может быть ни обосновано на одной из иных указанных противоположностей или же на ряде их, ни быть к ним сведено» (Шмитт, 1992 [1932]: 40). Правда, одновременно Шмитт отрицает однородность этого критерия с различениями добра и зла в «области морали», прекрасного и безобразного «в эстетической области», полезного и вредного в «экономической области» и подчеркивает, что применительно к политическому речь не идет о «новой предметной области» наряду и наравне со всеми остальными (Майер, 2012: 20–21).

Что касается толкования тезиса о том, что политическое следует выделять по градации групп людей на друзей и врагов, то оно претерпело определенные изменения. В издании 1927 г. Шмитт использовал критерий разделения на друзей и врагов для того, чтобы обосновать относительную автономность политического в отличие от всех прочих предметных делений общественной жизни. На это, в частности, указывает его замечание о том, что введение в политику моральных и эстетических критериев способствует девальвации политического и затемняет чистоту политической перспективы, которая конституируется делением на друзей и врагов. В более поздних изданиях он склоняется к несколько иной точке зрения, согласно которой любой конфликт может стать политическим, если только он достигнет такой степени интенсивности, когда индивиды начнут объединяться в группы по признаку «друзья» — «враги». Иными словами, в более поздних редакциях «Понятия политического» для Шмитта политическое — это не столько автономная сфера человеческого мышления и действия, структурированная согласно соответствующему признаку, сколько высшая степень интенсивности конфликтов, возникающих между людьми, предельной точкой которых является борьба не на жизнь, а на смерть.

Таким образом, «чистая политика» во втором издании «Понятия политического» (1932) преодолевается Шмиттом концепцией интенсивности политического, согласно которой «смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации; это различие может существовать теоретически и практически, независимо от того, используются ли одновременно все эти моральные, эстетические, экономические или иные различия. Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, не нужно, чтобы он был эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться хозяйственным конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно иметь с ним дела. Он есть именно иной, чужой, и для существа его довольно и того, что он в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждое, так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, которые не могут быть разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, ни приговором „непричастного“ и потому „беспристрастного“ третьего» (Шмитт, 1992 [1932]: 40).

Формулировки первой редакции «Понятия политического» (1927) в той части, касающейся «крайнего случая», в котором выявляется, кто есть настоящий «враг», оставляли без внимания политический статус таких «крайних ситуаций», как революция и гражданская война, в которых спорным как раз и является вопрос о том, кто имеет право принимать обязывающие решения о делении на «друзей» и «врагов». Как показывает Майер, изменения, внесенные Шмиттом в издание 1932 г., имели своей целью дать такую характеристику понятия политического, которая позволила бы охватить и эти «крайние случаи» (Майер, 2012: 32–34). Заменив понятие политического как автономной предметной области на понятие политического, конституируемого степенью интенсивности ассоциации и диссоциации на группы друзей и врагов, Шмитт смог по-новому осмыслить понятие врага и благодаря этому включить в свой анализ политического такие события, как революции, гражданские и религиозные

войны. Вовсе не случайно эти изменения в тексте «Понятия политического» приходятся на 1932–1933 гг., отмеченные приближающимся крахом Веймарской республики и приходом к власти национал-социалистов. Как справедливо замечает по этому поводу Майер, модель интенсивности принимает в расчет возможности, предоставляемые подъемом «тотального государства» для борьбы с либерализмом. Если в 1927 г. Шмитт борется за политическое с оборонительных позиций, то в 1932 г. он переходит в наступление. «В 1932 году „чистая политика“ относится к прошлому. Гражданская война упоминается наряду с межгосударственной войной. Внутренняя политика оттесняет внешнюю политику, причем Шмитт вводит вспомогательную конструкцию, чтобы обеспечить для политического *внутри* государства по меньшей мере ограниченное пространство по ту сторону уравнивания политики и полиции и избежать размывания политического в гражданской войне» (Майер, 2012: 36).

Однако, как отмечает Майер, «хотя Шмитт преодолевает своей концепцией интенсивности „чистую политику“, он ни в коем случае не желает отказываться от преимуществ и достоинств своей прежней риторики» (Майер, 2012: 37). Следы этой риторики Майер усматривает в утверждении Шмитта, что политика, как и война, может быть политикой в большей или меньшей степени, причем «высшими мгновениями большой политики» являются те, когда «враг в конкретной четкости прозревается как враг» (Шмитт, 1992 [1932]: 61). В глазах Шмитта для политики сохраняет значимость то, что он ранее установил в отношении войны: она может, в зависимости от степени вражды, быть политикой в *большей* или *меньшей* мере. Поэтому в качестве политического «в главенствующем смысле» Шмитт выделяет такую степень интенсивности вражды, которая проявляет себя в мгновениях, «в которые *враг четко усматривается*, в которые он познается как отрицание собственной сущности, собственного предназначения, в которые, нераздельно с этим, устанавливается *собственная идентичность*, обретая видимый гештальт» (Майер, 2012: 38–39).

Спор Шмитта с либерализмом по поводу понятия политического представляет собой отправную точку и для критических заметок Лео Штрауса. «Шмитт начинает спор с либерализмом во имя политического, и ведет его ради религии» (Майер, 2012: 41) — это суждение Майера с полным правом можно использовать в качестве путеводной нити предложенной им интерпретации спора между Шмиттом и Штраусом по поводу основ политического. Под воздействием критики Штрауса «шмиттовская критика либерализма выливается в критику, названную Лео Штраусом *en plaine connaissance de cause* критикой „философии культуры“; „один крест“ „философии культуры“ Штраус именуется „поистине крестом религии“, другой ее крест называет „поистине крестом политического“. То и другое, религия и факт политического, идут наперекор разделению человеческой жизни на „автономные культурные провинции“. И то и другое ставит под вопрос „культуру“ как „суверенное творчество“ или „чистое воспитание“ человеческого духа, то и другое подчиняет человеческую экзистенцию закону и заповеди авторитета» (Майер, 2012: 41–42).

В своей рецензии на «Понятие политического» Штраус отмечает, что работа Шмитта посвящена вопросу о «порядке человеческих вещей», то есть «вопросу

о государстве» (Штраус, 2012 [1932]: 111). Поскольку национальное государство в современную эпоху переживает серьезный кризис в силу того, что оно перестало быть главным носителем суверенитета и высшей инстанцией политического, постановка вопроса о государстве требует четкого выяснения того, что является его основой, т. е. исследования политического.

Отсюда следует, что тезис о том, что политическое выступает основой государства, не является вечной истиной; напротив, он выражает дух времени и представляет собой современную истину, отражающую ту конкретную ситуацию, в которой государство и политическое оказались в XX в. Как подчеркивает Шмитт, современная ситуация характеризуется тем, что трехсотлетний процесс развития национального государства подошел к своему концу. Современная эпоха — это «эпоха нейтрализаций и деполитизаций». Более того, как утверждает Штраус, «деполитизация не является только случайным или же необходимым результатом современного развития, а представляет собой его настоящую и изначальную цель; движение, в ходе которого современный дух обрел свою высшую действенность, движение либерализма, можно охарактеризовать именно отрицанием политического. И если либерализм стал отныне чем-то сомнительным, то ему нужно противопоставить „другую систему“, во всяком случае, первым словом против либерализма будет: *позиция политического*» (Штраус, 2012 [1932]: 112).

Поэтому, по словам Штрауса, в «Понятии политического» Шмитт выступает с особого рода требованием — с требованием «искренности и откровенности в отношении политического», которых так не хватает либерализму. «Задача Шмитта, — пишет Штраус, — определяется фактом краха либерализма. С этим крахом дело обстоит следующим образом: либерализм отверг политическое; но тем самым он не покончил с ним, а лишь замаскировал его; он привел к тому, что посредством антиполитической фразеологии... продолжают заниматься политикой. Итак, либерализм убил не политическое, но лишь понимание политического, искренность и откровенность в отношении политического. Чтобы развеять напущенный либерализмом туман вокруг действительности, нужно выдвинуть и утвердить политическое как таковое и безусловно неоспоримое» (Штраус, 2012 [1932]: 112–113). Соглашается Штраус со Шмиттом и в том, что главное заключается в том, чтобы заменить «систематику либерального мышления» «другой системой», а именно такой, которая «не отрицает политическое, а признает его» (Штраус 2012 [1932]: 113).

Проблема, однако, заключается в том, что, как признает сам Шмитт, «систематика либерального мышления» «сегодня в Европе еще не заменена никакой другой системой», а потому и попытки Шмитта в противоположность либерализму и принятой последним стратегии деполитизации утвердить политическое как первичное и безусловно неоспоримое наряду с антилиберальным пафосом отмечены печатью либерального мышления. Штраус показывает это на примере отношения Шмитта к Гоббсу и его концепции политического. По мнению Штрауса, критика Шмиттом либерализма не является последовательной; Шмитт не видит того, что именно Гоббс, на которого он ссылается, пытаясь отстоять и «утвердить политическое как таковое и

безусловно неоспоримое» (Штраус, 2012 [1932]: 113), является истинным «основателем либерализма» и «творцом идеала цивилизации» (Штраус, 2012 [1932]: 122).

В центре критики либерализма Шмитта, равно как и замечаний Штрауса по поводу этой критики стояло характерное для либерального мышления понятие «культура», предполагающее функциональную дифференциацию общества модерна на автономные предметные сферы политики, экономики, культуры и религии, а самой сферы культуры — на самостоятельные области науки, морали и права и искусства (Майер, 2012: 19–25). В «Понятии политического» Шмитт поставил себе задачу определить, в чем заключается своеобразие политического. Обычно ответ на этот вопрос сводился к поиску рода, внутри которого следовало определять своеобразие политического. Однако Шмитт высказывает глубокое подозрение по поводу напрашивающегося сегодня ответа о специфике феномена политического. «Несмотря на все возражения, — комментирует Штраус позицию Шмитта, — до сих пор актуален собственно либеральный ответ на вопрос о роде, внутри которого следует определять своеобразие политического и тем самым государства, звучащий так: этот род — „культура“, то есть „тотальность человеческого мышления и действия“, которая членится на „различные, относительно самостоятельные предметные области“ (26), „культурные провинции“ (Наторп)» (Штраус, 2012 [1932]: 114–115). Согласно систематике либерального мышления, родом, внутри которого следовало определять своеобразие политического, была «культура». В этом случае политическое понималось как одна из предметных областей культуры наряду с другими (моральной, эстетической, экономической) предметными областями человеческого мышления и действия. Однако и Шмитт, и Штраус считали это определение политического неверным, поскольку оно не признавало своеобразия политического и вело к деполитизации человеческой жизни. Поэтому критика либерального понятия культуры была столь же принципиально необходимой в глазах Штрауса, как и в глазах Шмитта.

В своих «Замечаниях» Штраус пронизательно отмечает возрастающую неудовлетворенность Шмитта на рубеже 1920–1930-х гг. современным понятием культуры, которая находит свое выражение в отказе от концепции самостоятельных областей, в том числе области политического и в той редакторской правке, которой Шмитт подверг свой доклад 1929 г. «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций» при новой публикации. Однако он идет еще дальше Шмитта и строит свою критику концептуализации понятия политического не только на критике господствующего либерального понятия культуры, как это делает Шмитт, но и на критике идеи автономного положения культуры в обществе модерна. Здесь в семантическую борьбу вступают такие фундаментальные категории мышления модерна, как «культура» и «природа». По словам Майера, критикуя Шмитта, Штраус «делает решающий шаг за пределы „намеченной критики“ и придает ей радикальное направление» (Майер, 2012: 43). Он добивается радикализации критики Шмитта за счет того, что выступает против господствующего понятия культуры, согласно которому не только отдельные «культурные провинции» — наука, искусство, а также мораль и право — автономны и равномогущны друг другу, но «„автономна“ сама культура как целое, суверенное творение, чистое

порождение „человеческого духа“» (Штраус, 2012 [1932]: 118). Поскольку либеральная концепция культуры видит в ней «суверенное творение», спонтанно возникающее благодаря усилиям человеческого духа, она упускает из вида то, что культура имеет свои предпосылки и свой подтекст. «Это воззрение забывает, — пишет Штраус, — что „культура“ всегда предполагает то, что культивируется: культура всегда является *культурой природы*» (Штраус, 2012 [1932]: 118).

Правда, довольно скоро выясняется, что природу, и прежде всего природу человека, можно культивировать по-разному. С одной стороны, можно исходить из того, что «культура формирует естественные задатки; она являет собой тщательный уход за природой — не важно, земли или человеческого духа — она именно *повинуется* указаниям, которые дает сама природа» (Штраус, 2012 [1932]: 118). Однако к культивированию природы можно подойти и по-иному: «через подчинение природе покорить природу (*parendo vincere*, по слову Бэкона); тогда культура уже не будет верным следованием природе, но окажется жесткой и хитрой борьбой *против* природы» (Штраус, 2012 [1932]: 118). По мнению Штрауса, к этому второму пониманию культуры как борьбы с природой склоняется и Гоббс, для которого *status civilis*, предполагающее существование общей власти, является непреложной предпосылкой самого существования культуры, основанной на дисциплине человеческой воли. «В духе специфически современного понятия культуры... Гоббс понимал *status civilis*, который является предпосылкой и условием любой культуры в узком смысле (как любое занятие искусствами и науками) и сам уже основан на определенной культуре, а именно на дисциплине человеческой воли как противоположности *status naturalis*» (Штраус, 2012 [1932]: 118–119).

Иными словами, вместо того, чтобы принять первый тип культивации человеческой природы, основанный на «повиновении указаниям, которые дает сама природа» (Штраус, 2012 [1932]: 118), Штраус выступает за другой тип культивации природы человека, который требует как дисциплины человеческой воли, так и господства человека над природой ради его комфортного материального существования. В своей книге «Критика религии Спинозой», опубликованной в том же 1932 г., что и «Заметки», Штраус специально останавливается на вопросе о том, что тип культивирования природы человека, основанный на дисциплине человеческой воли, неизбежно ведет к господству человека над природой. «Физика, — пишет здесь Штраус, излагая основы философии Гоббса, — озабочена счастьем человека, тогда как антропология — страданиями и несчастьями человека. Наибольшее несчастье — это насильственная смерть; счастье заключается в безграничном возрастании власти над людьми и над вещами. Страх насильственной смерти и стремление к господству над вещами — это и есть в основном те два определения волеизъявления, которые Гоббс принимает в качестве законных» (Strauss, 1965 [1932]: 88). Господство над людьми, за которое выступает «антропология», является более «естественным», чем господство над природой, которого требует «физика», поскольку господство над природой на поверку оказывается «жесткой и хитрой борьбой *против* природы» (Штраус, 2012 [1932]: 118). Согласно Штраусу, Гоббс выбирает «физику», а не «антропологию», причем он по-

ступает так для того, чтобы нейтрализовать те черты человеческой природы, которые делают человека «опасным» и «рискованным» существом, и, наоборот, поставить на первый план те черты человеческой природы, которые делают человека способным к воспитанию и цивилизации; речь в данном случае идет прежде всего о разуме как о способности предвосхищать и планировать свое будущее (Strauss, 1965 [1932]: 89–92). Противопоставляя естественному состоянию, которое представляет собой *bellum omnium contra omnes*, идеал цивилизации, основанный на подчинении природы при помощи науки и техники, «Гоббс в нелиберальном мире основывает либерализм» (Штраус, 2012 [1932]: 123).

Как показывает Штраус, разногласия между Шмиттом и Гоббсом по поводу основ политического наиболее рельефно проявляются по вопросу об обязанности гражданина повиноваться приказаниям суверена. Согласно Гоббсу, государство имеет право требовать от индивидуума только *условного* повиновения, т. е. такого, которое не идет вразрез с *безусловным* правом индивидуума на жизнь. «В соответствии с законодательством государство может требовать от индивидуума только *условного* повиновения, а именно такого повиновения, которое не противоречит спасению или сохранению жизни этого индивидуума; ибо безопасность жизни — последнее основание государства. Поэтому человек хотя и обязан безусловно повиноваться, но не ценой своей жизни; ведь смерть является самым большим злом. Гоббс не боится сделать отсюда вывод, фактически означающий отрицание за мужеством добродетельного характера» (Штраус, 2012 [1932]: 123)². Этим понимание политического Гоббсом принципиально отличается от понимания политического Шмиттом, для которого политическое конституируется «„реальной возможностью физического убийства“ людей людьми» (Штраус, 2012 [1932]: 124), а потому сущность политического объединения, по Шмитту, предполагает, что оно может «требовать от тех, кто принадлежит к собственному народу, готовности к смерти» (Шмитт, 1992 [1932]: 49). Превращая обязанность гражданина повиноваться суверену из безусловного в условное, Гоббс расширяет границы субъективной свободы индивидуума, создавая тем самым предпосылки для формирования либерального взгляда на политическое. Иными словами, в то время как Шмитт первоначально не отдавал себе отчета в том, что в силу выбранных им для критики либерализма предпосылок Гоббс является для него не союзником, а, напротив, антиподом в деле утверждения политического как такового

2. Более того, говоря об условном повиновении повелениям суверена — при безусловном стремлении индивидуума к сохранению своей жизни, — Гоббс без колебаний распространяет это положение и на «крайние случаи», которые всегда наиболее интересны для действительно взыскательной политической мысли. Например, если большая масса людей оказала совместно неправильное сопротивление верховной власти или совершила уголовное преступление, за которое каждый из них ожидает смертной казни, то разве они не имеют в этом случае, спрашивает Гоббс, свободы соединиться для взаимной помощи и защиты? «Конечно, имеют, — отвечает он, — ибо они лишь защищают свою жизнь, на что виновный имеет такое же право, как и невиновный. Их предыдущее нарушение своего долга было действительно незаконным, но последовавшее вслед за этим применение оружия хотя и имеет своей целью поддержать то, что ими сделано, однако не является новым незаконным актом. А когда оружие пускается в ход лишь в целях самозащиты, то это вполне законно» (Гоббс, 1991 [1651]: 170).

и безусловно неоспоримого, Штраус делает эти предпосылки явными и тем самым раскрывает непоследовательность позиции Шмитта. Более того, он совершенно справедливо обращает наше внимание на вопрос о том, насколько концепция естественного состояния Гоббса соответствует *status naturalis* человеческой природы. Поэтому, как подчеркивает Штраус, «радикальная критика либерализма возможна только на основе подобающего понимания Гоббса» (Штраус, 2012 [1932]: 142).

Дополнения и исправления, которые Шмитт вносит в издание 1933 года, отражают, как доказывает Майер, серьезное влияние этой критики Штрауса, которое, правда, сам Шмитт не счел необходимым признать публично. Как полагает Майер, критика Штрауса способствовала тому, что в издании 1933 года Шмитт занимает более взвешенную и критическую позицию по отношению к политическому учению Гоббса и более явно обнаруживает свои теолого-политические предпочтения. «Ставя вопросы, выявляя скрытые в концепции Шмитта апории, он (Штраус. — Т. Д.) побуждает Шмитта к ответам, которые должны прояснить его теологическую подоснову. Вызов Штрауса способствует тому, что автор „Понятия политического“ в 1933 году обнаруживает свою теолого-политическую установку более явно, чем в 1927 году или в 1932 году» (Майер, 2012: 64).

Если в изданиях 1927 и 1932 гг. Шмитт говорит о том, что «методологическая связь теологических и политических идейных посылок» ясна, то теперь, в 1933 году, речь уже прямо идет о том, что «политика нуждается в теологии» (Майер, 2012: 68). В 1932 году Шмитт характеризует Гоббса как «великого и поистине систематического политического мыслителя»; в 1933 г. эта характеристика смягчается признанием индивидуализма и протолиберализма Гоббса. В 1932 г. Шмитт соглашается с тем, что мир добрых людей сделает «излишними» теологов и политиков. В 1933 г. он придерживается уже совсем иного мнения: «Теологи и политики никогда не станут *излишними*. Их экзистенция сама собою не устранилась. Их нужно исключить, побороть, устранить» (Майер, 2012: 69). В итоге Шмитт, согласно Майеру, приходит к следующему выводу: «В конце концов, политика нуждается в теологии не для осуществления некоей цели, а для обоснования своей необходимости. Вера является неприступным бастионом политического» (Майер, 2012: 69). Именно в этом пункте, по мнению Майера, политическая теология как основа политического выступает у Шмитта на первый план, поскольку дело здесь идет о «единственно важном случае», необходимом для конституирования политического, а такой «единственно важный случай — это борьба с провиденциальным врагом, с врагом, определяемым „исторически-конкретно“ в мгновения большой политики: против него, в конце концов, в конце времен нужно будет сражаться в „решающей битве“» (Майер, 2012: 71).

Майер полагает, что враг для Шмитта является орудием Провидения, что без врага в мире невозможно представить себе никакое «серьезное положение дел». «Враг, — говорит Майер, — является для Шмитта гарантом серьезности жизни настолько, что Шмитт скорее желает быть врагом того, у кого нет врагов, чем не иметь врагов» (Майер, 2012: 88). Тем самым Шмитт выходит за границы политического, которое он стремится утвердить как безусловное, к моральному и теологическому. Однако, как тут

же указывает ему Штраус, хороший гражданин вовсе не желает *иметь* врагов; скорее, он желает их *победить*. «Нужно спросить: одобряет ли „борющаяся совокупность людей“ в ситуации опасности, в „серьезном случае“ опасность своего врага? *желает* ли она себе опасных врагов? Ответ на этот вопрос будет отрицательным в духе Гая Фабриция. Услышав о том, что один греческий философ изображает удовольствие наибольшим благом, он воскликнул: „Вот бы и Пирр и самниты придерживались бы того же учения, пока мы с ними воюем!“ Так же и народ в ситуации опасностей желает своей собственной опасности не ради опасности, а ради избавления от угрозы. Итак, одобрение опасности как таковой не имеет политического смысла, но имеет только „нормативный“, моральный смысл; соразмерное ему выражение — это одобрение силы как образующей государство силы, *virtú* в смысле Макиавелли» (Штраус, 2012 [1932]: 129).

Таким образом, как показывает Штраус, Шмитт одобряет политическое, поскольку в ситуации угрозы видит серьезность человеческой жизни. Однако «одобрение политического, в конце концов, есть не что иное, как одобрение морального» (Штраус, 2012 [1932]: 135). Поэтому, как подчеркивает Штраус, «перед радикальной критикой либерализма, к которой стремится Шмитт, встает задача отмены понимания человеческого зла как животного, т. е. невинного „зла“, задача возврата к пониманию человеческого зла как моральной испорченности» (Штраус, 2012 [1932]: 132), т. е. к такому пониманию человеческой природы, которое предшествовало Гоббсу и либерализму.

Сам же Шмитт, в той степени, в какой в построении своего понятия политического он ориентируется на Гоббса, продолжает испытывать влияние либерального мышления. Это проявляется, в частности, в его определении «политического» как находящегося по ту сторону любых нормативных стандартов, как «нейтрального». Однако определяя «политическое» как «нейтральное» относительно норм и идеалов, Шмитт тем самым разделяет предрассудок, характерный для «индивидуалистически-либерального общества». «Моральное» в понимании Шмитта — это всегда «гуманно-моральное»; иными словами, подобно либералам, он отождествляет мораль с *гуманистической моралью*. «А это значит: Шмитт зависит от воззрения на мораль своих противников, вместо того чтобы поставить под вопрос притязание гуманно-пацифистской морали быть моралью; он остается зависимым от воззрений, которые стремится преодолеть» (Штраус, 2012 [1932]: 138). На этом основании Штраус делает вывод, что «начатая Шмиттом критика либерализма только тогда может прийти к завершению, если удастся обрести горизонт по ту сторону либерализма» (Штраус, 2012 [1932]: 142).

Здесь пути наших авторов расходятся в противоположном направлении: Шмитт, который сам называет себя «христианским Эпиметеем» (Schmitt, 1950: 12, 53), остается в рамках историцизма, отличающегося от прочих форм историцизма «своим „цельным знанием“ о смысле и предназначении драмы, движущей мировую историю» (Майер, 2012: 102), тогда как Штраус преодолевает историцизм за счет возвращения к классическому видению политики, т. е. к классическому понятию природы, и прежде всего к классическому видению человеческой природы. Публикация «Заметок»

знаменует собой поворотный пункт в философской эволюции Лео Штрауса. Критика шмиттовской критики либерализма стала важнейшим моментом, подтолкнувшим Штрауса к мысли о необходимости выхода за пределы мышления эпохи модерна и возврата к классическому взгляду на политику, что впервые в целостном виде Штраус осуществил в своей программной работе «Естественное право и история» (Strauss, 1953). Как напишет Штраус в своем носящем автобиографический характер предисловии к публикации книги «Критика религии Спинозой» на английском языке, его работы, созданные и опубликованные до 1932 г., были «основаны на предпосылке, освященной могущественным предрассудком, согласно которой возврат к досовременной философии был невозможен» (Strauss, 1965 [1932]: 30). «Заметки о „Понятии политического“» были первым шагом на пути отхода от этой ошибочной позиции. По словам Штрауса, они представляли собой «первое выражение» «изменения в ориентации», то есть возвращения к классическому взгляду на политическое (Strauss, 1965 [1932]: 31). После публикации «Заметок» возвращение к досовременному мышлению представлялось теперь Штраусу не только не невозможным, но, наоборот, сугубо необходимым. Критика либерализма Карлом Шмиттом стала в глазах Штрауса ярким примером того, что критикуя либерализм, Шмитт все равно остается в плену систематики либерального мышления. В этом заключается ключевой момент критических замечаний Штрауса на «Понятие политического». Признание самостоятельности политического требует замены систематики либерального мышления другой системой. Однако для этого необходимо обрести «горизонт по ту сторону либерализма» (Майер, 2012: 142). Таким горизонтом по ту сторону либерализма для Штрауса становится горизонт классической, или досовременной политической философии и классического естественного права, преодолев который Гоббс заложил основы либерализма. Однако, как считает Штраус, лишь возвращение к классическому пониманию политического может стать той почвой, на которой появится возможность не только обрести новое понимание политического и политической философии, но и найти выход из кризиса Современности³.

В свою очередь, этот поворот Штрауса к досовременным формам морального и правового мышления позволил ему по-новому взглянуть и на политическую философию и ее отношение к политическому. Согласно Штраусу, политическая философия отличается от философии не только своим предметом — природой политических вещей, но и тем способом, который она использует для того, чтобы занять достойное место в политическом сообществе. Для философа мыслить и действовать политически означает принимать во внимание противоположность друзей и врагов, однако у Штрауса эта противоположность принимает иную смысловую нагрузку, нежели у Шмитта. Опасность для философа исходит скорее от политического сообщества как

3. «Вовсе не самозабвенная и болезненная любовь к древности, равно как и не самозабвенный и опьяняющий романтизм, — писал Штраус в работе «Город и человек», — заставляют нас со страстным интересом и ничем не ограниченным желанием учиться обратиться к политической мысли классической древности. Нас вынуждает поступать так кризис нашего времени, кризис Запада» (Strauss, 1978 [1964]: 1).

такового, поскольку его опора на разум и рефлексия приводит к тому, что защитники традиционных устоев видят в нем разрушителя традиционных авторитетов и осквернителя религиозных святынь. Более того, в силу своей эзотеричности философия всегда остается чуждой большинству, и потому в политическом сообществе к ней всегда относятся с подозрением как к источнику возможных неприятностей. Между философией и политическим сообществом, или Городом, как говорили древние, между философом и его согражданами, как знатными, так и не очень, всегда существует возможность не просто непонимания, но конфликта.

По большому счету этот конфликт между философией и политическим сообществом неразрешим, однако философ должен попытаться его смягчить за счет проведения особой философской политики⁴. Философ сознательно вынужден скрывать от одних то, что он открывает для других. Поэтому философ как в своей речи, так и на письме вынужден всегда пользоваться двумя стратегиями: одной — эзотерической, обращенной к реальным и потенциальным друзьям, и второй — экзотерической, призванной сбивать с толку реальных или потенциальных врагов и недоброжелателей. Будучи прекрасно осведомленным о преходящем характере морально-религиозных представлений, философ ограничивает радикальность своей позиции областью умопостигаемого созерцания истины, сочетая его с уважительным отношением к принятым в полисе нравам, обычаям и традициям. «Умеренность, — говорит Штраус, — не относится к числу добродетелей мышления; Платон уподобляет философию безумию, видя в ней прямую противоположность умеренности и рассудительности; мысль должна быть не умеренной, а бесстрашной, если только не сказать бесстыдной. Однако умеренность — это добродетель, которая контролирует речь философа» (Strauss, 1988: 32).

Поступая подобным образом, философ вовсе не ведет себя как закоренелый эгоист или эгоцентрист, поскольку ставкой здесь является не только и не столько сохранение жизни и благополучия самого философа, не желающего повторять судьбу Сократа, но защита права на существование самой философии перед лицом Города и соотечественников. Иными словами, политическая философия пытается оправдать право философии на существование перед трибуналом политического сообщества. Если рассматривать классическую политическую философию с этой точки зрения, то она представляла собой не философское рассмотрение политической жизни, но политическое рассмотрение философии или политическое введение в философию, имевшее своей целью привести всех достойных сограждан от политической жизни к философской жизни. Понимание того, что политика не всесильна, а конечные цели политического недостижимы в рамках самой политической жизни, но требуют перехода наиболее достойных граждан к философскому образу жизни, составляет смысловое ядро «классического» видения политики⁵. «Не вопреки, а благодаря

4. О «философской политике» как способе смягчения неизбежного конфликта между философией и политическим сообществом: Бенетон, 2002: 35–38; Штраус, 2000: 63–67; Lefort, 2000: 172–178.

5. О «классической» политической философии и ее «классическом» видении политического см., к примеру: Филиппов, 2009: 196–199.

тому, — пишет Майер о «повороте» Штрауса к досовременной, сократической форме политической философии и морали, — что политика не охватывает всё и вера не является всем, политическое и религия заслуживают особого внимания со стороны политической философии. Сколь важное место занимает политическое в мышлении Лео Штрауса, столь же мало его волнует тема врага или вражды. Вражда не затрагивает середину его экзистенции, и его идентичность обретает гештальт не в борьбе с врагами» (Майер, 2012: 106–107). Возможно, это и есть тот урок, на который намекает нам заочный спор об основах политического между двумя великими умами Современности, состоявшийся восемьдесят лет тому назад.

Литература

- Бенетон Ф. (2002). Введение в политическую науку / пер. с франц. М. М. Федоровой. М.: Российская политическая энциклопедия.
- Гоббс Т. (1991 [1651]). Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / пер. с англ. Н. А. Гутермана // *Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. Т. 2.* М.: Наука. С. 3–545.
- Майер Х. (2012). Карл Шмитт, Лео Штраус и «Понятие политического» / пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Скимень.
- Филиппов А. Ф. (2009). Политическая социология: проблема классики // *Классика и классики в социальном и гуманитарном знании* / под ред. И. М. Савельевой и А. В. Полетаева. М.: Новое литературное обозрение. С. 181–209.
- Шмитт К. (2000 [1922]). Политическая теология / пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Канон-Пресс.
- Шмитт К. (1992 [1932]). Понятие политического / пер. с нем. А. Ф. Филиппова // *Вопросы социологии.* 1992. № 1. С. 35–67.
- Штраус Л. (2000). О классической политической философии // *Штраус Л. Введение в политическую философию* / пер. с англ. М. С. Фетисова. М.: Праксис. С. 50–67.
- Lefort C. (2000). *Writing: the political test* / tr. D. A. Curtis. Durham: Duke University Press.
- Schmitt C. (1927). *Der Begriff des Politischen* // *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.* Bd. 58. № 1. S. 1–33.
- Schmitt C. (1931). *Der Hüter der Verfassung.* Berlin: Duncker & Humblot.
- Strauss L. (1932). *Anmerkungen zu Carl Schmitt's «Der Begriff des Politischen»* // *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.* Bd. 67. № 6. S. 732–749.
- Schmitt C. (1950). *Ex captivitate salus.* Köln: Greven Verlag.
- Strauss L. (1953). *Natural right and history.* Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1965 [1932]). *Spinoza's critique of religion* / tr. E. M. Sinclair. New York: Schocken.
- Strauss L. (1978 [1964]). *The city and man.* Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1988). *What is political philosophy?* Chicago: University of Chicago Press.
- Strong T. B. (2007). *Foreword: dimensions of the new debate around Carl Schmitt* // *Schmitt C. The concept of political* / tr. G. Schwab. Chicago: University of Chicago Press. P. ix–xxxi.

Глоссарий*

Карл Шмитт

Аннотация. Перевод фрагмента «Глоссария», второй книги, записи которой начинаются с января 1948 г. Здесь Шмитт рассматривает вопрос о технике в «дивном новом мире» и о напряжениях в межчеловеческих отношениях.

Ключевые слова. Фрэнсис Бэкон, Райнер Мария Рильке, Уолт Уитман, техника, машины

12.1.48

Что? Уолт Уитмен в Европе XX века?¹ Мы знаем и совсем иных бахвалов, кроме хвастунов XIX века. Сколько ни пыталась взнудать меня судьба, я упорствовал. Я смотрел в лицо добровольной смерти от руки палача. Трижды я находился во чреве рыбы, я испытал поражения в гражданской войне, инфляцию и дефляцию, революции и реставрации, смену режимов и разрывы, денежную реформу, бомбардировки и допросы, лагерь и колючую проволоку, голод и холод, лохмотья и ужасные тюрьмы. Я был (и до сих пор остаюсь) дискриминирован, оклеветан, разобран на части. Террор снизу и террор сверху, террор на земле и террор из воздуха, легальный и илlegalный террор, террор нацистов и евреев, коричневый, красный и серо-бурмалиновый. Я прошел через все это, и все это прошло сквозь меня (так поет, или, скорее, бахвалится Уолт Уитмен XX века²). Однако превосходство наших дней сказывается ещё и в том, что такому хвастовству приходит конец. Но потому я отнюдь еще не хвалю вывод Рильке: «Комар счастливый прыгает внутри»³!

* Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. А. Ф. Филиппова. Источник: *Schmitt C. (1991). Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947–1951 / Hrsgg. v. E. F. von Medem. Berlin: Duncker & Humblot. S. 81–83.*

В этом номере мы после публикации без пропусков в нескольких номерах «Социологического обозрения» перевода начальных записей *первой* книги «Глоссария» хотим показать читателю Шмитта *второй* книги, а через несколько номеров познакомим его и с *третьей*. Выборочная публикация так или иначе неизбежна ввиду огромных объемов «Глоссария».

© Коринец Ю. Ю., 2012

© Филиппов А. Ф., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. Шмитт несколько раз обращается к Уитмену в это время, в том числе и в очень важной записи 4.6.1948, где речь идет как раз о напыщенно-хвастливом стиле, в каком и сам Шмитт мог бы ответить своим критикам-эмигрантам. — *Прим. ред.*

2. Ср., например, цикл «Посвящения» Уитмена. — *Прим. ред.*

3. «Комар счастливый прыгает внутри» / пер. В. Микушевича. У Шмитта — испорченная (ошибка памяти или ошибка издателя) цитата из восьмой Дуинской элегии Р. М. Рильке: «O, Glück des Mücke, die noch *inne* hüpf» радикально меняет смысл в силу замены «*inne*» (внутри) на «*immer*» (всегда, все еще). Контекст стихотворения Рильке внушает мысль скорее об ошибке, чем о сознательной замене. Ср. хотя бы: «Но бытие для зверя бесконечно / И чисто, как пространство перед ним. / Живет он без оглядки на себя. / Там, где мы только будущее видим, / Он видит все и самого себя, / Навеки исцеленно-

Тем временем мне часто встречается по-отечески заботливый учитель моего брата Томаса Гоббса, глубокий и загадочный Фрэнсис Бэкон. Его *Sermones fideles* (в Лейденском издании 1644 года)⁴ стали моим молитвословом; здесь можно обнаружить в сжатом виде основные политико-философские идеи Гоббса: *de invidia* (С IX) и *de ira*⁵ (L V); а также [следующее суждение]: атеисты как более мирные граждане государства порождают психологию конкуренции; вывод: хитрость всех уловок лисы — ничто перед силой одного льва; басня о лисице и льве⁶; *Nam potenti et fido amico plus praesidii habet, quam artes et astutiae complurimae etc.*⁷ Это мне нравится: Гоббс как ученик Бэкона (ср. 8.3.48).

13.1.48

Встреча с великими представителями немецкого идеализма: Гегель, Энгельс⁸. Снова и снова: огромной важности позиция Самюэля Батлера⁹; как можно, не зная его, написать духовную историю XIX века? Как мог Эрнст Юнгер, не зная его, написать «Рабочего»? Наилучшее рассмотрение темы: техника и технократия. Ирония и сатира как элементы магии? Ирония очень серьезна; не такова ирония у великих англичан.

The servant glides by imperceptible approaches into the master.

*Is not machinery linked with animal life in an infinitive variety of ways?*¹⁰

Относится к представлению о Левиафане как об огромной машине.

го, во всем. / ...О тихое блаженство малой твари, / Не покидающей родного лона. / Комар счастливый прыгает внутри, / Свою встречая свадьбу. / Лоно — все». В более поздней записи от 23.5.1948 Шмитт замечает: «Я не принадлежу к тем комарикам, которые за счастье почитают кувыряться в бедном свете... разрешенной публичности». — *Прим. ред.*

4. Латинский перевод собрания малых сочинений Ф. Бэкона «Опыты и наставления нравственные и политические». Гоббс перевел несколько из них. — *Прим. ред.*

5. О зависти; о гневе (*лат.*) — *Прим. ред.*

6. Собственно, у Бэкона речь идет о басне, в которой говорится о лисе и кошке: «Лисица хвасталась тем, как много у нее средств и уловок, чтобы спастись от собак; кошка же сказала, что она надеется только на одно-единственное средство, а именно на свою способность лазить по деревьям; однако же это средство оказалось намного надежнее всех тех, которыми хвасталась лиса. Отсюда пословица: „Лисица знает многое, а кошка — одно, но важное“» (*Бэкон Ф. [1971]. О достоинстве и приумножении наук / пер. с лат. Н. А. Федорова // Бэкон Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль. С. 371*). У Шмитта, возможно, здесь контаминация басни Эзопа известным сравнением дарований политического виртуоза с хитростью лисы и силой льва у Макиавелли. — *Прим. ред.*

7. Ведь намного надежнее полагаться на одного могучего и верного друга, чем на множество всякого рода уловок и хитростей (*лат.*) (*Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. С. 371*).

8. Шмитт не расшифровывает здесь причисление Энгельса, наряду с Гегелем, к великим представителям немецкого идеализма. Однако несомненно, что Маркс для него — олицетворение еврейского духа. — *Прим. ред.*

9. Самюэль Батлер (1839–1902) — английский писатель, искусствовед, критик. Шмитт находится под впечатлением его труда «Erewhon» (анаграмма слова «nowhere» — «нигде»), название которого традиционно передается на русский как «Едгин». Цитаты ниже — из главы XXIV и главы XXIII. — *Прим. ред.*

10. Слуга через ряд незаметных попыток становится господином.

Не связана ли машинерия множеством способов с животной жизнью? (*англ.*) — *Прим. ред.*

15.1.48

Визит Гюнтера Крауса¹¹. *Homo homini homunculus. Homunculus homunculo Deus etc.*¹² Ряд этих вариаций мы должны будем испытать как чашу удовольствий до дна, пока этот сегодняшний гуманизм сам дойдет *ad absurdum* и *ad Acheronta*¹³. Не будем преклоняться перед этим бессердечным Богом глобального обмана.

Маленький человек, *parvus Homo*, становится еще меньше; он становится *homunculos*; большой человек, *magnus Homo*, становится еще больше, превращается в *Deus. Homo Homini Homo* — это нулевая точка чистого безразличия. Здесь отношение практически не может длиться ни секунды. Оно сразу опять разделяется, обретая напряжение, на полярные противоположности, на позитивно и негативно заряженные электроны. Одно усиливается, другое понижается. *Magnus Homo* «достигает божества», становится изготовителем. *Parvus homo* становится «более животным, чем животное», становится изделием. *Lupus* — это действительно еще очень гуманная категория, он все еще является тварью по сравнению с изделиями *brave new world*¹⁴! Даже вервольф. Собственно усиления в направлении добра и зла возникают лишь с вмешательством духа.

Самый чудовищный документ из бездны немецкого идеализма: «Но если духовная случайность, произвол, доходит до зла, то и последнее все же представляет собой нечто бесконечно высшее (выше, чем вся природа), чем совершающееся согласно законам движение светил или невинность растений, ибо то, что таким образом уклоняется от правильного пути, все же остается духом» (Гегель, *Enycl.* § 248)¹⁵.

Все же это восхитительно. Самое скверное, подлое зло человеческого духа больше, чем звездное небо и прекрасные цветы. Ибо то, что так заблуждается, есть дух. Насколько важные слова о нашей немецкой ситуации 1944 года! И уже следующее поколение дало ответ: Макс Вебер.

Поистине продукты распада этой философии окажутся сильнее, чем все реставрации старых церквей. Они высвободят теургические силы, от которых содрогнутся наши убогие победители и хранители права справа и слева и все выгодоприобретатели гигантского позора немецкого народа.

11. Гюнтер Краус — немецкий юрист, в 30-е гг., как сообщает редактор немецкого издания «Глоссария» в именном указателе, — сотрудник Шмитта. — *Прим. ред.*

12. Человек человеку человек [гомункулус]. Человек человеку Бог и т. д. (*лат.*). — *Прим. ред.*

13. До абсурда; до крайних пределов (*лат.*). — *Прим. ред.*

14. Дивного нового мира (*англ.*). Записи 1948 года открываются этой цитатой из «Бури» Шекспира, которую Олдос Хаксли поставил в заглавие своей нашумевшей книги. Шмитт, как он это нередко делает в «Глоссарии», снова и снова возвращается к именам и темам, которые затрагивает поначалу лишь очень бегло. — *Прим. ред.*

15. Гегель Г. В. Ф. (1975). Энциклопедия философских наук. Т. 2: Философия природы. М.: Мысль. С. 31. Добавление в скобках сделано Шмиттом и лишь приблизительно поддается расшифровке. — *Прим. ред.*

Вместо *renouveau catholique*¹⁶, которое пришлось на 1910–1933 годы и которого не заметили официальные инстанции, мы переживем теперь фантастический *retour offensif*¹⁷ философии немецкого идеализма, вооруженной мифически, то есть, на деле, теургически; особенно Гегеля, который перестанет быть теоретически — музейным экспонатом ученой философии, а практически — оружием воинственного марксизма Москвы.

16. Католическое обновление (*фр.*) — движение, начавшееся еще в первой трети XIX в., зачинателем которого считают Шатобриана. К нему принадлежали многие видные интеллектуалы, в том числе Жорж Бернанос, Леон Блуа, Поль Клодель, которых часто цитирует Шмитт. — *Прим. ред.*

17. Наступательное возвращение (*фр.*). — *Прим. ред.*

«Единственный голос, к которому прислушивается правительство»

*Евгений Емельянов, Андрей Тесля**

Аннотация. Анализируется контекст письма Ю. Ф. Самарина А. И. Герцену от 9 мая 1858 г.: рассматриваются отношения Герцена с участниками славянофильского кружка, выделяются моменты интеллектуальной близости Герцена к славянофилам в 1850-е, реакция Самарина на мемуарную характеристику славянофилов 1840-х, данную Герценом в «Былом и думях».

Ключевые слова. Западники, народничество, национализм, славянофилы, социализм, И. С. Аксаков, А. И. Герцен, Ю. Ф. Самарин, «Былое и думы».

И для Герцена и для славянофилов вторая половина 1850-х — начало 1860-х гг., т. е. первые годы царствования Александра II, начавшиеся с «оттепели» и продолжившиеся набиравшими свой темп реформами в самых разных сферах государственной и общественной жизни, оказались периодом наибольшей активности и одновременно наивысшего общественного влияния. Собственно, самих «западников» (в отличие от славянофилов) к этому времени уже не существовало — а те, кто пытался до некоторой степени сохранить прежний характер «западнического» объединения, стремительно утрачивали свое общественное влияние, оставаясь памятниками ушедшей эпохи, возрождая «общественную повестку», к тому времени уже утратившую свою актуальность, сменившуюся новыми вопросами, новыми размежеваниями и сближениями (подчас неожиданными в свете предшествующих объединений).

Примером подобного, неожиданного на первый взгляд сближения выступают отношения ряда славянофилов с Герценом: сближения, осуществлявшегося одновременно с двух сторон — не только славянофилы проявляли интерес к Герцену и к его лондонской деятельности, но и он на протяжении этих лет (с 1857-го по 1863/64-й) активно интересовался делами славянофилов и искал точки соприкосновения.

Данный интерес питался не только соображениями практического плана¹, но и идейной близостью, максимальной во второй половине 1850-х гг. за счет параллель-

* **Емельянов Евгений Павлович** — аспирант Института истории и археологии УрО РАН. Email: sverdlovsk89@mail.ru; **Тесля Андрей Александрович** — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии ТОГУ. Email: mestr81@gmail.com

© Емельянов Е. П., 2012

© Тесля А. А., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. Практические интересы в данном случае достаточно очевидны: это и вопрос об освобождении крепостных с наделением их землей, и потребность в источниках информации в России — а славя-

ной эволюции взглядов «младших» славянофилов и Герцена. Как убедительно продемонстрировал М. Малиа (Малиа, 2010: гл. 12), славянофилы оказали серьезное влияние на развитие взглядов Герцена, причем если до 1846 г. преобладающим оставались воздействия групповой солидарности «западников» как лагеря, противостоящего официальным кругам и славянофилам, то после раскола летом 1846 г. (точнее, когда Герцен в споре с Грановским фактически оказался в одиночестве — поддержка со стороны Огарева и Белинского была отнюдь не полной, при этом Белинский находился в Петербурге, так что его воздействие на участников спора было существенно ослаблено и данным обстоятельством) Герцен оказался в идейной изоляции, которую усугубил отъезд в Европу, где он долго находился на положении маловлиятельного чужака — одновременно обретя свободу для своих размышлений и надежд. Уже с первых работ 1847 г., а отнюдь не под воздействием революции 1848 г., Герцен выступает критиком Запада, события же 1848 г. и последовавшие за ними послужат лишь большей убедительности данной критики, придадут ей выразительность и одновременно создадут первую (вскоре начавшую расти) благодарную аудиторию как в Европе, так и в России (см.: Малиа, 2010: гл. 14–15).

Герцен дал позитивный ответ на славянофильский запрос на утверждение русской нации как исторической. В то же время это ответ — не просто совместимый с радикализмом, но претендующий на то, чтобы стать его крайним выражением: если для большинства западников «будущее России» заключалось лишь в том, что она сможет повторить европейский путь, пойти следом за более развитыми странами (ответ, неудовлетворительный во многих отношениях, в том числе и в том, что утверждал и увековечивал «вторичность» России, обрекая ее на воспроизведение чужого опыта), то Герцен сформировал историческую перспективу — сходясь со славянофилами в первую очередь в утверждении особых качеств русского народа (равно как и в отвержении существующего порядка) и одновременно делая ставку на будущее (в отличие от славянофилов, правда, безразличный к прошлому, не нуждающийся в «моментах аутентичности» или, по крайней мере, приближений к ней: пустота истории, неисторичность — отсутствие в истории — оказывалось преимуществом, наличием в русском народе нереализованных, невоплощенных до сих пор потенциалов).

Заемствует Герцен у славянофилов и конкретные интеллектуальные схемы. Так, например, в работах 1851–1853 гг. он утверждает: «Славянские народы, собственно, не любят ни государства, ни централизации. Они любят жить в разбросанных общинах, удаляясь как можно больше от всякого вмешательства со стороны правительства.

нофилы имели достаточно широкий и, что важнее, зачастую весьма высокопоставленный круг знакомств, в частности, имели связи с двором, преимущественно с его женской половиной (да и сама императрица была относительно благосклонна к ним через посредство своих фрейлин — а вплоть до середины 1860-х она имела большое влияние на императора, начавшее ослабевать, но никогда окончательно не исчезнувшее, с момента завязавшегося романа Александра II с кн. Е. М. Долгоруковой (см.: Власть и реформы, 2006: 268–269; Тютчева, 2008)). Для славянофилов же контакты с Герценом были возможностью использовать его издательскую площадку и, что важнее, повлиять на него в тактическом плане, смягчая те или иные возможные выступления Герцена, убеждая акцентировать или, напротив, удержаться от привлечения внимания публики к тем или иным внутрироссийским вопросам.

Они ненавидят военный строй, они ненавидят полицию. Федерация была бы самая народная форма для славянских народов. Петербургский период — тяжкий искус, трудное воспитание в государственную жизнь. Он насильно сделал большую пользу России, соединив части ее и спаяв их в одно целое, но он должен миновать» (цит. по: Малиа, 2010: 535–536).

Суммируя взгляды Герцена этого периода, крупнейший исследователь его мысли Мартин Малиа пишет: «Государство, с тех пор как оно появилось, было чужеродным элементом, навязанным лишь резкой необходимостью. Давление других народов, сначала — монголов, позднее — поляков, литовцев и шведов, породило необходимость создания сильного централизованного государства. В противном случае русские повторили бы судьбу балканских славян, находившихся под игом турок, или чехов, находившихся под австрийским игом, — они бы потеряли независимость и утратили национальный характер. Позже миссия состояла в привнесении в Россию просвещения и государственных форм жизни и проходила под западным влиянием. С момента создания государства Россия вступила на столбовую дорогу человеческого развития. Все же, несмотря на оказанные стране услуги, самодержавие всегда оставалось чужеродной силой в России, непохожей на социальный „римский“ тип обожествляемого государства Запада, созданного самим народом. „Истинная“ жизнь России осталась только в крестьянской общине, несущей непосильную ношу инородного византийского самодержавия и немецкой бюрократии, но остающейся, несмотря на это, все такой же сильной и выносливой» (Малиа, 2010: 535; перевод испр.). Данная позиция родственна по ряду ключевых моментов воззрениям К. С. Аксакова: это и признание негосударственного характера русского народа и славян в целом, внешний характер государственности, различие между западным стремлением сделать государство выражением народа и отстранением русского народа от государства, находящего свою «истинную» жизнь в общине. Разумеется, славянофилы не могли бы согласиться с уравниванием «византийского самодержавия» с «петербургской империей» как одинаково внешних форм — первое, т. е. московский период выступал для славянофилов как исторически ограниченное, но адекватное выражение отношений между землей и государством, тогда как «петербургский» период оказывался пусть и исторически необходимым (в плане «божественной педагогики»), но искажающим, затемняющим истинное отношение между землей и государством, непониманием государством своего истинного предназначения (см.: Тесля, 2012: 42–46). Однако расходясь в интерпретации прошлого, Герцен и славянофилы оказывались весьма близки в видении будущего (при учете того существенного аспекта, что Герцен стремился целиком устранить христианское видение истории — если для славянофилов чаемое взаимное устройство «Земли» и «Государства» оказывалось реализацией, максимально возможным здесь, на земле, воплощением христианского идеала, соотношения «града земного» и «града Божьего», с его столь же неизбежным земным несовершенством, восполняемым лишь в идее, то для Герцена речь шла именно о «земном устройении»).

В то же время Герцен подчеркивает свою интеллектуальную независимость, в особенности от современников и тем более от тех, с кем он полемизирует и с кем

сопоставляется в мнениях публики — отсюда для Герцена вытекает само собой разумеющееся подчеркивание отличий от славянофильской точки зрения и стремление даже в личной переписке оговаривать любую близость с чужим воззрением, выходящую за пределы практического действия, — близость возможна только как политическая, в рамках компромисса, политического взаимодействия, направленного к общей конкретной цели, тогда как автономия логики действия, интеллектуальных оснований к нему и интерпретации его последствий должна оставаться в неприкосновенности (поскольку является основанием, переводящим влияние Герцена из фактического плана случайных обстоятельств: эмиграция, наличие значительных свободных денежных средств и т. п. — в основание его личного, персонального статуса «идеолога», или, на языке той эпохи, «властителя дум»).

Для славянофилов характерно параллельное герценовскому движение, подробно изученное и описанное в работах А. Валицкого (Walicki, 1975) и Н. И. Цимбаева (Цимбаев, 2007: 363–374), сводящееся к тому, что если для конца 1840-х — начала 1850-х гг. наиболее характерно стремление дистанцироваться от всяких политических требований, подчеркивание «неполитического» характера русского народа (наиболее последовательное свое выражение она нашла в текстах К. С. Аксакова данного периода), то с 1856 г., когда открываются возможности общественной деятельности и политического влияния, славянофилы все в большей степени модифицируют свои взгляды в плане практической осуществимости, идя на компромиссы и включаясь в текущую деятельность (наиболее важным для большинства из них в этот период становится работа по крестьянскому вопросу).

Однако не только относительное сближение по политическим вопросам связывало славянофилов и Герцена — некоторое значение следует признать и за бытовой близостью. Если «западники» были первым довольно отчетливым движением к явлению, получившему в дальнейшем название «интеллигенция», то «славянофилы» принадлежали к тому времени к уже вполне сложившейся дворянской культуре, к по меньшей мере второму-третьему поколению дворянских семей, осознающих свою историю, чья молодость пришлось на александровское царствование с присущим ему специфическим ростом дворянского самосознания, саморефлексии своего статуса (см.: Щукин, 2007). В своем положении незаконнорожденного, выходец из «случайного семейства», тяжелые и противоречивые черты членов которого вполне различимы в смягчающем описании «Былого и дум» и которые явственнее очерчены в мемуарах Пассек (Пассек, 1963; Малиа, 2010: гл. 2), Герцен был в некоторой степени отделен от жизненного уклада славянофилов, однако именно в бытовом плане был куда ближе к их кружку, чем к кругу «западников». Так, если В. Г. Белинский отзывался о Ю. Ф. Самарине в том духе, что «этот барич третировал нас с Вами du haut de grandeur², как мальчишек» (Белинский, 1983: 702), то для Герцена это самаринское «барство» было скорее симпатично и близко — в письме к Н. Х. Кетчеру от 2–3.XII.1843 г. он пишет: «c'est un parfait honnête homme... да сверх того tres distingue³» (цит. по: Малиа, 2010:

2. «С высоты величия» (фр.).

3. «Это идеально честный человек, да сверх того с прекрасными манерами» (фр.).

408). Характерен не только отзыв Герцена о Самарине, но и избранная им форма его выражения — подчеркивая свою солидарность с объектом описания, Герцен переходит на французский, легкостью владения которым собеседники его московского западнического кружка в большинстве своем не отличались.

Итак, основания для сближения были у обеих сторон, а основной фигурой, через которую начало осуществляться взаимодействие Герцена со славянофилами, стал И. С. Аксаков: немного знакомый с Герценом еще с Москвы 1840-х гг., он встретился с ним в августе 1857-го. Н. А. Огарева-Тучкова вспоминала: «Приезжали и люди вполне порядочные, развитые, сочувствующие Герцену. Между ними один только в эту эпоху меня глубоко поразил совей благородной, немного гордой наружностью, цельностью, откровением своей натуры. Это был Иван Сергеевич Аксаков. Он знал Герцена еще в Москве. Тогда они стояли на противоположных берегах. Читая во многих заграничных изданиях Герцена о разочаровании его относительно Запада, Аксаков, вероятно, захотел проверить лично, ближе ли стали их взгляды, и убедился, что они — деятели, идущие по двум параллельным линиям, которые никогда не могут сойтись. <...> В продолжение нескольких дней Герцен и Аксаков много спорили, ни один не считал себя побежденным, но у них было обоюдное уважение, даже больше, какая-то симпатия, какое-то влечение друг к другу; так они и расстались бойцами одного дела, но с разных отдаленных точек» (Огарева-Тучкова, 1959: 116).

Ценное воспоминание Огаревой, отражающее запомнившийся эмоциональный эффект от пребывания Аксакова, легко корректируется письмами самого Герцена, отправленными вскоре после встречи. Так, 8/20 августа он пишет М.-А. фон Мейзенбург⁴, извиняясь за промедление в переписке из-за обилия встреч с русскими: «Наиболее интересное лицо — сын Аксакова (брат ярого славянофила), человек большого таланта, сам немного славянофил, человек с практической жилкой и проницательностью. Он сказал, что влияние наших изданий огромно, что мир чиновников их ненавидит и боится — но что вся молодежь не желает ничего признавать, кроме „Полярной звезды“ и „Колокола“» (Герцен, 1962: 114; ср. письмо тому же адресату от 16/28.VIII.1857: Герцен, 1962: 117). И. С. Тургеневу 17/29 августа Герцен пишет: «Здесь был Ив. Акс<аков>, и мы с ним очень, очень сошлись; его драмат<ические> будут в IV „Пол<ярной> звезд<е>“. Он двумя головами выше славяномердвов — вроде Крылова, Григорьева, Филип<ова>⁵. Я выпросил у него Никитку Крыл<ова> на съедение — и уважил, нечего сказать в 3 „Колоколе“...» (Герцен, 1962: 117).

4. Мейзенбург Мальвида фон (1816–1903) — воспитательница детей А. И. Герцена, переводчик ряда его работ на немецкий. О ней см. любопытный очерк в работе: Перцев, 2009.

5. Крылов Никита Иванович (1807–1879) — профессор римского права Московского университета (1835–1872).

Григорьев Василий Васильевич (1816–1881) — востоковед, профессор Петербургского университета (1862–1878), начальник Главного управления по делам печати (1874–1880).

Филиппов Третий Иванович (1825–1899) — с 1856 по 1864 г. служил в канцелярии Св. Синода, с 1864-го — в Государственном контроле (с 1889-го по 1899-й — Государственный контролер).

Все трое публиковались в «Русской Беседе» в первое время ее издания, а Т. И. Филиппов первоначально был помощником А. И. Кошелева в редакции.

Последний момент особенно интересен с точки зрения нашего сюжета и потому необходимо рассмотреть его подробнее. Статья, о которой упоминает Герцен в письме к Тургеневу, вышла в № 3 «Колокола» за 1857 г. (стр. 25–26) под заголовком «Лобное место» и была помечена 10 августа, т. е. написана почти сразу же после отъезда Аксакова⁶. Посвящена она разбору нашумевшего выступления Н. И. Крылова на докторском диспуте Б. Н. Чичерина, точнее, публикации оногo (существенно переработанного и дополненного для печати, разросшегося в целый трактат) в «Русской Беседе»⁷ и в грубой форме «разносит» статью Крылова, утверждая, что таким «языком русская литература не говорила никогда; это Барков — верноподданнической поэзии, это de Sade — раболепия!» (стр. 25). Однако прежде чем перейти к «разносу» статьи, Герцен делает важное вступление: «До нас дошли слухи, что Славянофилы „Русской Беседы“ недовольны отзывом „Полярной Звезды“ об их Сборнике.

Почему же нам было иначе отзываться? Пусть сами Славяне скажут, могли ли мы равнодушно говорить о Сборнике, в котором бывшие Липрандивские чиновники⁸ клеветают на дорогих нам покойников под предлогом дружбы⁹; в котором нагло проповедуют царградскую философию рабства?

Мы знаем, как многим из них противны эти учения. — Зачем же они допускают такие статьи, зачем защищают их?» (стр. 25).

С этой статьей вполне мог солидаризироваться (если не по тону, то по основной направленности) и И. С. Аксаков, незадолго до встречи с Герценом писавший брату о Кошелеве, издававшем «Русскую Беседу» (в связи с обсуждением возможности принять на себя (со)редакторство журнала): «Он в восторге от „Беседы“ теперешней, а я нет. Я не соглашаюсь подписывать старую программу „Беседы“, потому что, как тебе известно, она мне не нравится. Он пишет мне, напр<имер>, что гордится тем, „что ‘Беседа’ заслужила внимание просвещеннейших лиц нашего духовенства“, а я пишу, что краснею от сочувствия „Беседе“ графа Ал<ександра> П<етровича> Толстого¹⁰, Отца Матвея¹¹ и Филарета¹². Это все те „союзники гнилья“, о которых ты когда-то писал. Их сочувствие, основанное только на недоумении, просто позорно» (Русская беседа, 2011: 365).

Стоит отметить, что это еще и период максимального «западничества» (если выражаться с известной долей условности) Аксакова и один из пиков относительного

6. И. С. Аксаков прибыл в Англию 3/15.VIII.1857 и, встретившись с Герценом, уехал до 8/20.VIII.1857.

7. Русская Беседа. 1857. Кн. 1, отд. III, стр. 25–102. Кн. 2, отд. III, стр. 89–166; о самом выступлении Крылова и последовавших событиях см.: Чичерин, 2010: 342–348.

8. Указание на В. В. Григорьева.

9. Речь идет о нашумевшей статье В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве» (Русская Беседа. 1856. Кн. III, отд. V, стр. 17–46; Кн. IV, отд. V, стр. 1–57).

10. Толстой Александр Петрович, граф (1801–1874) — генерал-лейтенант, с 1856-го по 1862-й — обер-прокурор Св. Синода.

11. Отец Матвей (Матвей Александрович Константиновский, 1791–1857) — ржевский священник, духовник Н. В. Гоголя.

12. Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782–1867) — с 1826 года и до кончины — митрополит Московский и Коломенский.

«западничества» Самарина. В это время с ними близко сходится кн. В. А. Черкасский, всегда остававшийся достаточно далеким идейно от А. И. Кошелева (а их сближение перед совместной работой в Царстве Польском, куда Кошелев был приглашен по инициативе Черкасского, закончилось решительным разрывом отношений). В мемуарах Н. А. Огаревой-Тучковой Черкасский (вместе с бароном А. И. Дельвигом) упоминается среди лондонских визитеров, «сочувствовавших убеждениям двух друзей хоть отчасти», в противопоставление тем, «которые приезжали только из подражания другим» (Огарева-Тучкова, 1956: 192).

Об изменении отношения к славянофилам, демонстрируемым в беседах с посетителями его дома в Путнее, свидетельствуют, в частности, воспоминания А. П. Милюкова¹³, видевшегося с Герценом незадолго до встречи последнего с И. С. Аксаковым, в конце мая — первой половине июня 1857 г.: «К славянофильской партии он относился уже не с той резкостью, какой прежде отличались его нападки на людей этого направления. Смеясь над их стремленьем возвратиться „к допетровской лежанке“ и беседовать оттуда с народом, облачась в охабень и мурмолку, он тем не менее отдавал справедливость патриотизму и талантливости Хомякова, Аксаковых. Мне показалось даже, что в это время Герцен, по некоторым своим суждениям, приближался к этой партии, которую прежде так беспощадно осмеивал. В его взглядах на русский народный характер, на общину и круговую поруку было много общего с славянофильскими журналами¹⁴, а отзывы его о европейском обществе в отношении к явлениям, возникшим после событий 1848 и 1849 годов, невольно напоминали известные иеремиады о гниющем Западе¹⁵. Что касается вопроса об освобождении крестьян, то

13. Милюков Александр Петрович (1817–1897) — писатель, преподаватель литературы в средних учебных заведениях СПб., в молодые годы был близок к кружку петрашевцев. Известность ему принесли «Очерки истории русской поэзии» (1847); публиковал литературно-критические статьи в «Библиотеке для Чтения», «Отечественных Записках», «Русском Вестнике» и др. Воспоминания о Герцене вошли в его мемуарную книгу «Литературные встречи и знакомства» (СПб., 1890).

14. Если это не следствие несколько выпяченного способа выражения, то перед нами ошибка памяти мемуариста — на тот момент славянофилы издавали только один журнал, «Русскую Беседу» (с 1856 г.). В 1858 г. А. И. Кошелев предпримет также издание журнала, специально посвященного аграрному вопросу, «Сельское благоустройство», выходившего с марта 1858-го по апрель 1859-го. На языке той эпохи «журналами» (по французской манере) называли также и «газеты», тогда может иметься в виду недолговременная «Молва» (с 13 апреля по 28 декабря, 38 номеров), выходившая с передовицами и при тесном участии (нередко в литературе обозначаемом как «неформальное редакторство») К.С. Аксакова (официальным редактором был С. М. Шпилевский), однако иметь ее в виду А. И. Герцен вряд ли мог, поскольку маловероятно, чтобы первые номера газеты уже успели достигнуть Лондона (в дальнейшем Герцен будет договариваться с И. С. Аксаковым об обмене изданиями, чтобы держать друг друга в курсе своих дел). Из версий, основывающихся на точной передаче мемуаристом отзывов Герцена, остается в силе лишь та, что под «журналами» Герцен вместе с «Русской Беседой» имел в виду выходившие раньше «Московские сборники» (расценивавшиеся славянофилами как «серийное издание»: выпущенный в 1852 г. т. I «Московского сборника» его редактор И. С. Аксаков считал продолжением изданий 1846 и 1847 гг., выходивших трудами В. А. Панова).

15. Выражение «Запад гниет» принадлежит С. П. Шевыреву, однако нередко переносилось на славянофилов без оценки отличия их позиции от московских сторонников доктрины «официальной на-

во всех главных основаниях его он прямо примыкал к славянофилам. Я думаю, что впоследствии он мог бы согласиться и с другими принципами этой партии, за исключением разве ее религиозных убеждений» (Милуков, 1956: 226).

В. А. Китаев так оценивал контакты Герцена с Аксаковым: «В условиях обозначившегося к 1858 г. разрыва с правым крылом либерального западничества Герцен стремился поддержать и укрепить свои связи со славянофилами. <...> С этой точки зрения фигура младшего Аксакова приобретала для Герцена особый интерес. Склонный к отказу от наиболее косных черт славянофильской доктрины, он более всего подходил к роли соединительного звена между издателями „Колокола“ и славянофильским кружком» (Аксаков Иван Сергеевич, 2011: 10). В принципе сказанное может быть распространено и на Ю. Ф. Самарина, за одним исключением — глубоко вовлеченный в подготовку крестьянской реформы, он не имел ни времени, ни сил на налаживание внешних контактов — на тот момент большая часть публицистической активности славянофилов легла на плечи И. С. Аксакова, склонного к подобного рода деятельности (см.: Пирожкова, 1997: гл. 6).

Для Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова исключение из общего мнения о славянофилах делал даже «неистовый Виссарион». В письме к Герцену от 4.VII.1846 г. он признает, что статья Самарина в «Московском сборнике» «умна и зла, даже дельна» и «это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом» (Белинский, 1982: 601) и следом сообщает: «В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!» (Белинский, 1982: 601; ср.: там же: 705, письмо К. Д. Кавелину от 7.XII.1847).

Первоначальный интерес «младших» славянофилов к Герцену не является чем-то специфическим. В кн. I «Голосов из России» (1856) в «Письме к издателю», подписанном «Русский либерал» (под этим обозначением скрывались К. Д. Кавелин и Б. Н. Чичерин), говорилось: «не сочувствуя теперешней вашей деятельности, решительно не становясь под ваше знамя, мы, через отсутствие всякой гласности в России, вынуждены искать для современной русской мысли пристанища и великодушного крова у вас» (Голоса, 1974: 35–36). Подобные слова могли бы произнести и славянофилы, по крайней мере, некоторые из них, такие как И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Черкасский¹⁶. К 1858 г. ситуация изменилась — более нельзя было сказать, что в России отсутствует «всякая гласность». Изменился, соответственно, статус герценовских изданий — ранее бывших площадкой всякого свободного слова (точнее,

родности».

16. В «Голосах из России» в кн. IV (1857) публиковался даже М. А. Дмитриев (стихотворение «Когда ваш Новгород великий...»; было переиздано Герценом и Огаревым в «Русской потаенной литературе XIX столетия. Отд. I: Стихотворения. Ч. 1». Лондон, 1861), человек куда более консервативных взглядов по сравнению даже с наиболее традиционалистски и верноподданнически настроенными представителями славянофильского круга (см.: Дмитриев, 1998).

декларировавших свой статус в качестве таковой площадки), они стали к этому времени выразителями вполне определенной политической позиции, благо у значительной части оппонентов Герцена, одновременно бывших оппонентами существующей власти, появилась возможность с существенной полнотой выражать свои взгляды в подцензурной печати (в особенности для публики, приученной за предшествующие десятилетия к искусству чтения между строк)¹⁷.

Достигнутое соглашение о систематическом обмене изданиями (Аксаков Иван Сергеевич, 2011: 10; Дудзинская, 1983: 49–50) привело к тому, что вышедшую в феврале 1858 г. из печати четвертую книгу «Полярной звезды» уже в апреле месяце кн. В. А. Черкасский привез в Москву (в количестве 10 экземпляров: Эйдельман, 1966: 88). В ней наряду с пьесой И. С. Аксакова «Присутственный день уголовной палаты» были напечатаны и главы «Былого и дум», посвященные воспоминаниям о московских славянофилах. Этот текст и вызвал публикуемое ниже письмо Ю. Ф. Самарина, написанное под непосредственным впечатлением от прочитанного.

Прежде всего необходимо напомнить, что Самарин был близко знаком и интенсивно общался с Герценом, оказав некоторое влияние на его интеллектуальную эволюцию, в 1842–1844 гг., что нашло отражение в его дневнике (см.: Герцен, 1954а), по оценке Малиа, не кажущейся сильно завышенной, «для Герцена не было более обещающей и привлекательной личности во всей Москве» (Малиа, 2010: 408; ср.: Нольде, 2003: 199)¹⁸. На момент опубликования славянофильских глав «Былого и дум» большая часть участников (за исключением братьев П. В. и И. В. Киреевских) пребывали в добром здравии и принимали более или менее активное участие в интеллектуальной жизни страны — так что соответствующие воспоминания Герцена не могли рассматриваться лишь как мемуарные зарисовки, более или менее верные, но как актуальный текст, тем более учитывая статус его автора. Поэтому и ответ Самарина на опубликованные главы также вписан в текущий политический контекст, и хотя публикуемое письмо представляет интерес во многих отношениях, мы же постараемся выделить аспекты, являющиеся ключевыми для автора и адресата:

1) «*Бои за историю*». С 1855–1856 гг. начинают достаточно активно появляться мемуарные свидетельства, посвященные недавнему прошлому и описывающие события, многие участники которых на тот момент еще живы и деятельны. Так, в 1856 г. выходит биография Н. В. Станкевича, написанная П. В. Анненковым, являющаяся своего рода агиографией лидера известного кружка, славянофильская «Русская Беседа» в то же время публикует мемуарный очерк В. В. Григорьева о молодых годах

17. Возможности неподцензурных герценовских изданий использовал И. С. Аксаков, опубликовавший в «Полярной звезде» (1858. Кн. 4) «Присутственный день уголовной палаты. Судебные сцены». По мнению Е. А. Дудзинской, возможно, И. С. Аксакову также принадлежит пьеса «Русские в Париже в 1858 году», опубликованная в №11 «Колокола» от 15.III.1858 (Аксаков Иван Сергеевич, 2011: 296). В том же году в «Колоколе» была напечатана статья А. И. Кошелева «Программа для занятий губернских комитетов» (№№19 и 20 от 15.VII.1858 и 1.VIII.1858 соответственно).

18. Эмоционально, впрочем, для романтической природы Герцена был ближе Константин Аксаков — нежность к нему, доносимая сквозь иронию, отчетливо донесена в общеизвестных фрагментах «Былого и дум», посвященных славянофильскому кружку.

Т. Н. Грановского, воспринимаемый «западниками» как диффамация одного из наиболее известных и уважаемых своих представителей. Помимо опубликованных мемуарных свидетельств в этот же период создаются и тексты, которые хотя и будут изданы гораздо позже, однако достаточно широко распространяются в виде «рукописной литературы» или на чтениях в московских салонах: так, в связи со столетним юбилеем Московского университета по инициативе К. С. Аксакова (подавшего первый пример) создает свои воспоминания о годах учебы Ю. Ф. Самарин. Для всех основных деятелей 1830-х — 1840-х гг. ясно, что эпоха закончилась, начался новый период — и в силу этого мемуары играют ключевую роль в «присвоении прошлого». В данном контексте вес мемуарного свидетельства Герцена очевиден — и в силу его роли в описываемых событиях, и текущего статуса, и литературного дара: тот образ, который Герцен утвердит своим текстом, имеет все шансы стать самой «истиной» для непричастных — и оттого столь понятна напряженная реакция Самарина, его требование скорректировать текст.

2) *Сотрудничество*: собственно, острота вопроса о прошлом — это снятие моментов, являющихся основаниями к размежеванию, в том числе основаниями личного плана. В этом отношении очень характерно фактически ставшее ответным письмо И. С. Аксакову (от 27.X/8.XI.1858), где Герцен выставляет встречные упреки того же плана. То прошлое, о котором идет речь, это *актуальное прошлое* — и потому стороны осуществляют своего рода согласование воспоминаний, точнее, тех сторон и акцентов, которые являются приемлемыми, и тех, которые станут предметом уступок или «зонами молчания». Самарин подчеркивает, что не просто критикуя, но и вышучивая славянофилов, Герцен одновременно ослабляет и собственную позицию, поскольку то, что становится предметом его иронии, очень близко его собственным взглядам текущего момента: он пишет мемуары, относя себя к лагерю «западников», тогда как его нынешняя позиция оказывается мало в чем схожа с позицией основного печатного органа остатков «западничества» конца 1850-х г. — издаваемого Е. Ф. Коршем журнала «Атеней».

Герцен ответил на послание Самарина в письме к наиболее тесно общавшемуся с ним в то время участнику славянофильского кружка — Ивану Сергеевичу Аксакову. 8 ноября (27 октября) 1858 года он писал: «Несколько месяцев> тому назад получил я письмо от С<амарина>, — письмо хорошее и умное, но много еще и очень многое нас делит. Не одна религия (она у вас больше натянутое общение с народом, нежели непосредственное чувство), но и нетерпимость не только к настоящим деятелям, но и к умершим.

Неужели С<амарин> может по духу партии не признавать действительного значения Грановского в Моск<овском> универ<ситете>? То же о Белинском? Он упрекает меня в том, что я своих раскрашивал, а ваших уменьшал. Неужели мои строки о Киреевских не полны уважения?.. Я собирался к нему писать длинное письмо, а теперь П. И. <Бартенев> меня взял врасплох, я и решил только написать вам. Но несмотря на все разномыслия, в одном мы соединены вполне — в общей искренней

любви к России, в страстном желании освобождения крестьян с землею, и во имя этих двух баз мы горячо жмем руку вам и С<амарину> <...>

Р. S. Еще слово С<амарину>. Я уверяю его честным словом, что я tout de bon¹⁹ и откровенно принял выражение „принижающаяся личность“, тем больше что странное выражение это очень резко.

Не деля ваших мнений, я вас больше понимаю и больше сочувствую с вами, нежели с нашими поклонниками централизации и французской болезни: эти гувернеры народа, просветители, мандарины и светские попы, будущие Бироны в теории и Аракчеевы в журналах вовсе не представляют той стороны: в истории были люди 14 декаб<ря>, Белинс<кий>, Гранов<ский>, весь наш круг до 46 года. Я уверен, что вы все отступите от ваших ультраславянских мутей, являющ<ихся> иной раз у самого Конст<антина> Серг<еевича> и у Хомяк<ова>. Верите ли вы, что Иванов был на дороге к иконописи, которую он, как артист, терпеть не мог? Или думаете вы, что в самом деле на Западе не было живописи? А ведь это напечатано.

Статьи С<амарина> я никогда не получал.

Пришлите нам от себя статью о славяноф<ильском> направлении, и начнемте уяснять дружеским спором вопрос» (Герцен, 1962: 220–221).

Герцен учёл некоторые замечания Самарина и в вышедшем в 1861 г. отдельном издании «Былого и дум» внёс корректировку в образ славянофилов. В частности, говоря об их взаимоотношениях с Николаем I, он писал: «Встреча московских славянофилов с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастьем. Николай бежал в народность и православие от революционных идей. Общего между ними ничего не было, кроме слов. Их крайности и нелепости все же были бескорыстно нелепы и без всякого отношения к III отделению или к управе благочиния. Что, разумеется, нисколько не мешало их нелепостям быть чрезвычайно нелепыми» (Герцен, 1956: 136–137). Кроме этого, он убрал из характеристики Хомякова утверждение, что тот бесплодно проспорил всю свою жизнь.

«Дружеский спор», начать который предлагал Герцен, впрочем, не сложился — хотя И. С. Аксаков оставался одним из тайных корреспондентов «Полярной звезды» и «Колокола» до 1861 г. включительно, однако позиции «младших» славянофилов и Герцена начали быстро расходиться после недолгого сближения — для Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова радикалы 1860-х были еще дальше, чем петербургское правительство, при всей нелюбви их к последнему. Это не мешало И. С. Аксакову высоко ценить Герцена и публично признавать его значение. Так, в 1863 г. он писал в «Дне»: «Герцен, при всех своих доходящих до преступности крайностях, стоит, пожалуй, в нравственном отношении несравненно выше тех молодых людей, которых, впрочем, он же большею частью породил и воспитал²⁰. В нем есть сила, есть сердце, есть горя-

19. «Полностью» (*фр.*).

20. Ср. отзыв Ю. Ф. Самарина из письма к кн. Е. А. Черкасской от 3.VI.1861: «Посмотрели бы Белинский, Грановский и Герцен на своих учеников, на своё создание, и они сами бы от них бы отступились. Дело в том, что все, что было живого в этих людях, живого, искреннего и теплого, принадлежало не направлению, не выработанному ими своду понятий, а тем началам, которыми они жили в ранней

чее участие к общественному благу, хотя криво и ложно понимаемому: он, по крайней мере, не космополит, и участь Русского народа ему ближе судьбы Французских швей; за то, впрочем, он уже и считается человеком отсталым у нашей передовой молодежи» (Аксаков, 1886: 247).

Личная встреча с Герценом, о которой Самарин мечтал в конце своего письма, состоялась только в 1864 г., когда он выехал за границу на лечение и прибыл на несколько дней в Лондон. К тому времени Польское восстание 1863 г., в ходе которого Герцен и славянофилы оказались по разные стороны баррикад, окончательно раскололо тот хрупкий союз, который намечался между ними в годы подготовки крестьянской реформы (Дудзинская, 1983: 57). Как и двадцать лет назад в Москве, Герцен и Самарин вновь ожесточённо спорили, но мостов для примирения между ними уже не было. Первый биограф Ю. Ф. Самарина барон Борис Эдуардович Нольде писал: «О подлинном споре узнали немногие близкие двух участников, и он был, конечно, событием только в личной жизни Самарина и Герцена. Но теперь — когда протекли десятилетия — свидание в Ройяль-Хотел на Блакфрайар-Бридж получает смысл исторического символа. Как когда-то в Зимнем дворце в конце зимы 1849 года, в лице Самарина и императора Николая сошлись две разных России, Россия новая и Россия старая, так и здесь сошлись две новых России — Россия революции и Россия исторической традиции» (Нольде, 2003: 202).

Сам же Герцен в письме к Огареву так описывал эту встречу (10/22.VII.1864): «У меня все еще идет кругом в голове от этого разговора, который длился от шести до часу непрерывно. Десять раз он принимал ту форму, после которой следовало бы прекратить и его, и знакомство. О сближении не может быть и речи, и при этом лично С<амарин> и уважает и любит меня. Я только вздохнул в № и спросил об нем, как явился он сам <...>. Я протянул ему руку, но он бросился обнимать меня» (цит. по: Нольде, 2003: 199–200).

Эхом этой встречи стала продолжавшаяся несколько месяцев переписка между Самариним и Герценом, философские размышления в которой переплетались с политическими обвинениями. Оба собеседника в конечном счете уже ничуть не пытались примириться или найти точки соприкосновения — с самого начала, с того лондонского разговора, было понятно, что это уже невозможно. Цель их была иная: выговориться, уяснить себе и другому суть своей позиции, добиться, чтобы собеседник понял ее, хотя и с признаваемой неизбежностью не принял — в некотором смысле оба собеседника чувствовали в этом странном эпистолярном разговоре отзвук бесконечных московских бесед 1842–1844 гг., тех, которые вести уже ни с кем другим им было невозможно да и незачем.

молодости, с которыми потом вступили в борьбу и от которых они легкомысленно отреклись. Отреклись, но не вполне; многое в них уцелело, конечно, бессвязного, разорванного, непоследовательного из этой среды, которая когда-то их освещала и согревала» (Самарин, 1997: 205).

* * *

В 1881 г. сын издателя «Колокола» Александр Александрович Герцен передал известному украинскому публицисту и историку Михаилу Павловичу Драгоманову, жившему в то время в Женеве и редактировавшему выходившую там газету «Вольное слово», значительную часть архива Герцена. Среди полученных Драгомановым бумаг было и публикуемое ниже письмо Самарина, впервые напечатанное в «Вольном слове» в 1883 г. (Самарин, 1883: 9–12). После публикации часть писем вернулась к сыну Герцена и была передана им в Румянцевский музей, в том числе было передано письмо Ю. Ф. Самарина (Литературное наследство, 1953: 1–2). В дальнейшем архив Румянцевского музея был преобразован в Отдел рукописей Библиотеки имени Ленина (ныне Отдел рукописей РГБ).

Данная публикация осуществляется по копии, хранящейся в фонде Самариных в Отделе рукописей РГБ (ОР РГБ. Ф. 265. Картон 39. Ед. хр. 5. лл. 506–1406). В настоящей публикации орфография текста частично приведена в соответствие с современными нормами с сохранением индивидуальных особенностей написания.

Литература

- [Аксаков И. С.] (1886). Сочинения И. С. Аксакова. Том III: Польский вопрос и западно-русское дело. 1860–1886. Еврейский вопрос. Статьи из «Дня», «Москвы», «Москвичка» и «Руси». М.: Типография М. Г. Волчанинова.
- Аксаков Иван Сергеевич: Материалы для летописи жизни и творчества. Вып. 3: в 2 частях. «Московские сборники». Исследование украинских ярмарок. Ополчение. В комиссии князя В.И. Васильчикова. Путешествие за границу. «Русская беседа». «Парус». Ч. II: 1857–1860. (2011) / сост. С. В. Мотин, И. И. Мельников, А. А. Мельникова; под ред. С. В. Мотина. Уфа: УЮИ МВД России.
- Базилева З.П. (1949). «Колокол» Герцена (1857–1867 гг.). М.: ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы.
- Белинский В.Г. (1983). Собрание сочинений в 9-ти т. Т. 9: Письма 1829–1848 годов / ред. тома В. И. Кулешов, сост. М. Я. Поляков, подгот. текста В. Э. Борада, прим. К. П. Богаеской и А. Л. Осповата. М.: Художественная литература.
- Власть и реформы: от самодержавной к Советской России. (2006) / отв. ред. Б. В. Ананьич. М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис.
- Герцен А. И. (1954а). Сочинения в 30-ти томах. Т. II. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1954б). Сочинения в 30-ти томах. Т. VII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1956). Сочинения в 30-ти томах. Т. IX. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1957). Сочинения в 30-ти томах. Т. XII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1958). Сочинения в 30-ти томах. Т. XIII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1961). Сочинения в 30-ти томах. Т. XXII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1962). Сочинения в 30-ти томах. Т. XXVI. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1966). Былое и думы // Полярная звезда. Книга 1. М.: Наука.

- Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. I–III. Вып. 1. (1974) / руководство изданием акад. М. В. Нечкиной; публикация текста под наблюдением Е. Л. Рудницкой. М.: Наука.
- Голоса из России. Сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. X: Комментарии и указатели. Вып. 4. (1975) / руководство изданием акад. М. В. Нечкиной; под ред. М. В. Нечкиной и Е. Л. Рудницкой. М.: Наука.
- Дмитриев М. А. (1998). Главы из воспоминаний моей жизни / подготовка текста и коммент. К. Боленко, Т. Нешумовой, Е. Ляминой. М.: Новое литературное обозрение.
- Дудзинская Е. А. (1983). Славянофилы и Герцен накануне реформы 1861 года // Вопросы истории. 1983. № 11. С. 43–59.
- Литературное наследство. Т. 61: Герцен и Огарёв. (1953). М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Малия М. (2010). Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855 / вступ. ст. А. Павлова; пер. с англ. А. Павлова и Д. Узланера. М.: Территория будущего.
- Милюков А. П. (1956). Знакомство с А. И. Герценом // Герцен в воспоминаниях современников / сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Путинцева. М.: Государственное издательство художественной литературы. С. 222–237.
- Нольде Б. Э. (2003). Юрий Самарин и его время. М.: Эксмо.
- Огарева-Тучкова Н. А. (1956). Воспоминания // Герцен в воспоминаниях современников / сост., вступ. ст. и коммент. В. А. Путинцева. М.: Государственное издательство художественной литературы. С. 176–221.
- Пассек т. п. (1963). Из дальних лет. Воспоминания. Т. I / вступ. ст., подгот. текста и прим. А. Н. Дубовикова. М.: Государственное издательство художественной литературы.
- Перцев А. В. (2009). Фридрих Ницше у себя дома: опыт реконструкции жизненного мира. СПб.: Владимир Даль.
- «Русская беседа»: история славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись. (2011) / под ред. Б. Ф. Егорова, А. М. Пентковского, О. Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом.
- Самарин Ю. Ф. (1883). Письмо к А. И. Герцену // Вольное слово. 1883. № 59. С. 10–12.
- Самарин Ю. Ф. (1911). Сочинения. Т. 12. М.: Типография А. И. Мамонтова.
- Самарин Ю. Ф. (1997). Статьи. Воспоминания. Письма: 1840–1876 / сост. Т. А. Медовичева. М.: ТЕРРА.
- Сухов А. Д. (2009). Литературно-философские кружки в истории русской философии (20–50-е гг. XIX в.). М.: ИФ РАН.
- Тесля А. А. (2012). Запрещенная 6-я статья И. С. Аксакова из цикла «О взаимном отношении народа, общества и государства» // Социологическое обозрение. Т. 11. № 2. С. 41–70.
- Тютчева А. Ф. (2008). Воспоминания. При дворе двух императоров / сост., вступ. ст., пер. с франц. Л. В. Гладковой. М.: Захаров.
- Цимбаев Н. И. (1978). И. С. Аксаков в общественной жизни пореформенной России. М.: Изд-во МГУ.
- Цимбаев Н. И. (2007). Историософия на развалинах империи. М.: Издательский дом Международного университета в Москве.

- Чичерин Б. Н.* (1858). О настоящем и будущем положении помещичьих крестьян // Атеней. 1858. Ч. 1. С. 486–526.
- Чичерин Б. Н.* (2010). Воспоминания в 2-х т. Т. 1. М.: Изд-во им. Сабашниковых.
- Шукин В. Г.* (2007). Российский гений просвещения: исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: Российская политическая энциклопедия.
- Эйдельман Н. Я.* (1966). Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М.: Мысль.
- Walicki A.* (1975). The Slavophile controversy: history of a conservative utopia in nineteenth-century Russian thought. Oxford: Clarendon Press.

Письмо Ю. Ф. Самарина — А. И. Герцену*

Москва. Мая 9-го. 1858 года

Прежде всего обнимаю вас искренно и крепко жму вам руку. Спасибо вам за многое. Дело, вами начатое, займёт не последнее место в истории русского просвещения. «Колокол»¹ — это теперь единственный голос, к которому прислушивается Правительство; оно справляется с ним, как порядочный человек справляется с своею совестью. «Колокол» заменяет для правительства совесть, которой по штату не полагается, и общественное мнение, которым оно пренебрегает. Вы теперь, по своему положению, пользуетесь монополиею свободного слова. Вы можете говорить всё, а возражать вам никто не может: это такая же привилегия, как та, которую пользуются казённые издания; вся разница в вашу пользу. Печатный лист, выходящий под фирмою двуглавого орла, заподозревается общественным мнением ради одной этой вывески; напротив, запрещение, наложенное на издание, располагает читателей к сочувствию и доверию. Поэтому от вас более чем от кого-либо мы в праве требовать беспристрастия, правдивости и строгой добросовестности. Я уверен, что вы признаете законность этого требования и можете его выполнить. Иначе я не стал бы писать к вам этого письма.

К делу.

В предисловии к запискам Дашковой и в других ваших изданиях вы не раз называли Незабвенного² главою так называемых славянофилов, или староверов — что́, по-вашему, одно и то же, а нас — друзьями и поборниками его системы³. Я согла-

* Подготовка текста и комментарии Е. П. Емельянова.

1. А. И. Герцен и Н. П. Огарёв издавали газету «Колокол» вначале в Лондоне (1857–1865), а затем в Женеве (1865–1867). Первоначально газета выходила ежемесячно, с февраля 1858 г. два раза в месяц.

2. Славянофилы и западники называли «Незабвенным» Николая I.

3. В статье «Екатерина Романовна Дашкова», вышедшей в 1857 г. в «Полярной звезде», Герцен писал: «Когда Александр диктовал в Париже законы всей Европе одна сторона петровской идеи была окончена. Что же потом? Воротиться опять за 1700 год и сочетать военный деспотизм с отчуждающей от всего человеческого царской властью. Этого хотели Николай, десяток повреждённых славянофилов и больше никто» (Герцен, 1957: 366). В вышедшей в 1851 году брошюре «О развитии революционных идей в России» он писал: «Славянофилы пользовались большим преимуществом перед *европейцами*, но преимущества такого рода пагубны: славянофилы защищали православие и национальность, тогда как *европейцы* нападали и на то, и на другое; поэтому славянофилы могли говорить почти всё, не рискуя потерять орден, пенсию, место придворного наставника или звание камер-юнкера. Белинский же, напротив, ничего не мог говорить; слишком прозрачная мысль или неосторожное слово могли довести его до тюрьмы, скомпрометировать журнал, редактора и цензора. Но именно по этой причине все симпатии снискал смелый писатель, который ввиду Петропавловской крепости защищал независимость, а все неприязненные чувства обратились на его противников, показывавших кулак из-за стен Кремля и Успенского собора и пользовавшихся столь широким покровительством петербургских „немцев“ <...> Что до подлинных славянофилов, то добрые отношения с правительством были для них скорее несчастьем, чем фактом желательным, но к этому приводит всякая доктрина, опирающаяся на власть» (Герцен, 1954: 238–239).

сен, что слить вместе Николая с славянофильскою партией и приготовить публику видеть и ненавидеть в них проявления одного принципа может быть не бесполезно для успехов противной партии; но так как это неправда, то пора бы бросить это оружие. Именно вам неприлично употреблять его. Николай — глава и покровитель славянофилов!.. Свой человек! Нечего сказать: очень он был добр для нас и много мы от него видели ласки. Переберите в своей памяти историю каждого из нас, начиная хоть с 1847 года. Чижова жандарм схватил на границе и повёз к Дуппелту, откуда его выпустили, запретив ему печатать что-бы то ни было⁴. Иван Аксаков сидел в III Отделении; потом, после службы своей в ополчении, обойдён был чином, на который он имел право по закону, благодаря стараниям просвещённого человека графа С. Г. Строганова, который указывал на него, как на вредного человека, развращающего ратников⁵. Я сидел в крепости и оттуда послан был на исправление к Бибикову в Киев⁶. Наше издание, «Московский сборник», было запрещено. С Киреевских, Хомякова, Аксаковых взята подписка ничего не печатать, помимо Главной Цензурной Инквизиции, что, как вам известно, равнялось безусловному запрещению печатать⁷.

4. *Чижов Фёдор Васильевич* (1811–1877) — искусствовед и общественный деятель, издавал журнал «Вестник промышленности» (1858–1861) и газету «Акционер» (1860–1863). В 1847 г. возвращавшийся из путешествия по славянским землям Австрийской империи Чижов был арестован и доставлен в Петропавловскую крепость. Николай I, ознакомившись с его ответами на допросе, проводившемся начальником корпуса жандармов Л. В. Дубельтом, распорядился освободить Чижова и, запретив ему пребывание в обеих столицах, разрешил самому определить место своего жительства. Чижов выбрал Киевскую губернию, где занялся шелководством (см. подробнее: Пирожкова, 1997: 88–100).

5. *Аксаков Иван Сергеевич* (1823–1886) — поэт и выдающийся публицист. В 1852 г. возглавил издание альманаха «Московский сборник», в 1858 г. являлся неофициальным редактором журнала «Русская Беседа», в дальнейшем издавал газеты «Парус» (1859), «День» (1861–1865), «Москва» (1867–1868), «Русь» (1880–1886). В конце марта 1849 г. Аксаков, являвшийся в то время чиновником Министерства внутренних дел, был арестован в связи с неосторожными отзывами в письмах, перлюстрированных III Отделением, о деле Самарина (см. примечание 6) и провёл пять дней в штабе корпуса жандармов. После ознакомления Николая I с его ответами на вопросы III Отделения он был освобождён (Аксаков, 1988: 497–513). В 1855–1856 гг. Аксаков состоял казначеем и квартирмейстером Серпуховской дружины Московского ополчения, которое возглавлялось графом С. Г. Строгановым, известным своим покровительством западникам. Н. П. Гиляров-Платонов вспоминал о полемике под видом официальных приказов и рапортов, которая велась между Аксаковым и Строгановым во время их службы в ополчении (Гиляров-Платонов, 1886: 1–2).

6. В 1846–1848 гг. Самарин входил в состав комиссии Министерства внутренних дел, которая занималась ревизией городского управления Риги, являвшейся центром Остзейского края. Своё впечатление от работы комиссии он выразил в «Письмах из Риги», распространявшихся в списках и содержащих резкую критику порядков, царивших в балтийских губерниях. По доносу генерал-губернатора Остзейского края графа А. А. Суворова-Рымникого в начале марта 1849 г. Самарин был заключён в Петропавловскую крепость. Пробыв в крепости двенадцать дней, он был вызван к императору и после беседы с ним освобождён. Вскоре он был отправлен на службу в Симбирск, но через два месяца вследствие нового доноса переведён в Киев. В Киеве Самарин занимал должность правителя канцелярии известного своей суровостью генерал-губернатора Юго-Западного края Д. Г. Бибикова, проводившего в то время инвентарную реформу в крае (Самарин, 1889: LXXXVI–XCVI, CXXVIII).

7. *Киреевский Иван Васильевич* (1806–1856) — философ, публицист и литературный критик, сто-

По цензурному ведомству и по III Отделению вышло более 10 циркуляров, в которых славянофилы выставляются как опаснейшие враги Правительства⁸. Между тем, «Отечественные записки» и «Современник» издавались без перерывов, очень свободно; вы в них печатали «Кто виноват» и «Письма об изучении природы»⁹; Белинский проповедывал социализм и никто его не трогал¹⁰. Грановский и Кудрявцев читали лекции

являвшийся вместе с А. С. Хомяковым у истоков славянофильства. В 1832 г. издавал журнал «Европеец», в 1845 г. редактировал журнал М. П. Погодина «Москвитянин». Вместе со старцами Оптиной пустыни работал над изданием сочинений Отцов Церкви.

Киреевский Пётр Васильевич (1808–1856) — младший брат И. В. Киреевского, фольклорист. С 1831 г. занимался собиранием русских народных песен и записал несколько тысяч былин, духовных стихов и песен разнообразного содержания.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — поэт, богослов, философ, публицист, основоположник славянофильства. Отличался энциклопедической эрудицией и оставил сочинения по множеству научных и философских проблем. К. А. Коссович вспоминал о Хомякове: «Он требовал от всякого русского деятеля и от всей совокупности русских деятелей, т. е. от всей русской земли <...> самобытного просвещения, требовал внутренней умственной и духовной свободы. Как он был противником всякого вещественного порабощения и своим влиянием старался потрясти в русском обществе мнение о необходимости и законности крепостного состояния, так точно ненавидел он, всеми силами любящей души своей рабство умственное, рабство духовное» (Коссович, 2007: 494).

Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) — поэт, филолог и публицист, один из идеологов славянофильского кружка, в 1857 г. издавал газету «Молва». Аксаков пытался преодолеть внешние стороны раскола между простым народом и образованным обществом, что выразилось в демонстративном ношении им русской народной одежды.

В апреле 1852 г. славянофилы приступили к изданию альманаха «Московский сборник». Первый номер сборника был пропущен Московским цензурным комитетом, однако уже второй выпуск было приказано представить для рассмотрения в Санкт-Петербург, где он подвергся двойной цензуре Министерства народного просвещения и III Отделения. В результате их совместных действий в марте 1853 г. второй том «Московского сборника» был запрещён, тогда же последовало высочайшее распоряжение, предписывавшее К. С. и И. С. Аксаковым, А. С. Хомякову, И. В. Киреевскому и В. А. Черкасскому предоставлять свои рукописи только в Главное управление цензуры (Пирожкова, 1997: 101–125; Тесля, 2010: 173–178). Красноречивое описание реализации этого предписания дал А. С. Хомяков в письме к министру народного просвещения А. С. Норову: «Маленький лексикон Санскрито-славянских слов и корней, мною составленный, подвергся почти годовому пересмотру, а коротенькая статейка Константина Сергеевича Аксакова о Русских глаголах прошла через полутора-годовое мытарство; то есть мы должны считать себя почти удаленными от всякой литературной деятельности» (Хомяков, 1900: 472).

8. Основные преследования славянофилов приходятся на эпоху «мрачного семилетия» (1848–1855), когда правительство, напуганное европейскими революциями, стремилось ликвидировать любые признаки свободомыслия в России. Среди участников славянофильского кружка наиболее жёстким цензурным ограничениям подвергся А. С. Хомяков. В 1854 г. после написания им стихотворения «России», где автор перечислял грехи страны и призывал её к покаянию, последовало предписание главного начальника III Отделения, по которому Хомякову запрещалось читать вслух свои произведения, не прошедшие одобрение цензуры (Хомяков, 1900: 318, 406–407).

9. «Письма об изучении природы» и роман «Кто виноват» были опубликованы Герценом в «Отечественных записках» в 1845–1846 гг.

10. *Белинский Виссарион Григорьевич* (1811–1848) — литературный критик, публицист. В 1839–1846 гг. являлся ведущим критиком журнала А. А. Краевского «Отечественные записки», в 1847–1848 гг. сотрудничал с издаваемым Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым журналом «Современник». В 1841 г.

до самой своей кончины¹¹; Корш издавал «Московския ведомости» под двуглавым орлом¹²; Ешевский получил кафедру¹³; Чичерин получит, когда захочет¹⁴. Кавелин — в добрый час будь сказано — читает лекции будущему Императору¹⁵... Скажите на радость, кто же в авантаже обретался, говоря языком Петра Первого? По крайней мере, если мы были друзьями и союзниками Незабвенного, то согласитесь, что мы искуснее скрывали свою дружбу, чем ваши свою вражду к нему. Или, может быть, ваши превзошли наших змеиною мудростию? — Может быть, но ведь вы бьёте не на то. — Знаете ли что: ваши друзья, здесь в России, давно откинули это старое обвинение в сочувствии с деспотизмом, которого нелепость мечется в глаза¹⁶; они теперь

Белинский страстно увлёкся идеями французского утопического социализма и, не имея возможности открыто излагать их на страницах журналов, активно пропагандировал социалистические взгляды в своих письмах и устных беседах.

11. *Грановский Тимофей Николаевич* (1813–1855) — историк-медиевист, лидер московских западников. В 1837–1839 гг. стажировался в Берлинском университете, где стал убеждённым сторонником гегельянства. В 1839–1855 гг. преподавал в звании профессора всеобщую историю в Московском университете.

Кудрявцев Пётр Николаевич (1816–1858) — историк-медиевист, друг Т. Н. Грановского. В 1847–1858 гг. преподавал всеобщую историю в Московском университете, в 1855 г., став преемником Т. Н. Грановского на кафедре всеобщей истории, получил звание профессора.

12. *Корш Евгений Фёдорович* (1810–1897) — журналист, переводчик и издатель. Активный участник кружка западников. В 1842–1848 гг. являлся редактором-издателем газеты «Московские ведомости», являвшейся официальным изданием Московского университета. В 1849–1851 гг. редактировал «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции». После раскола в редакции издававшегося М. Н. Катковым журнала «Русский Вестник» Корш возглавлял журнал «Атеней» (1858–1859), а в 1859–1862 гг. редактировал «Ведомости Московской городской полиции». В 1856–1862 гг. «Московские ведомости» редактировал его брат Валентин Фёдорович Корш.

13. *Ешевский Степан Васильевич* (1829–1865) — историк-медиевист, ученик П. Н. Кудрявцева. В 1855–1857 гг. являлся профессором русской истории в Казанском университете, в 1857–1858 гг. преподавал в Александровском сиротском корпусе в Москве. В 1858 г. стал преемником Кудрявцева на кафедре всеобщей истории в Московском университете, которую занимал до своей смерти в 1865 г.

14. *Чичерин Борис Николаевич* (1828–1904) — правовед, историк и публицист, один из представителей государственной школы в русской исторической науке. Почётный член Петербургской академии наук (1893). В 1861–1868 гг. являлся профессором государственного права в Московском университете, в 1882–1883 гг. был московским городским головой.

15. *Кавелин Константин Дмитриевич* (1818–1885) — правовед, историк и публицист. В 1844–1848 гг. преподавал государственное право в Московском университете. В 1857–1861 гг. Кавелин являлся профессором гражданского права Санкт-Петербургского университета, одновременно в 1857–1858 гг. преподавал русскую историю и гражданское право цесаревичу Николаю Александровичу. Был отстранён от преподавания цесаревичу после публикации в «Современнике» его записки об освобождении крестьян. В 1878–1885 гг. Кавелин являлся профессором гражданского права Военно-юридической академии.

16. Очевидно, Самарин намекал на отношение «Русского вестника» и «Современника» к началу издания славянофильского журнала «Русская Беседа», воспринимавшегося западниками в качестве либерального издания. В частности, ведущий критик «Современника» Н. Г. Чернышевский в опубликованной в 1856 г. статье «„Русская Беседа“ и её направление» писал: «Разногласие между убеждениями славянофилов, органом которых хочет быть „Русская беседа“, и убеждениями людей, против которых

начинают понимать, во-первых, что тот не может быть на стороне Правительства, кто ожидает возрождения земли не от чиновников и даже не от учёного цеха, не от административных распоряжений и не от теорий, а от подъёма народной стихии, сдавленной и сбитой, с колеи исторического развития¹⁷; во-вторых, что антихристианское начало, революционный материализм в науке и в жизни не прививается к нашей народной стихии, тогда как он удивительно разрастается на почве правительства и примкнувших к нему сословий; в-третьих, что по этой причине самая натянутая централизация составляет первое условие для развития этого начала или вообще прогресса (как понимают его последовательные западники), а насилие во имя просвещения, единственное успешное средство¹⁸; в-четвёртых, что дело науки, играющей не последнюю роль в этом движении, добить теперь последнюю веру в самосущность русской земли, доказать, что народные массы, лежащие вне исторического движения, не что более, как вещество, тогда как мысль и воля олицетворяются в Правительстве и в высших сословиях; наконец, что между Правительством и народом нет разобщения и быть его не может, как нет его между художником и глиною, из которой он лепит. Когда-нибудь, на досуге пересмотрите издания ваших друзей; вы ведь наткнётесь на эти темы. Чичерин возьмётся доказать вам, что русская община изобретена верховною властью для фискальных целей («О сельской общине» в 3-ей и 4-ой книжках «Русского Вестника» за 1856 год и книга «Об областных учреждениях»); от него же вы услышите, что разъединение между народом и государством составляет, как известно, одно из изобретений «Русской Беседы» («Русский Вестник», 1857, №16. С. 733)¹⁹. А

они восстают, касается многих очень важных вопросов. Но в других, еще более существенных стремлениях противники совершенно сходятся, мы в том убеждены. Мы хотим света и правды — „Русская беседа“ также; мы, по мере сил, восстаем против прошлого, низкого и грязного — „Русская беседа“ также; мы считаем коренным врагом нашим в настоящее время невежественную апатию, мертвенное пустодушие, лживую мишуру — „Русская беседа“ также. И, каковы бы ни были разногласия, мы уверены, что „Русская беседа“, в сущности, точно так же понимает все эти слова, как и мы» (Чернышевский, 1906: 422).

17. Здесь Самарин давал отсылку к политической концепции К.С. Аксакова, выраженной им в записке «О внутреннем состоянии России», поданной им на имя императора в 1855 г., согласно которой правительство должно править, прислушиваясь к свободному народному мнению (Аксаков, 2012: 63–64).

18. Наиболее последовательным сторонником административной централизации среди западников был Б. Н. Чичерин, являвшийся поклонником французской модели государственного устройства и видевший в государстве «устроение народного единства, призванное осуществлять интересы народной жизни» (Чичерин, 1991: 198). С другой стороны, часть западников во главе с М. Н. Катковым в то время принимала в качестве образца английскую политическую модель и выступала за минимальное вмешательство государства в общественную жизнь.

19. В 1856 г. Б. Н. Чичерин опубликовал статью «Обзор исторического развития сельской общины в России», в которой писал: «наша сельская община вовсе не патриархальная, не родовая, а государственная. Она не образовалась сама собой из естественного союза людей, а устроена правительством под непосредственным влиянием государственных начал... Настоящее устройство сельских общин вытекло из сословных обязанностей, наложенных на земледельцев с конца XVI века, и преимущественно из укрепления их к местам жительства и из разложения податей на души» (Чичерин, 1856: 579–603). Идеи Чичерина вызвали критическую статью близкого к славянофилам историка И. Д. Беля-

любопытны вы знать: как относится Правительство к народу, какого рода гармония между ними существует, это объяснит вам господин Соловьёв: всё, что было лучшего в России, пошло за Петром, и на долю народа осталось бессилие смысла перед подавляющею силою привычки («Русский Вестник», 1856 года, № 1, «О древней Руси»; 1857, № 8, «О Шлёцере») ²⁰. Не хотите ли вы сделать из этих посылок практический вывод? Вам поможет господин Корш: «Если история показывает нам на каждом шагу, что внутреннее воздействие по большей части ждёт внешнего побуждения, то нечего сетовать, что в Индии английский солдат, а в Стирии австрийский жандарм являются орудиями образованности» («Атеней», № 1) ²¹. Понимаете ли, что всё это сводится к одному: в России живёт, развивается, движется вперёд Правительство и сословия, к нему примкнувшие; народ только упорствует, но разумного и правомерного сопротивления с его стороны нет; так почему же бы Правительству не употребить и принудительных мер? Я имею доказательства (в последних ваших сочинениях), что вы далеко не разделяете этого взгляда; но вопрос не в том, верен ли он или нет, а которое

ева, напечатанную в журнале «Русская Беседа». Отвечая на критику Беляева, Чичерин опубликовал в третьем и четвёртом номерах «Русского Вестника» за 1856 г. статью «Ещё раз о сельской общине (Ответ г. Беляеву)». В том же году Чичерин издал свою магистерскую диссертацию «Областные учреждения в России в XVII веке», в которой писал, что деятельность общин являлась повинностью для удовлетворения государственных потребностей. Продолжая полемику со славянофильским журналом, он выпустил статью «Критика господина Крылова и способ исследования «Русской Беседы», опубликованную в десятом томе «Русского Вестника» за 1857 г. и содержащую утверждение об изобретении славянофилами разъединения народа и государства.

20. В 1857 г. С. М. Соловьёв опубликовал направленную против славянофилов статью «Шлёцер и антиисторическое направление», в которой говорилось: «Мы имеем возможность изучить характер древнего русского общества в большей или меньшей полноте в настоящее время на одном из сословий, именно — на сословии земледельческом, в общих чертах одинаковом везде. Однообразие, простота занятий, подчинение этих занятий природным условиям, над которыми трудно взять верх человеку, однообразие форм быта, разобщение с другими классами народа ведут в земледельческом сословии к господству форм, давностию освященных, к бессознательному подчинению обычаю, преданию, обряду. Отсюда в этом сословии такая удерживость относительно старого, такое отвращение к нововведениям, осязательно полезным, такое бессилие смысла пред подавляющею силою привычки» (Соловьёв, 1857: 463–464). К. С. Аксаков опубликовал в издававшейся им газете «Молва» замечания на данную статью Соловьёва, в которых писал: «Жестоко и несправедливо слово почтенного учёного об земледельческом сословии, об этом сословии, которое почитает и чувствует себя не как отдельное лицо и не как село, а как христианское братство, как русский народ. Для него дорога слава и добро России» (Аксаков, 2009: 502).

21. Е. Ф. Корш в первом номере журнала «Атеней» за 1858 г. поместил статью «Взгляд на задачи современной критики», в которой писал: «Конечно, можно бы желать, чтобы они [варварские обычаи] прекратились «внутренним воздействием жизни народа», как недавно выразился один журнал, но если история показывает нам на каждом шагу, что внутреннее воздействие по большей части ждёт внешнего побуждения, то нечего сетовать, что в Индии английский солдат, а в Стирии австрийский жандарм являются орудиями образованности» (Корш, 1858: 65). Следует отметить, что в статье говорилось о действиях жандармов по искоренению обычаев славянского населения герцогства Штирия, входившего в состав Австрийской империи.

из двух учений сочувственнее Правительству, которое больше благоприятствует административному разгулу власти: учение Славянофилов или учение их противников?

Выслушайте ещё объяснение по предмету, касающемуся меня лично. В 1847 году я напечатал в «Москвитянине» статью, в которой между прочим разбирал «Обозрение юридического быта древней Руси» Кавелина²². Он выводил идею общества из личной автономии, из личности, ставящей себя началом и мерилom всего... Вот его слова: «Развивши начало личности донельзя, Европа стремится дать в гражданском обществе простор человеку и пересоздать всё общество»²³. Я доказал, что дойти до идеи человека путём исчерпывания личностей так же невозможно, как дойти до идеи целого перебором единиц; что, поддаваясь утомлению или уступая необходимости, личность ограничивает себя, в пользу самой себя, то есть, ставит или допускает общество как средство, удобное для достижения ея личных целей и, следовательно, всегда подчинённое им. Этим путём возникает условная, искусственная ассоциация, осуждённая историею; но нельзя вывести обязательного закона общежития. Я спрашивал: «Каким образом начало разобщающее (личность) обратится в противоположное начало примирения и единения». Находясь в Риге во время печатания моей статьи, я, разумеется, не мог держать в руках корректуры. Статья моя вышла с ужаснейшими опечатками, между прочим, последняя фраза, мною сейчас цитованная, вышла в таком виде: «Каким образом начало разобщающиеся обратится в противоположное начало принижения и единения». Слово «принижение» не русское и трудно предположить, чтобы грамотный человек мог употребить его. Опечатки были очевидны, но Кавелину благоугодно было, вместо того, чтобы представить серьёзное возражение, выехать на опечатке и заявить с ирониею, что он не может сочувствовать теории принижения²⁴. Цель достигнута; мысль противника искажена, благородство намерений его заподозрено, публика смеётся, студенты рукоплещут любимому профессору и выносят убеждение, что противник его проповедует рабство, низость, подлость. Чего же лучше? С тех пор пошла ходить по свету принижающаяся личность, и вы в последней книжке «Полярной звезды» не усомнились, говоря о славянофилах, употре-

22. Ю. Ф. Самарин опубликовал в журнале «Москвитянин» (1847. № 2) статью «О мнениях „Современника“ исторических и литературных», в которой разбирал статьи К. Д. Кавелина, А. В. Никитенко и В. Г. Белинского.

23. К. Д. Кавелин в статье «Взгляд на юридический быт древней России», опубликованной в первом номере «Современника» за 1847 год, трактовал переход Европы от Средневековья к Новому времени следующим образом: «Развивши начало личности донельзя, во всех его исторических, тесных, исключительных определениях, она [Европа] стремилась дать в гражданском обществе простор человеку и пересоздавала это общество» (Кавелин, 1989: 66).

24. В декабрьском номере «Современника» за 1847 г. Кавелин опубликовал «Ответ „Москвитянину“», в котором писал: «И что за требование общей... нормы для людей, перед которой все добровольно и сознательно „принижаются“? <...> Право, чтобы убедиться в этой мысли, надо быть влюблённым в неё до полного пренебрежения действительности; ибо самое поверхностное наблюдение, очевидно приводит к другим результатам» (Кавелин, 1897: 74).

бить выражение: «Их принижающаяся личность!»²⁵ Скажите сами, поступают ли так в честной борьбе.

Говорить ли о ваших портретах²⁶? Перед Полевым²⁷, Белинским, Галаховым²⁸, вами созданными, невольно приходит на память восклицание Дон-Жуана (у Пушкина), перед статуей Командора:

Какие плечи! Что за Геркулес!
А сам покойник мал был и тщедушен!

Впрочем, с этим легко мирится возгоренное чувство! Идеализация не мешает сходству и придаёт смысл изображению; но зачем вы меряете друзей своих одним аршином, а *nos amis les ennemis*²⁹ другим? Неужели вы этого не сознаёте? Белинский когда-то выразился так: «Мать святая гильотина!» — и вы приходите в восторг: «Что за широкая и мощная натура!»³⁰ Погодин заявлял всю жизнь свою ненависть к аристократии — «что за ограниченность! В России толковать об аристократии и т. д.»³¹...

25. В четвёртой книге «Полярной звезды», вышедшей в 1858 г., Герцен поместил отрывок из третьей части «Былого и дум» под названием «Москва после второй ссылки (1842–1847)», который в последующих изданиях вошёл в состав четвёртой части воспоминаний. В его третьей главе он писал: «На славянах лежит грех, что мы долго не понимали ни народа русского, ни его истории, их невожатые преувеличения и иконописные портреты былого, их «принижающаяся личность» и дикая ненависть ко всему западному без разбора, вызвали с нашей стороны противудействие даже тому, что в их воззрении было справедливо» (Герцен, 1967: 133).

26. Об Н. А. Полевом Герценом писал в главах из «Былого и дум», опубликованных в 1855 году в «Полярной звезде», о В. Г. Белинском говорилось в главах из «Былого и дум», напечатанных в «Полярной звезде» в 1856 году. В третьей части «Былого и дум», опубликованной в «Полярной звезде» в 1858 году, Герцен дал портрет И. П. Галахова.

27. *Полевой Николай Алексеевич* (1796–1846) — журналист, писатель, историк и переводчик. В 1825–1834 гг. издавал журнал «Московский телеграф», закрытый по личному распоряжению Николая I за неодобрительный отзыв о драме Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего Отечество спасла». Впоследствии издавал ежегодник «Живописное обозрение» (1835–1844) и журнал «Русский Вестник» (1841–1844), в 1838–1840 гг. редактировал журнал «Сын Отечества».

28. *Галахов Иван Павлович* (1809–1849) — друг А. И. Герцена и Н. П. Огарёва, в последние годы жизни преимущественно жил за границей, где испытал сильное увлечение фурьеризмом.

29. Наши друзья-враги (*фр.*). Цитата из песни П. Ж. Беранже «Мнение этих девиц». Герцен назвал славянофилов «*nos amis les ennemis*» в главе XI ч. III «Былого и дум», опубликованной в «Полярной звезде» в 1855 году (Герцен, 1966: 150).

30. Об этой фразе Белинского также упоминал И. И. Панаев. В «Литературных воспоминаниях» он писал: «Постепенно одушевляясь, Белинский раздражался против русского человека вообще, против его апатии, равнодушия ко всему, беспечности, против отсутствия в нем всякой любознательности, и все это приписывал нашей славянской породе. — Прежде нам была нужна палка Петра Великого, — говорил он, — чтобы дать нам хоть подобие человеческого; теперь нам надо пройти сквозь террор, чтобы сделаться людьми в полном и благородном значении этого слова. Нашего брата славянина не скоро пробудишь к сознанию. Известное дело — покуда гром не грянет, мужик не перекрестится. Нет, господа, что бы вы ни толковали, а мать святая гильотина — хорошая вещь!» (Панаев, 1988: 244).

31. В главе III, третьей части «Былого и дум», опубликованной в четвёртой книге «Полярной звез-

А что вы сделали из Хомякова³²? Допросите себя в минуту душевного спокойствия и скажите: можете ли вы добросовестно не чувствовать и не ценить в нём глубины убеждения, выдержанного во всей его жизни? А вы из него сделали бретёра и хохотуна! То есть вы поставили ему в вину безоружную простоту его обращения, полное отсутствие натяжки, театральности, эффектов. Зачем он не рисуется, не хмурит бровей, не отпускает отточенных и на досуге придуманных фраз, зачем говорит со всеми, а не с одними избранными. Это похоже на то, как некоторые у нас, в старину, называли Гоголя балагуром, потому что он писал всё больше смешное. Не найти сказать про Хомякова ничего больше, как то, что он охотник спорить и всё смеётся, это так же верно характеризует его как человека, как если бы кто-нибудь сказал про Грановского, что это был господин, любивший дружеския попойки и игру в лото. Предоставьте этого рода суждения членам наших клубов и первым четырём классам³³.

В последние годы вы далеко подвинулись вперёд и вы, конечно, сами вполне знаете, что последние результаты, к которым вы пришли, не только не разобщили, а напротив, сблизили вас с нами. Это очевидно для всякого и очень естественно.

Тот порядок вещей, с которым связаны ваши сочувствия и надежды — свобода слова, гласность, новья начала общественности, прерванные попытки преобразования, — это всё в большей части западной Европы сделалось старинною, и вы, ожидающие, что эта старина воскреснет, относитесь теперь к современной Франции, Австрии и Италии почти так же, как относился Пётр Васильевич Киреевский к допетровской Руси, а какой-нибудь Mr Granier de Cassagnac³⁴ поглядывает на вас с тем же состраданием к вашим антиисторическим стремлениям и к вашему упорному коснению в старых предрассудках, с каким здесь смотрит на нас die gelehrte Zunft³⁵ — Соловьёвы, Леонтьевы, Ешевские и Корши. Но вот что странно. В последних сочинениях ваших заметны как бы две пересекающиеся струи или две полосы. С одной стороны, развёр-

ды» в 1858 г., Герцен утверждал, что Погодин был добросовестно раболепен из ненависти к аристократии. Говоря о нём, Герцен писал: «Выбрать самую сухую и ограниченную эпоху русского самовластья и опираясь на батюшку царя, вооружиться против частных злоупотреблений аристократии, развитой и поддержанной той же царской властью, нелепо и глупо» (Герцен, 1956: 163–164).

32. В опубликованном в 1858 г. в «Полярной звезде» фрагменте из «Былого и дум» в главе III Герцен писал о Хомякове: «Он... горячо, весело и чуть ли не бесплодно проспори́л всю свою жизнь. Ум сильный, подвижной, богатый средствами и неразборчивый на них, богатый памятью и быстрым соображением, натура больше ослепительная, чем светлая, он забрасывал словами и цитатами, над всем издевался, заставлял человека смеяться над собственными убеждениями, не передавая ему тех, которых считал истинными. Он мастерски ловил и мучил на диалектической жаровне остановившихся на полдороге, пугал робких, приводил в отчаяние дилетантов и при всём этом смеялся, как казалось, от души» (Герцен, 1967: 141–142).

33. Имеется в виду высшее светское общество: члены Английских клубов в Москве и Санкт-Петербурге и лица, обладавшие генеральскими чинами, которые относились к I–IV классам Табели о рангах.

34. Гранье де Кассаньяк Адольф (1808–1880) — французский публицист. При Июльской монархии поддерживал Орлеанскую династию, с 1848 года стал ярым сторонником бонапартизма. В годы Второй империи издавал официозную газету «Pays», являвшуюся одним из главных органов бонапартистов.

35. Учёный цех (нем.).

тывается перед читателем в последовательном движении живая мысль, умудряемая историческим опытом последних годов; с другой, раздаются какие-то давно затверженные мотивы, повторяемые по старой привычке, но без всякой поверки, без участия вашего теперешнего сознания.

Вы не верите в Бога; по крайней мере вы думаете, что вы в него не верите, а между тем, срываются же у вас с языка выражения, подобныя этим: не дай Бог, слава Богу и т. п. Точно так же повторяете вы суждения и насмешки, принадлежащая к московскому периоду вашего развития, которые при теперешнем вашем образе мыслей падают на вашу голову. В превосходном разборе книги Корфа я читаю вот что: «Настала пауза (царствование Николая) долгая, мучительная, потратившая всё наше поколение и ещё одно. Эта задержка, эта остановка дыхания, нравственное недоумение, мало по малу стало разрешаться в мысль, что стихии развития надобно искать в самом народе, а не в перенесении чуждых форм»³⁶. Любопытно бы, однако, было узнать, кто были органами этой мысли? Не Полевой ли, не Белинский ли, не «Отечественные» ли «записки» и «Современник»? Далее: «На своей больничной койке, Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну скорби, ею поздно приобретённую, указывает как единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в народном характере и притом не одной петровской России, а всей русской России. Потому мы думаем, что у нас развитие пойдёт другим путём».

Я искренно обрадовался, прочитав те строки, и вы сейчас поймёте почему. В 1854 году, вот что было напечатано мною в «Москвитянине»: «Борьба романского начала с германским, авторитета с свободой, католичества с протестантством — окончена, но не разрешена; силы истощены, а цель не достигнута. Западный мир пришёл к убеждению в несостоятельности того и другого начала и выражает теперь потребность их примирения в живой органической общине. Это требование совпадает с нашею народною субстанциею; в ответ на западную формулу мы приносим живой быт и в этом точка соприкосновения нашей истории с западною»³⁷. Согласитесь, что моя мысль довольно сходна с вашею; между тем, разбирая в одной из ваших брошюр мою тогдашнюю статью, над которой во время оно издевались Белинский и Кавелин, вы не преминули выставить их защитниками прогресса, а меня — поборником коснения, неподвижности и т. д.³⁸ Почему? — Потому что, когда-то давно, в Москве с именами

36. Здесь и ниже Самарин цитирует открытое письмо Герцена к Александру II по поводу книги М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», опубликованное в «Колоколе» 1 октября 1857 г. (Герцен, 1958: 45).

37. Это, очевидно, описка: в 1854 году Ю. Ф. Самарин в «Москвитянине» никакой статьи не печатал. В статье «О мнениях „Современника“ исторических и литературных», напечатанной в «Москвитянине» в 1847 году, Самарин писал: «Западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всех обязательной нормы — общины <...> Это требование совпадает с нашею субстанциею <...> в оправдание формулы мы приносим быт, и в этом точка соприкосновения нашей истории с западною» (Самарин, 1877: 64).

38. В брошюре «О развитии революционных идей в России» Герцен писал о статье Самарина следующее: «В возражении „Москвитянина“, почерпнувшего свои доводы в славянских летописях, греческом катехизисе и гегельянском формализме, опасность, которую представляет собой славянофиль-

Хомякова, Аксакова, Самарина связывались все эти прилагательные, и вы продолжаете их бранить, не замечая, что повторяете от себя их слова.

Вы сравниваете Европу с больным, издыхающим на своей койке; вы уверяете, говоря о западных людях, что «в этой упрямой упорности и произвольном непонимании так и стучишь головою о предел мира завершённого и т.д.»³⁹. Тому назад лет десять Хомяков и Киреевские развивали ту мысль, что мы можем и должны заимствовать от Западной Европы всевозможные материальные ее богатства и приобретения, весь фактический запас знания, накопленный веками; но что Европа не может быть для нас ни образцом, ни идеалом для подражания, потому что в ней самой нет той полноты и цельности внутреннего убеждения, в которой заключается сила исторического творчества. Эта сила в ней иссякла.

Итак, разница между вами и ими состоит в том, что они усмотрели болезнь накануне того дня, когда больного отвели в лазарет, а вы на другой день. И после того вы продолжаете (в последнем № «Полярной звезды») ставить им в вину их дикую ненависть к Западу⁴⁰. Ведь уж теперь вы должны понимать, что то, что казалось вам дикою ненавистью, было просто признанием факта, в котором и вы теперь убедились. Но ещё то ли говорят ваши сотрудники! В 8-ом листе «Колокола» помещена статья «О крестьянской общине»⁴¹. Из нея видно, что автор очень неясно понимает предмет статьи; но не об этом речь. Любопытна аргументация: противники общины говорят, что это младенческая форма, через которую прошли все западные народы и от которой они оторвались, которую они отвергли, из чего следует, что она несовместна с дальнейшим историческим развитием. Это вовсе не доказательство, говорит автор статьи; мало ли что пропадает в жизни народов вследствие внешних причин, насилий и т. п. Надобно бы доказать, что западные народы сознательно и добровольно отrekliсь от общины, а этого-то и нельзя доказать⁴².

Итак, в жизни не только одного народа, но целой группы народов, целого мира торжество одного начала над другим вовсе не служит ещё доказательством превосходства победившего над побеждённым; иными словами: настоящий исторический ство, становится очевидной. Автор-славянофил полагал, что личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, просвещённая греческой церковью, обладала высоким даром смирения и добровольно передавала свою свободу особе князя. <...> Если славянофилы хотят представлять серьёзное воззрение, реальную сторону общественного сознания, наконец, силу, стремящуюся найти себе реальное воплощение в русской жизни, если они хотят чего-то большего, нежели археологические диспуты и богословские споры, то мы имеем право потребовать от них отказа от этого безнравственного словесного блуда, от этой извращённой диалектики» (Герцен, 1954: 244–245).

39. Источник цитаты не установлен.

40. См. примечание 22.

41. Статья Н. П. Огарёва из цикла «Русские вопросы», посвящённая крестьянской общине, была опубликована в «Колоколе» 1 февраля 1858 года.

42. В статье Огарёва говорилось: «Феодализм отнял земельную собственность у народов и сосредоточил её в руках немногих. <...> Доказывает ли это, что общинное устройство, сложившееся в младенческом состоянии обществ, несовместно с дальнейшим развитием образования? Нисколько. История может доказать только, что общинное устройство, если оно лежало в основе европейских обществ, было вытеснено совершенно внешними причинами» (Огарёв, 1962: 60).

момент может и не заключать в себе всего смысла, всех зачатков предшествовавших моментов; может быть в них лежат такие семена, только временно подавленные, которым суждено ещё прорасти в будущем.

Сжальтесь; да мы целых двадцать лет твердили это, говоря о древней и петровской Руси, и вы же, и все ваши браните нас за староверство и т. д. И в этой же статье автор позволил себе, говоря об нас, употребить вот какие выражения: «Находясь в направлении равно безумного и преступного обратного шествия, они видят будущность позади, смотря вперёд затылком»⁴³. Где же тут логика, здравый смысл, литературная честность? А ещё автор (Огарёв?) заступает за общину! Любопытно бы было спросить его: кто отстоял её в науке, безумцы и преступники, или его друзья и что бы, по его мнению, сделалось с нашей общиной, если бы, тому назад лет пять, исполнительная власть попала в руки умников и законников, Белинского, Кавелина и пр.? Я ещё надеюсь дожить до того времени, когда нас потянут к ответу, зачем мы не умели угадать и оценить древнюю сельскую нашу общину, в то время, когда за неё распинались Грановский, Чичерин и Белинский.

Вы, конечно, понимаете, что я прошу у вас только того, что каждый вправе ожидать от другого — внимания к чужому мнению и справедливости. Смешно бы было, если бы я стал уверять вас в единомыслии. Признавая с радостью, что мы во многом сблизились, я очень хорошо знаю, что непереступная черта меж нами есть. Вы стремитесь к последствиям и отворачиваетесь от начала; вы дорожите применением и не хотите слышать про силу. Вы требуете общинности в устройстве собственности, в организации промышленности, кредита и т. д., но вы не видите, что всякая община предполагает обязательное и свободное, но не произвольное самоотречение лица в пользу общественного союза, что закон может претендовать на обязательность только во имя нравственного долга и что чувство долга и сознание нравственного и безнравственного так же немислимо без религиозной основы, как нельзя себе представить вещество, наполняющим пространство, которому нет пределов, и носящимся в пространстве, в котором нет пустоты, — чему вы учите молодых людей⁴⁴... Но довольно; не заводите же спора между Москвою и Лондоном. А много бы я дал, чтобы провести с вами с глазу на глаз несколько вечеров. Обо многом и многом хотелось бы вас расспросить и вам пересказать. Но теперь моя поездка за границу, давно замыш-

43. В вышеуказанной статье Огарёв разбирает полемику западников и славянофилов об общине и писал: «Враждующие стороны остались каждая при своём. Одна, находясь в направлении равно безумном и преступном, видит будущность назад, смотрит вперёд затылком; другая просто разрабатывает историю, добросовестно и с пользой для науки, но не даёт ничего прилагаемого к дальнейшему развитию современной русской действительности» (Огарёв, 1962: 59).

44. В статье «Опыт бесед с молодыми людьми», опубликованной в «Полярной звезде» в 1858 году, Герцен утверждал: «Мы имеем один факт, не подлежащий нашему суду... это факт существования в природе чего-то непроницаемого в пространстве — вещества. <...> Пространств без вещества мы не знаем, мы знаем только, что в иных пространствах вещества больше, то есть что они гуще и плотнее, в других меньше, то есть они жиже и пустее». В той же статье, говоря о возникновении мира, он писал: «Вы себе представьте глухую ночь бесконечного пространства, в котором носится разрежённое вещество» (Герцен, 1958: 53–54).

ляемая, отложена надолго. Я назначен от Правительства депутатом в Крестьянский Комитет по Самарской губернии⁴⁵. На днях еду туда. Предчувствую ожесточённую борьбу, такую борьбу, в которой всякого рода оружие, может быть, и кулаки пойдут в дело. Пожелайте же мне успеха. Крепко обнимаю вас с полным уважением и искренним сочувствием.

Юрий Самарин

P. S. Кстати, я послал вам слишком год тому назад четыре статьи для «Голосов из России»: 1) Большую записку о мерзости крепостного права и об упразднении его, писанную в 1854 году. 2) Статью под заглавием «Чему мы должны научиться» — писанную после Парижского мира. 3) «Письмо к Генералу Лидерсу», по поводу его приказа, данного армии о том, чтобы офицеры не поднимали на смех ратников ополчения. 4) Статью «О влиянии одежды на общественный быт». Отчего вы ничего не напечатали?⁴⁶

Теперь позвольте Вам дать совет. Вы, вероятно, знаете, что Ростовцев страшно идёт в гору⁴⁷. Он уже почти заправляет Министерством внутренних дел, крестьянский вопрос в его руках, и начинающаяся реакция как по эмансипации, так и по цензуре идёт главнейшим образом от него. Это вреднейшая и опаснейшая скотина, потому что и он один обладает страшным иезуитизмом. Необходимо нанести ему сильный удар, и лучше этого сделать нельзя, как разбором его печатной инструкции о преподавании в кадетских корпусах. В ней, между прочим, буквально сказано, что совесть нужна человеку, в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях её заменяет воля начальства. Разберите подробно это образцовое произведение Лойолы-фельдфебеля. Никто не сделает этого, как Вы. Но только, ради Бога, не упоминайте об его участии в деле 14-го Декабря: это вменяется ему в заслугу, а его нужно убить; далее, не бранитесь, а разбирайте как можно спокойнее, устраняя Ваши политические убеждения; наконец, бросьте Незабвенного и не браните его. Это оскорбляет государя. Нужно, чтобы вслед за Вами всякий здравомыслящий и честный человек мог подписать приговор Ваш Ростовцеву, не приобщаясь ни к какой по-

45. По предложению самарского губернатора К. К. Грота Ю. Ф. Самарин стал членом от правительства в Самарском губернском комитете по крестьянскому делу и летом 1858 г. выехал в Самару.

46. Эти рукописи были переданы Самариним его двоюродному брату князю М. А. Оболенскому, который должен был доставить их Герцену, однако до Герцена они не дошли. Следующий абзац отсутствует в архивной копии, использовавшейся нами при подготовке настоящего издания, и печатается по тексту первой публикации письма (Самарин, 1883: 11–12).

47. *Ростовцев Яков Иванович* (1803–1860) — генерал-адъютант, председатель Редакционных комиссий (1859–1860). В молодости примыкал к тайным обществам декабристов. Накануне Восстания 14 Декабря 1825 г. явился к Николаю I и сообщил ему планы заговорщиков, что в значительной мере предопределило неудачу Восстания. Вплоть до лета 1858 г. относился к идее освобождения крестьян сдержанно, затем резко переменял свои взгляды. По легенде, эта перемена была связана с последней просьбой его сына, просившего перед смертью отца, загладить свою вину в деле 14 Декабря.

литической партии, не становясь под Ваше знамя, не навлекая на себя подозрения, что, дескать, это говорят и этого добиваются только красные⁴⁸.

Литература

- Аксаков И. С. (1988). Вопросы, предложенные И. С. Аксакову III Отделением // Аксаков И. С. Письма к родным. 1844–1849. М.: Наука.
- Аксаков К. С. (2009) Замечания на статью г. Соловьёва «Шлёцер и антиисторическое направление» // Аксаков К. С. Государство и народ. М.: Институт русской цивилизации. С. 458–500.
- Аксаков К. С. (2012). Записка о внутреннем состоянии России // Русская социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы / под ред. А. А. Ширинянца. М.: Изд-во Московского университета. С. 54–77.
- Герцен А. И. (1954). Сочинения в 30-ти т. Т. VII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1956). Сочинения в 30-ти т. Т. IX. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1957). Сочинения в 30-ти т. Т. XII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1958). Сочинения в 30-ти т. Т. XIII. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Герцен А. И. (1966). Былое и думы // Полярная звезда. Книга 1. М.: Наука.
- Герцен А. И. (1967). Былое и думы. Отрывок из третьей и четвертой части // Полярная звезда. Книга IV. М.: Наука.
- Гиляров-Платонов Н. П. (1886). <Похороны И. С. Аксакова> // Современные известия. 1886. № 31. С. 1–2.
- Кавелин К. Д. (1897). Ответ «Москвитянину» // Кавелин К. Д. Собрание сочинений. Т. 1. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича. С. 67–96.
- Кавелин К. Д. (1989). Взгляд на юридический быт древней России // Кавелин К. Д. Наш умственный строй: статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда. С. 11–67.
- Корш Е. Ф. (1858). Взгляд на задачи современной критики // Атеней. 1858. Ч. 1. С. 61–69.
- Коссович К. А. (2007). Несколько слов в память А. С. Хомякова // Хомяков А. С. Дар песнопенья. О старом и новом. Церковь одна. Труденик. М.: Русский Миръ. С. 493–499.
- [Огарёв Н. П.] (1962). Русские вопросы // «Колокол» А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Выпуск I. М.: Изд-во Академии наук СССР.
- Панаев И. И. (1988). Литературные воспоминания. М.: Правда.
- Пирожкова Т. Ф. (1997). Славянофильская журналистика. М.: Изд-во МГУ.
- Самарин Д. Ф. (1889). Предисловие // Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 7. М.: Типография А. И. Мамонтова и Ко. С. I–СХХХV.

48. Данная просьба была выполнена Герценом в его статье «Чёрный кабинет», опубликованной в «Колоколе» 1 августа 1858 г. (Герцен, 1958: 300–306). Следует отметить, что Ростовцев утверждал, что никогда бы не написал фразу, что воля начальства заменяет на службе совесть. В написанном им «Наставлении для образования воспитанников военно-учебных заведений» говорилось: «Что совесть для внутренних побуждений человека и для деяний его неизобличенных и неисследимых, то власть верховная для явных исследимых его действий... закон совести, закон нравственности обязателен человеку как правило для его частной воли; закон верховной власти, закон положительный, обязателен ему как правило для его общественных отношений» (цит. по: Герцен, 1958: 570).

- Самарин Ю. Ф.* (1877). О мнениях «Современника» исторических и литературных // *Самарин Ю. Ф.* Сочинения. Т. 1. М.: Типография А.И. Мамонтова и Ко.
- Соловьёв С. М.* (1857). Шлёцер и антиисторическое направление // *Русский Вестник*. Т. 8. С. 431–480.
- Тесля А. А.* (2010). Цензурный запрет «Московского сборника» // Шестые Страховские чтения: проблемы понимания в философии и культуре (Белгород, 25–26 ноября 2010). Белгород: Изд-во БелГУ.
- Хомяков А. С.* (1900). Письмо А. С. Норову // *Хомяков А. С.* Полное собрание сочинений. Т. 8. М.: Университетская типография. С. 472–474.
- Чернышевский Н. Г.* (1906). «Русская беседа» и её направление // *Чернышевский Н. Г.* Полное собрание сочинений. Т. 2. СПб.: Скоропечатня П. О. Яблонского.
- Чичерин Б. Н.* (1856). Обзор исторического развития сельской общины в России // *Русский Вестник*. Т. 1. С. 373–396.
- Чичерин Б. Н.* (1991). Воспоминания // *Русское общество 40–50-х гг. XIX в.* Ч. 2. М.: Изд-во МГУ.

Культурсоциология и «Уотергейт»: «Политика, выходящая за пределы обыденного»

*Дмитрий Куракин**

Выходит в свет русский перевод книги Джеффри Александера «Смыслы социальной жизни: культурсоциология». Это первая большая работа по культурсоциологии, изданная на русском языке. Книга публикуется издательством «Праксис» в серии «Образ общества». Это большое событие для культурсоциологии в России, а возможно, и не только в России. Открывая последний мастер-класс в Констанце — ежегодное событие культурсоциологического научного сообщества — Бернард Гизен отметил, что центр тяжести культурсоциологии смещается на восток, что означает в том числе и то, что российские исследователи начинают занимать все более заметное место в международной культурсоциологической сети. Это было бы едва ли возможно без потока публикаций в русскоязычном научном пространстве. Однако книга, впервые опубликованная в 2003 году, сегодня актуальна не только поэтому. Несколько представленных в ней исследований ориентированы на публичные политические перформансы, культурные механизмы, стоящие за ними и определяющие их успех или неудачу, а также последствия для общественной и политической жизни.

Одним из таких исследований является работа об Уотергейтском скандале, перевод которой мы и публикуем в нашем журнале. То, что позже стало знаменитым «Уотергейтом» и породило «самый серьезный политический кризис мирного времени в истории Америки», сперва воспринималось в США как вполне заурядное событие — республиканцы даже сумели выиграть ближайшие выборы, причем с большим отрывом. Лишь спустя два года событие второстепенной важности переросло в икону политического зла, одновременно вселив оптимизм в целое поколение американцев. Это делает соответствующий случай вдвойне интересным для социологического исследования.

Сегодня усилия многих интеллектуалов в России и по всему миру направлены на попытки объяснить, почему одни политические и общественные события приобретают резонанс и становятся ориентирами, переопределяющими культурный ландшафт на долгие годы и десятилетия, а другие так и остаются «провалившимися перформансами». Эту проблему можно со всей определенностью назвать одной из основных задач, стоящих перед социальными науками в наши дни. Подходы к ее ре-

* **Куракин Дмитрий Юрьевич** — кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ НИУ ВШЭ. Email: kourakine@gmail.com

© Куракин Д. Ю., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

шению варьируются в самом широком диапазоне обширного спектра разрозненного научного знания о человеке и обществе. Появляются исследования о величине «критической массы» участников онлайн-сообществ, способной стать триггером политической мобилизации. Разрабатываются методики вычисления индексов «протестного потенциала», подразумевающие, что публичный перформанс становится успешным, когда величина этой квазисубстанции достигает неких пороговых значений. Джеффри Александер бросает вызов всем подобным объяснениям, поскольку они игнорируют смысл и содержание событий или сводят их к второстепенным параметрам, пригодным для политтехнологических манипуляций. Возможно, предполагает он, решающую роль играет как раз культурный смысл того или иного события, как он соотносится с этическими императивами, эстетическими конвенциями и доминирующими символическими образцами. Отталкиваясь от культурсоциологического видения социальной реальности, Александер выстраивает культурно-ориентированный подход, соотносящий эффект и динамику такого рода событий с глубинными культурными структурами, формирующими коллективное восприятие. При этом он не только предлагает поместить политические перформансы в систему координат, заданную этими культурными структурами. Помимо этого, он вводит в рассмотрение целый ряд символических операций, понимание которых позволяет проанализировать и объяснить эффекты этих событий и — что не менее важно — охарактеризовать их зависимость от актуального культурного контекста, включая предшествующие им общественно-политические дискуссии и локусы социальной напряженности.

«Уотергейт» как демократический ритуал*

Джеффри Александер

Аннотация. Статья посвящена культурсоциологическому анализу одного из самых значительных и труднообъяснимых событий американской истории, когда исходный акт взлома в отеле «Уотергейт» сначала не привлек сколько-нибудь существенного внимания современников, а после послужил началом масштабного политического кризиса. Дж. Александер анализирует динамику, механизмы и последствия этого события и его публичного резонанса, выстраивая объяснительную модель на основе развиваемой им культурсоциологической теории. Эта модель позволяет детально реконструировать формирование социального консенсуса на нескольких уровнях культурных структур и объяснить его связь с основными элементами общественно-политического контекста, публичными ритуалами и перформансами.

Ключевые слова. Культурсоциология, «Уотергейт», ритуал, перформанс, скандал, консенсус, реакция возмущения, осквернение, обобщение, сакральное, профанное.

В июне 1972 года представители Республиканской партии незаконно проникли со взломом в штаб-квартиру Демократической партии в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне, округ Колумбия. Республиканцы описали проникновение как «третьеразрядный взлом», не имевший ни политических мотивов, ни этической значимости. Демократы заявили, что это масштабный акт политического шпионажа и, более того, символический поступок для безнравственного президента-демагога республиканца Ричарда Никсона и его администрации. Американцы не сочли более резкую реакцию убедительной. Происшествию уделялось относительно мало внимания, и в тот момент оно не породило настоящего чувства возмущения. Не было криков негодования. В основном имело место почтительное отношение к президенту, уважение к его власти и вера в то, что его объяснение событий соответствует истине, несмотря на наличие улик, которые позднее стали казаться явным доказательством обратного. За несколькими важными исключениями, рассчитанные на массовую аудиторию новостные издания и каналы через какое-то время решили привлекать поменьше внимания к этой истории не потому, что их принудили так поступить, а потому, что они искренне полагали, что это относительно неважное событие. Иными словами, «Уотергейтское дело» осталось частью профанного мира в смысле, который подразумевал Дюркгейм. Даже после выборов в федеральные органы власти в ноябре того года, когда демократы

* Пер. с англ. Г. К. Ольховикова под ред. Д. Ю. Куракина. Источник: *Alexander J. C. (2003). Watergate as democratic ritual // Alexander J. C. The meanings of social life: a cultural sociology. Oxford: Oxford University Press. P. 155–178.*

© Ольховиков Г. К., 2012

© Куракин Д. Ю., 2012

© Издательство «Праксис», 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

уже четыре месяца поднимали шум вокруг инцидента, 80 % американцев с трудом могли поверить в то, что существует «Уотергейтский кризис»; 75 % полагали, что произошедшее — это просто обычная политика; 84 % считали, что то, что они слышали о происшествии, не повлияло на их выбор при голосовании. Два года спустя то же самое происшествие, которое по-прежнему называли «Уотергейт», породило самый серьезный политический кризис мирного времени в истории Америки. Оно стало захватывающим моральным символом, который открыл длинный коридор сквозь сакральное время и пространство и вызвал болезненное противоречие между чистыми и нечистыми сакральными формами. «Уотергейтское дело» стало причиной первого в истории добровольного ухода президента в отставку.

Как и почему изменилось восприятие этого события? Чтобы понять это, сначала необходимо осознать, на что указывает такой исключительный контраст между этими двумя видами общественного восприятия, а именно то, что собственно событие, незаконное проникновение в отель «Уотергейт», само по себе обошлось относительно без последствий. Это был просто набор фактов, и, несмотря на распространенное убеждение, факты ни о чем не говорят. Разумеется, за два года кризиса, по-видимому, обнаружилось новые «факты», но совершенно поразительно то, что многие из этих «разоблачений» в действительности уже просочились в прессу и были опубликованы еще до выборов. «Уотергейтское дело» не могло, как сказали бы французы, высказать себя. О нем пришлось рассказывать обществу; если использовать знаменитое высказывание Дюркгейма, это был социальный факт. Изменился скорее контекст дела, а не сырые эмпирические данные как таковые.

Чтобы понять, как менялся рассказ об этом ключевом социальном факте, необходимо привести к дихотомии сакральное/профанное предложенное Толкоттом Парсонсом понятие обобщения (*generalization*). Существует несколько уровней, на которых можно рассуждать о любом социальном факте (Smelser, 1959, 1963). Эти уровни привязаны к разным видам социальных ресурсов, и сосредоточенность внимания на том или другом уровне может многое рассказать о том, проходит ли система через кризис — и, следовательно, подвергается процессу сакрализации — или же работает в рутинном, или профанном режиме и пребывает в равновесии.

Первый и самый конкретный уровень — это уровень целей. Политическая жизнь большую часть времени проходит на относительно приземленном уровне целей, власти и интереса. Выше него, так сказать, на более высоком уровне обобщения, находятся нормы — условности, обычаи и законы, которые регулируют этот политический процесс и борьбу. На еще более высоком уровне расположены ценности: те весьма обобщенные и первичные аспекты культуры, которые влияют на коды, регулирующие политическую власть, и нормы, внутри которых разрешаются проблемы конкретных интересов. Если политика осуществляется в рутинном режиме, сознательное внимание участников политического процесса направлено на цели и интересы. Это относительно конкретное внимание. Рутинная, «профанная» политика, в сущности, означает, что, по общему мнению, эти интересы не нарушают более общие ценности и нормы. Политика, выходящая за пределы обыденного, начинается, когда между

уровнями ощущается напряжение либо из-за изменений в природе политической активности, либо из-за перемен в общих обязательствах более сакрального характера, которые, как считается, регулируют данные уровни. В такой ситуации возникает напряжение между целями и более высокими уровнями. Внимание общественности перемещается от политических целей к более общим проблемам, к нормам и ценностям, которые, как полагают, находятся в опасности. В таком случае можно сказать, что произошло обобщение общественного сознания, о котором говорилось ранее как о центральном моменте ритуального процесса.

Именно в свете такого понимания можно осмыслить изменения в рассказе об «Уотергейтском деле». Поначалу 75 % американских граждан рассматривали его лишь как нечто на уровне целей, как «просто политику». Через два года после незаконного проникновения, к лету 1974 года, общественное мнение резко изменилось. Теперь 50 % населения считали эпизод с «Уотергейтом» проблемой, нарушавшей основополагающие обычаи и моральные принципы, и — со временем — угрозой самым сакральным ценностям, поддерживающим политический порядок как таковой. К концу этого двухлетнего периода кризиса почти половина из тех, кто голосовал за Никсона, изменили свое мнение, и две трети всех избирателей считали, что теперь проблема вышла далеко за пределы политики¹. Произошло коренное обобщение мнения. Факты не слишком изменились, но социальный контекст, в котором они рассматривались, был трансформирован.

Если взглянуть на двухлетний процесс трансформации контекста «Уотергейта», мы увидим создание и разрешение основополагающего социального кризиса, разрешение, которое включало в себя глубочайшую ритуализацию² политической жизни. Для достижения такого «религиозного» статуса было необходимо наличие исключительного обобщения мнения в отношении политической угрозы, которую создало самое ядро установленной власти, и успешная борьба не просто против этой власти в ее социальной форме, но и против могущественных культурных обоснований, к которым она прибегала. Чтобы понять этот процесс создания и разрешения кризиса, необходимо вписать теорию ритуала в более энергичную теорию социальной структуры и социального процесса. Позвольте мне дать общее описание данных факторов, прежде чем я объясню, как каждый из них связан с «Уотергейтом».

Что должно произойти, чтобы все общество пережило задевающий его основы кризис и ритуальное обновление?

Во-первых, чтобы событие было сочтено оскверняющим (Douglas, 1966) или отклоняющимся от нормы чем-то большим, чем крошечная часть населения, должен

1. Цифры взяты из панельного опроса 1972–1974 годов, проводившегося в рамках исследования выборов в федеральные органы власти США Институтом исследований в области социальных наук при Мичиганском университете.

2. Здесь и далее термин «ритуализация» употребляется в дюркгеймианском смысле, отсылая к важным символическим процессам, участники которых испытывают высокоинтенсивные эмоции, а не в более привычном для социологии (в частности, благодаря работам Р. Мертона) значении «ритуализация» как «рутинизация» или «выхолащивание». — *Прим. ред.*

существовать достаточный социальный консенсус. Иными словами, только при достаточном единодушии «общество» может взволноваться и вознегодовать.

Во-вторых, значительные группы, разделяющие этот консенсус, должны воспринимать событие не только как отклонение от нормы, но и как угрозу осквернения «центра» (Shils, 1975: 3–16) общества.

В-третьих, для разрешения этого глубокого кризиса необходимо задействовать методы институционального социального контроля. Однако даже легитимные нападки на оскверняющие источники кризиса часто воспринимаются как пугающие. Поэтому такого рода контроль также приводит в движение инструментальную силу и угрозу силы, чтобы усмирить оскверняющие силы.

В-четвертых, механизмы социального контроля должны сопровождаться активизацией и борьбой элит и групп общественности, четко разделенных и относительно автономных (например: *Political sociology*, 1971; Keller, 1963) по отношению к структурному центру общества. В ходе данного процесса начинается формирование контрцентров.

Наконец, в-пятых, должен иметь место действенный процесс символической интерпретации, то есть процессы ритуализации и очищения, продолжающие процесс навешивания ярлыков и утверждающие власть символического, сакрального центра общества в ущерб центру, который все больше людей считают лишь структурным, профанным и нечистым. В ходе этого данные процессы убедительно демонстрируют, что отклоняющиеся от нормы, «трансгрессивные» («transgressive») качества суть источники данной угрозы.

Объясняя, как каждый из этих пяти факторов сыграл свою роль в ходе «Уотергейтского дела», я покажу, что в сложном обществе реинтеграция и символическое обновление отнюдь не происходят автоматически. Исходная дюркгеймовская теория ритуала разрабатывалась в контексте простых обществ. Поэтому «ритуализации» можно было ожидать с уверенностью. В современных фрагментированных обществах политическая реинтеграция и культурное обновление зависят от контингентного исхода определенных исторических обстоятельств. Успешное сочетание этих сил встречается по-настоящему редко.

Прежде всего должна возникнуть возможность консенсуса. В период между проникновением в отель «Уотергейт» в июне 1972 года и соперничеством Ричарда Никсона и Джорджа Макговерна на ноябрьских выборах необходимого социального консенсуса не выработалось. В это время американское общество было сильно поляризовано в политическом отношении, хотя большая часть фактических социальных конфликтов шестидесятых годов существенно поостыла. Никсон заполучил должность президента отчасти за счет реакции возмущения на эти противостояния шестидесятых годов, в то время как кандидат от демократов, Джордж Макговерн, многим казался главным символом пресловутого «левачества». Оба кандидата в президенты полагали, что они и их народ продолжают битвы шестидесятых. Таким образом, деятельное присутствие Макговерна рядом с Никсоном в тот момент позволило последнему продолжить продвигать авторитарную политику, которая могла бы оправдать эпизод в отеле «Уотергейт». Не следует, однако, полагать, что если тогда не наблюдалось зна-

чительной реинтеграции, то не происходило и никакой значительной символической деятельности. В сложных обществах согласие осуществляется на нескольких уровнях. Может иметь место исключительно значимое культурное согласие (например, многостороннее и систематическое согласие по поводу структуры и содержания языка), в то время как социальных или структурных сфер субъективного согласия (например, правил политического поведения) не существует. Может иметь место символическое согласие без социального консенсуса, более того, это может происходить внутри более важных культурных площадок, чем язык.

Можно отследить сложное символическое развитие коллективного сознания американцев на протяжении лета 1972 года, развитие консенсуса, которое заложило основу для всего, что последовало далее, хотя и не привело к появлению консенсуса на социальных уровнях³. Именно в эти четыре месяца определился смысловой комплекс «Уотергейт». В первые недели, следовавшие за незаконным проникновением в штаб-квартиру демократов, «Уотергейт» в семиотическом смысле существовал лишь как знак, как обозначение. Более того, это слово просто относилось к единичному эпизоду. В течение дальнейших недель знак «Уотергейт» стал более сложным и начал обозначать серию взаимосвязанных событий, всплывших в связи со взломом, включая обвинения в политической продажности, запирательство со стороны президента, судебные иски и аресты. К августу 1972 года «Уотергейт» превратился из простого знака в символ с очень заметным ореолом, в слово, которое не столько обозначает фактические события, сколько имеет множество моральных коннотаций.

«Уотергейт» превратился в символ осквернения, воплощающий ощущение зла и нечистоты. В структурном отношении факты, напрямую связанные с делом — те, кто имел непосредственное отношение к преступлению, к штаб-квартире и к комплексу апартаментов, а также люди, которых включили в дело позднее, — помещались с отрицательной стороны системы символической классификации. Люди или учреждения, выследившие или арестовавшие преступников, помещались с другой, положительной стороны. Эту раздвоенную модель осквернения и чистоты затем наложили на традиционную структуру добро/зло американского гражданского дискурса, имеющие отношение к нашему обсуждению, элементы которого приведены в таблице 1. Итак, ясно, что хотя имело место значительное символическое структурирование, «центр» американской гражданской структуры никак в нем не участвовал.

Следует подчеркнуть, что это символическое развитие происходило в умах общественности. Мало кто из американцев не согласился бы с моральным смыслом «Уотергейта» как коллективного представления. Тем не менее хотя социальная основа данного символа многое включала в себя, этим символом практически и исчерпывался смысловой комплекс «Уотергейт» как таковой. Этот термин соотносил ряд событий и людей с моральным злом, но в коллективном сознании он не связывался со

3. Здесь я опираюсь на тщательное исследование показывавшихся по телевидению новостных репортажей по поводу «Уотергейтского дела», с которым можно ознакомиться в Телевизионных архивах Университета Вандербильта в Нэшвилле, Теннесси. Я изучил все новости, транслировавшиеся в вечерних новостных выпусках канала Си-би-эс с июня 1972 по август 1974 года.

Таблица 1. Система символической классификации в августе 1972 года

<i>«Структура» «Уотергейта»</i>	
<i>Зло</i>	<i>Добро</i>
Отель «Уотергейт»	Никсон и администрация/Белый дом
Взломщики	ФБР
Грязные плуты	Суды/команда обвинения Министерства юстиции
Специалисты по финансированию избирательной кампании (money raisers)	Федеральные надзорные ведомства
<i>Американская гражданская культура</i>	
<i>Зло</i>	<i>Добро</i>
Коммунизм/фашизм	Демократия
Теневые враги	Белый дом — американизм
Преступность	Закон
Продажность	Честность
Персонализм	Ответственность
Плохие президенты (например, Гардинг/Грант)	Великие президенты (например, Линкольн/Вашингтон)
Великие скандалы (например, дело о месторождении Типот-Дом)	Героические реформаторы

значимыми социальными ролями или моделями институционального поведения. Ни Республиканская партия, ни администрация президента Никсона, и менее всего сам президент Никсон, еще не подверглись осквернению через символ «Уотергейта». В этом смысле можно сказать, что произошло некоторое *символическое* обобщение, но не ценностное обобщение внутри социальной системы.

Такого обобщения не произошло, потому что социальная и культурная поляризация американского общества еще недостаточно сгладилась. Так как поляризация продолжалась, не могло быть движения вверх по направлению к общим для всех социальным ценностям; так как не было обобщения, то у общества в целом и не могло быть ощущения кризиса. Так как не было ощущения кризиса, другим упомянутым выше силам, в свою очередь, оказалось невозможно вступить в игру. Не было повсеместного ощущения угрозы центру, и из-за отсутствия этого ощущения не могло и произойти мобилизации сил, направленных против центра. Силы социального контроля, такие как следственные комитеты, суды и комитеты конгресса, боялись выступить против могущественного, надежного и законного центра. Сходным образом, четко выделенные элиты не боролись против угрозы центру (и со стороны центра), поскольку многие из этих элит были разобщены, напуганы, а их деятельность была парализована. Наконец, не возникло никаких глубоких ритуальных процессов — это могло бы произойти только в ответ на напряжение, порожденное первыми четырьмя факторами.

И все же за шесть месяцев, прошедших с момента выборов, ситуация начала меняться. Во-первых, начал складываться консенсус. Окончание сильно разделяющего общество периода выборов создало возможность сближения, которое подготавли-

валось на протяжении по крайней мере двух лет до начала «Уотергейтского дела». Социальная борьба шестидесятых годов уже давно закончилась, и инициатива в обсуждении многих проблем перешла к центристским группировкам⁴.

В ходе противостояния шестидесятых годов левые силы ссылались на ценности критического универсализма и рациональности, связывая их с общественными движениями за равенство и против институциональной власти, включая, конечно же, и власть самого патриотически ориентированного государства. Правые, со своей стороны, призывали к поддержанию партикуляризма и традиции и защищали власть и государство. В период после выборов доктрину критического универсализма могли принять уже и центристские силы, не опасаясь, что их мотивы будут сравнивать с узкими идеологическими мотивами или целями левого движения; в сущности, критика теперь могла быть направлена в защиту самого национального патриотизма американцев. Вместе с появлением консенсуса пришла и возможность возникновения ощущения нарушения моральных норм, а вместе с ней началось движение в сторону обобщения по отношению к политическим целям и интересам. Когда стал доступен первый ресурс консенсуса, стало возможным запустить и прочие процессы, упомянутые ранее.

Второй и третий факторы заключались в беспокойстве по поводу центра и введении институционального социального контроля. Поскольку перемены после выборов, описанные выше, обеспечили намного менее «политизированную» атмосферу, социальный контроль стал делом более безопасным. Такие институты, как суды, Министерство юстиции, различные бюрократические ведомства и специальные комитеты конгресса, могли устанавливать правила более законным образом. Сама эффективность этих институтов социального контроля, в свою очередь, придала законный характер попыткам средств массовой информации распространить осквернение, связанное с «Уотергейтом», ближе к центральным институтам. Осуществление социального контроля и большая близость к центру подкрепили сомнения общественности в том, был ли «Уотергейт» всего лишь отдельным случаем преступления, выводя на поверхность все больше «фактов». Хотя окончательное обобщение и серьезность дела оставались открытым вопросом, страхи, связанные с тем, что «Уотергейт» может стать угрозой центру американского общества, быстро распространились среди важных общественных групп и элит. Вопрос о близости к центру на протяжении этого раннего послевыборного периода «Уотергейтского дела» занимал каждую крупную группу. Позднее сенатор Бейкер озвучил это беспокойство в виде вопроса, ставшего знаменитым во время летних слушаний в Сенате: «Как много знал президент и когда он узнал об этом?». Беспокойство об угрозе центру, в свою очередь, подкрепило растущее ощущение нарушения нормы, усилило консенсус и внесло вклад в процесс обобщения. Оно также подвело рациональные основания под *введение* принудительного социального контроля. Наконец, в структурном отношении оно начало перестраивать «хорошую» и «плохую» стороны символизации «Уотергейтского дела». На

4. Данное наблюдение основано на систематических выборках из новостных изданий общенационального масштаба и транслировавшихся по телевидению выпусков новостей с 1968 по 1976 год.

какой стороне системы классификации на самом деле находились Никсон и его администрация?

Четвертым фактором стало противостояние элит. На протяжении этого периода процесс обобщения, подстегиваемый консенсусом, страхом за центр и деятельностью новых институтов социального контроля, подогревался желанием оказавшихся в отчуждении институциональных элит отомстить Никсону. Они были для Никсона воплощением «левачества» или просто «изоэтреного космополитизма» во время его первого президентского срока и стали объектом его законных и незаконных попыток подавления или установления контроля. Среди представителей этих элит были журналисты и газеты, интеллектуалы, университеты, ученые, адвокаты, верующие, фонды, и, последние по порядку, но не по значимости, представители власти в различных государственных ведомствах и Конгрессе США. Ведомые желанием сравнять счет, вновь закрепить свой пошатнувшийся статус и защитить свои универсалистские ценности в годы кризиса эти элиты пришли в движение с тем, чтобы сделаться контрцентрами.

К маю 1973 года, почти через год после незаконного проникновения и через шесть месяцев после выборов, все эти силы создания и разрешения кризиса начали действовать. В общественном мнении были запущены значительные изменения, и в игру вступали мощные структурные ресурсы. Только на этом этапе мог появиться пятый фактор кризиса. Только теперь могли начаться глубинные процессы ритуализации — сакрализация, осквернение и очищение — хотя, разумеется, важные символические изменения уже произошли.

Первый фундаментальный ритуальный процесс Уотергейтского кризиса включал в себя транслировавшиеся по телевидению слушания Специального комитета Сената, которые начались в мае 1973 года и продолжались до конца августа. Это событие вызвало огромный резонанс в процессе символического упорядочивания всего дела. Решение провести и показать по телевидению слушания в Сенате было реакцией на беспокойство, которое испытывали значительные группы населения. Последовавший процесс символизации помог канализировать это беспокойство в определенных четко выраженных направлениях большего обобщения и усиления консенсуса. Слушания явили собой некий вид гражданского ритуала, который оживил весьма общие, но при этом очень важные движения критического универсализма и рациональности в американской политической культуре. Ритуал воссоздал сакральную, обобщенную этику, на которой основываются более светские понятия долга, и это произошло за счет отсылки к мифологическому уровню национального осознания; мало каким другим событиям в послевоенной истории удалось то же самое.

Слушания были первоначально санкционированы Сенатом на определенных политических и нормативных основаниях, с целью разоблачить нечестные методы проведения избирательной кампании и предложить реформы законодательства. Однако сильная потребность в ритуальном процессе вскоре заставила забыть об этом первоначальном побуждении. Слушания превратились в сакральный процесс, посредством которого страна могла вынести суждение о критически рассматривавшемся теперь

«Уотергейтском деле». То, что этот процесс способствовал достижению консенсуса и обобщения, в некоторой степени неплохо осознавалось. Ведущие представители конгресса предоставляли членство в комитете по расследованию, имея в виду обеспечить в нем представительство наибольшему числу регионов и политических позиций, и отказывали в членстве любым политическим персонажам, потенциально способным поляризовать общество. Однако большая часть процесса обобщения протекала гораздо менее осознанно во время самого события. Усиливающийся ритуальный аспект дела вынудил членов комитета замаскировать свои зачастую резкие внутренние разногласия приверженностью гражданскому универсализму. Например, многие из членов комитета в шестидесятые годы были активными участниками радикальных или либеральных движений. Теперь им пришлось продвигать патриотический универсализм, не упоминая конкретных вопросов, поднимавшихся левым движением. Другие члены комитета, бывшие убежденными сторонниками Никсона и поддерживавшие политику, вызванную реакцией возмущения на бунты шестидесятых, теперь должны были полностью отказаться от такого оправдания политических мер.

В конечном итоге показывавшиеся по телевидению слушания явили собой лиминальный опыт (Turner, 1969), опыт, резко отделенный от профанных проблем и приземленных основ повседневной жизни. Создавалась ритуальная *коммунинас*⁵, которую американцы могли разделить, и внутри этого реконструированного общества невозможно было обращать внимание ни на один из тех поляризующих общество вопросов, которые породили Уотергейтский кризис, и на те исторические оправдания, которые за ним стояли. Вместо этого слушания возродили гражданскую культуру, на которой основывались демократические представления о «долге» на протяжении истории Америки. Чтобы понять, как мог появиться некий переходный мир, необходимо рассмотреть его как феноменологический мир в том смысле, который вкладывал в это понятие Альфред Шюц. Слушаниям удалось стать миром «к себе» («unto itself»). Это был мир *sui generis*, мир без истории. У его персонажей не было памятного прошлого. Он был в самом настоящем смысле «вне времени». Формирующие механизмы телевидения внесли свой вклад в то разукоренение (*deracination*), которое породило этот феноменологический статус. Изменения, вносившиеся при закрытых дверях, повторы, противопоставление, упрощение и прочие приемы, которые дали истории возможность мифологизироваться, остались невидимыми для зрителя. Добавим к этому «заключенному в скобки опыту» приглушенные голоса дикторов, помпезность и церемониальный характер «события», и мы получим рецепт конструирования посредством телевидения сакрального времени и сакрального пространства⁶.

5. Мы следуем устоявшемуся в русскоязычном научном словоупотреблении переводу тернеровского понятия «*communitas*», обозначающего особый тип социальной общности, характерный для лиминальных этапов ритуального процесса. — *Прим. ред.*

6. Для ознакомления с важным общим обсуждением того, как посредством телевидения общественное происшествие может превратиться в ритуальные «события», см.: Dayan, Katz, 1988.

На уровне приземленной реальности во время слушаний по «Уотергейтскому делу» шла война между двумя яростно соперничающими между собой политическими силами. Этим силам пришлось превратиться в символические выражения данного случая, и в результате они определялись и ограничивались культурными структурами даже в ходе борьбы за то, чтобы, в свою очередь, определить и ограничить эти структуры. Для Никсона и его политических сторонников «Уотергейтское дело» необходимо было определить политически: то, что сделали люди, взломавшие штаб-квартиру в отеле «Уотергейт» и занимавшиеся укрывательством, было «просто политикой», а про настроенных против Никсона сенаторов в комитете по «Уотергейтскому делу» (большинство из которых были членами Демократической партии) говорилось, что они просто занимаются политической охотой на ведьм. В противоположность этому критически настроенные по отношению к Никсону члены комитета считали нужным противостоять этому приземленному политическому определению. Никсона можно было осуждать, а «Уотергейт» официально считать настоящим кризисом, только если определить события как стоящие выше политики и как подразумевающие принципиальные нравственные проблемы. Более того, все это нужно было привязать к силам, близким к центру политического общества.

Первый вопрос заключался в том, нужно ли вообще транслировать слушания по телевидению. Позволить некому событию принять ритуализированную форму, означает дать персонажам драмы право решительно вмешаться в культуру общества; это означает дать событию и тем, кто определяет его смысл, особый, привилегированный доступ к коллективному сознанию. В простых обществах ритуальные процессы предписаны загодя: они происходят в заранее определенные периоды и заранее определенным образом. В более сложных обществах осуществления процессов ритуализации добиваются, часто в весьма неблагоприятных условиях. По сути, в современном обществе обретение ритуального статуса часто представляет угрозу частным интересам и группам. Действительно, мы знаем, что Белый дом принял все меры к предотвращению показа слушаний по телевидению, добивался того, чтобы им отводили меньше времени в эфире и даже оказывал давление на каналы, чтобы те урезали освещение событий после начала слушаний. Были также попытки заставить комитет опрашивать свидетелей в последовательности, которая была гораздо менее впечатляющей, чем та, которую использовали в конечном итоге.

Поскольку эти попытки не увенчались успехом, дело обрело ритуальную форму⁷. С помощью телевидения десятки миллионов американцев приняли символическое и

7. То, что Никсон боролся с телевидением, чтобы предотвратить ритуализацию, подчеркивает своеобразные качества эстетической формы, характерные для этого средства массовой информации. В своем новаторском очерке «Что такое кино?» Андре Базен (Bazin, 1958) предположил, что уникальный бытийный статус кинематографа по сравнению с письменными видами искусства, такими как романы, заключается в реализме. Базен имел в виду не то, что в кинематографе нет ничего искусственного, а то, что конечные результаты кинематографических трюков производят безошибочное впечатление реальности, жизненности и правдивости. Зрители не могут отстраниться от говорящих и высказывающихся образов с той же легкостью, что и от статичных, обезличенных, литературных форм. Такой убедительный реализм в той же мере отличает и телевидение, в особенности документальные пере-

эмоциональное участие в совещаниях комитета. Просмотр слушаний стал моральной обязанностью для больших групп населения. Рушились старые порядки и строились новые. То, что наблюдали зрители, было сильно упрощенной драмой — герои и злодеи появлялись в свой срок. Но эта драма составила очень серьезное символическое происшествие.

Обретение формы современного ритуала происходит непредзаданным образом, то же относится и к изложению содержания, потому что современные ритуалы и кодируются далеко не столь автоматически, как их предшественники. В контексте сакрального времени слушаний свидетели со стороны администрации президента и сенаторы боролись за нравственное узаконивание, за превосходство и господство в плане определения характера события и связанного с ним ритуала. Конечный ре-

дачи и выпуски новостей, в какой он отличает и классический кинематограф, хотя в данном случае телевидению противопоставляется газета, а не роман. Так, с момента появления телевидения после Второй мировой войны политические лидеры чувствовали, что управлять таким средством массовой информации, как телевидение, с его тайным трюком *mise en scène* (инсценировки. — *Прим. пер.*), значит придать своим словам — в восприятии общественности — бытийный статус истины.

В этом смысле борьба Никсона за то, чтобы слушания не показывались по телевидению, представляла собой борьбу за то, чтобы удержать информацию о слушаниях в Сенате внутри менее убедительного эстетического оформления в газетных статьях. Президент и его сторонники чувствовали, что, если слушания выйдут в телевизионный формат, битва уже будет частично проиграна.

Однако данную мысль из области философии эстетики следует уточнить в двух отношениях. Во-первых, из-за контингентности телевизионного новостного репортажа в прямом эфире, реалистичность слушаний в Сенате подкреплялась необходимой долей неопределенности. «Контроль» над инсценировкой «Уотергейтского дела» — над прямым репортажем с места слушаний — совершенно не был предрешен заранее. Однако эстетический афоризм Базена следует уточнить и еще в одном социологическом отношении. Телевидение, и даже «основанное на фактах» телевидение, есть средство массовой информации, которое зависит от силы своего влияния, а готовность зрителей к тому, чтобы на них было оказано влияние, готовность принимать утверждения о неких фактах как данность, зависит от доверия к тому, кто пытается их убедить. Та степень, до которой основанному на фактах телевидению верят, то есть то, как и до какой степени телевидение достигает того бытийного статуса, на который оно, так сказать, может претендовать эстетически, зависит от того, в какой степени его считают отдельным, беспристрастным средством информации.

Действительно, проанализировав данные опроса за этот период, можно предположить, что одним из самых сильных факторов, обещавших поддержку идее импичмента, было убеждение в том, что телевизионные новости непредвзяты. Отсюда следует, что одной из главных причин, по которой «Уотергейт» не получилось воспринять как серьезную проблему — не говоря уже о виновности Никсона — до выборов 1972 года, было распространенное ощущение, что средства массовой информации не являются независимыми, но составляют часть «либерального» модернистского движения; на такой связи активно настаивал вице-президент Спиро Агню. Тем не менее вследствие описанных выше процессов с января по апрель 1973 года средства массовой информации были постепенно реабилитированы. Ощущение политической поляризации пошло на спад, а остальные ключевые институты теперь, по-видимому, поддерживали ранее сообщавшиеся в средствах массовой информации «факты». Полагаю, что только потому, что телевидение теперь опиралось на достаточно масштабное единодушие в обществе, его сообщения и смогли приобрести статус реализма и правды. Следовательно, такое изменение социального контекста эстетической формы чрезвычайно важно для понимания эффекта слушаний в Сенате.

зультат никоим образом не был определен заранее. Исход зависел от успеха работы с символами. Описывать эту работу с символами — означает обратиться к этнографии, или герменевтике транслируемого по телевидению ритуала.

Свидетели со стороны Республиканской партии и администрации президента, которых призвали «дать отчет о своих действиях», на протяжении слушаний следовали двум символическим стратегиям. Прежде всего они пытались не дать вниманию общественности перейти от политического/профанного к ценностному/сакральному уровню. Они неоднократно пытались лишить происшествие его феноменологического статуса в качестве ритуала, пытались понизить градус напряжения, ведя себя расслабленно и непринужденно. Например, Х. Р. Холдман, глава администрации президента, которого в рассчитанных на массового читателя изданиях сравнивали с гестаповцем, отрастил волосы подлиннее, чтобы выглядеть менее зловещим и более похожим на «своего парня». Свидетели со стороны администрации также пытались сделать реакцию общественности на свои действия более рациональной и конкретной, утверждая, что они действовали с позиции здравого смысла и в соответствии с прагматическими соображениями. Свидетели заявляли, что решили совершить преступления лишь в соответствии со стандартами технической рациональности. Секретные собрания, санкционировавшие широкий диапазон незаконной деятельности и рассматривавшие возможность еще большего числа незаконных дел, преподносились не как дурные, таинственные заговоры, а как технические обсуждения относительно «цены» участия в различных разрушительных и незаконных действиях.

Тем не менее сферы ценностей нельзя было не затронуть. Символ «Уотергейтского дела» уже стал довольно обобщенным, и слушания уже обрели ритуальную форму. В сущности, именно в этой сфере ценностей произошли самые знаменательные символические битвы слушаний, ведь речь шла не более и не менее как о борьбе за священную душу американской республики. Преступления «Уотергейта» совершались и поначалу оправдывались реакцией культурного и политического возмущения предыдущим периодом, то есть ценностями, в определенных отношениях противоречащими универсализму, критической рациональности и терпимости, на которых должна основываться современная демократия. Свидетели со стороны Республиканской партии и администрации президента взывали к этой субкультуре ценностей возмущения (backlash values). Они побуждали слушателей вернуться в поляризующую атмосферу шестидесятых годов. Они стремились оправдать свои действия, рассуждая о патриотизме, потребности в стабильности, о «неамериканских» и потому отклоняющихся от нормы качествах Макговерна и левого движения. Они также оправдывали свои поступки, выступая против космополитизма, который в представлении традиционалистов, поддерживавших политику реакции возмущения, подрывал уважение к традиции и нейтрализовал универсалистские конституционные правила игры. Свидетели со стороны администрации в особенности призывали к лояльности как к наивысшему стандарту, который должен управлять отношениями между подчиненными и властью. Интересным визуальным акцентом, подытоживающим оба этих призыва, стала неявная ссылка на семейные ценности со стороны свидетелей администрации.

Каждый свидетель привел с собой жену и детей, если они у него были. Вид выстроившихся за свидетелем членов его семьи, чопорных и благопристойных, обеспечивал символические связи с традицией, властью и личной преданностью, которые символически объединяли группы, принадлежащие к культуре реакции возмущения (backlash culture).

Сенаторы, настроенные против Никсона, в свою очередь, столкнулись с невообразимо трудной задачей. Их плохо знали за пределами их собственных избирательных округов; им противостояли представители администрации, которая шестью месяцами ранее набрала на выборах рекордное в истории Америки число голосов. Более того, это гигантское количество голосов, поданное за нее, было частично оправданно партикуляристскими чувствами реакции возмущения, теми самыми чувствами, которые, как сенаторы теперь должны были продемонстрировать, являли собой отклонение от нормы и были далеки от подлинной американской традиции.

Какую работу с символами проделывали сенаторы? Первым делом они стали отрицать правомочность партикуляристских чувств и мотивов. Они заключили в скобки политические реальности повседневной жизни, в особенности важнейшие реалии жизни совсем недавно завершившихся шестидесятих годов. Ни разу на протяжении слушаний сенаторы не упомянули поляризующую борьбу того периода. Сделав эту борьбу невидимой, они отрицали наличие у действий свидетелей какого бы то ни было нравственного контекста. Данная стратегия изоляции ценностей реакции возмущения поддерживалась единственным положительным объяснением, которое допустили сенаторы, а именно тем, что заговорщики были просто-напросто глупцами. Сенаторы высмеивали свидетелей как людей, совершенно лишенных здравого смысла, и намекали, что ни одному нормальному человеку и в голову бы не пришло делать нечто подобное.

Стратегическое отрицание, или заключение в скобки в феноменологическом смысле, сопровождалось громогласным и невозмутимым утверждением универсалистских мифов, составляющих костяк американской гражданской культуры. Посредством своих вопросов, утверждений, отсылок, жестов и метафор сенаторы поддерживали мысль о том, что каждый американец, занимающий высокое или низкое положение, богатый или бедный, поступает добродетельно с точки зрения чистого универсализма гражданского общества. Никто не ведет себя эгоистично или бесчеловечно. Ни один американец не стремится к деньгам или власти за счет жертвования принципами честной игры. Никакая преданность коллективу не сильна настолько, чтобы нарушать общее благо, и не избавляет от необходимости критически относиться к власти. Истина и справедливость суть основа американского политического общества. Каждый гражданин действует рационально и по справедливости, если ему позволено знать истину. Закон есть совершенное воплощение справедливости, а долг состоит в применении справедливого закона к власти и силе. Так как власть развращает, долг обязан принуждать к безличным обязательствам во имя народной справедливости и разумности.

Сенаторы часто обращались к нарративным мифам, которые воплощали эти темы. Иногда это были вневременные притчи, иногда — повествования об истоках английского обычного права, иногда — рассказы о примерном поведении наиболее священных особ из числа президентов Америки. Например, Джон Дин, самый убедительный свидетель против Никсона, являл собой поразительное воплощение американского детективного мифа (*detective myth*) (Smith, 1970). Данный персонаж-представитель власти связан с пуританской традицией и в бесчисленных разнообразных историях изображается как человек, который придерживается истины и преследует несправедливость, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, без эмоций и без тщеславия. Прочие нарративы развивались менее предзаданным образом. Тем свидетелям со стороны администрации, которые сознавались в прегрешениях, «священнослужители», члены комитета, гарантировали прощение в соответствии с четко установленными ритуальными формами, и обращению этих свидетелей к делу праведности придавалась форма притч, используемых в оставшейся части слушаний.

Данные демократические мифы подкреплялись противостоянием сенаторов семейным ценностям. Их собственные семьи на протяжении слушаний остались совершенно невидимыми. Мы не знаем, были ли у них семьи, но эти семьи определенно не выставлялись на обозрение. Подобно председателю комитета Сэму Эрвину, который был постоянно вооружен томами Библии и Конституции, сенаторы воплощали собой трансцендентное правосудие, отделенное от личных или эмоциональных соображений. Еще одно противостояние, которое приобрело ритуальный статус, состояло в процессе принесения свидетелями присяги. Каждый из них поднимал правую руку и клялся говорить правду перед Богом и людьми. Хотя такая присяга обладала формальным законным статусом, она также выполняла гораздо более важную функцию обеспечения морального понижения. Она сводила знаменитых и могущественных лиц до уровня обыкновенных людей. Она помещала их в подчиненное положение по отношению к всеохватному и универсалистскому закону страны.

В ходе более прямых и явных столкновений сенаторы сосредоточивали свои вопросы на трех основных темах, каждая из которых имела основополагающее значение для нравственной укорененности гражданского демократического общества. Во-первых, они подчеркивали абсолютное верховенство должностных обязанностей по отношению к личному долгу: «У нас страна законов, а не людей» — этот рефрен звучал постоянно. Во-вторых, они подчеркивали встроенность должностных обязанностей в высшую, трансцендентную власть: «людские законы» должны уступить перед «божьими законами». Или, как сказал председатель комитета Сэм Эрвин Морису Стэнсу, незадачливому министру финансов никсоновского комитета по переизбранию президента (СРЕТ): «Что важнее — не нарушать законов или не нарушать этических принципов?» Наконец, сенаторы настаивали на том, что трансцендентная укорененность запрета на одновременное замещение должностей на государственной службе и в частных компаниях позволяет Америке достичь подлинной солидарности — в терминах Гегеля, стать подлинной «конкретной универсалией». Приведем знаменитое высказывание сенатора Уикера: «Республиканцы не занимаются укрыва-

тельством, республиканцы не идут на угрозы... и всем известно, что республиканцы считают своих американских сограждан не врагами, которых нужно преследовать, [но] человеческими существами, которых нужно любить и чье расположение нужно завоевывать».

В обычное время многие из этих заявлений были бы встречены насмешками, улюлюканьем и цинизмом. В сущности, многие из этих заявлений были неправдой в отношении конкретной эмпирической реальности повседневной политической жизни, и в особенности в отношении политической реальности шестидесятых годов. Однако они не столкнулись ни с насмешками, ни с улюлюканьем. Причина заключалась в том, что сейчас речь шла не о повседневной жизни, а о ритуализированном и лиминальном событии, о периоде усиленного обобщения, которое властно притягало на истину. Речь шла о сакральном времени, а палаты, где проходили слушания, стали сакральным пространством. Комитет вызывал к жизни ярчайшие ценности и не пытался описывать некий эмпирический факт. На этом мифологическом уровне заявления можно было рассматривать и понимать как истинные — и как в действительности воплощающие нормативные устремления американского народа. Именно в таком свете они рассматривались и понимались большим числом американцев.

По окончании слушаний не было издано закона и не было вынесено определенного приговора на основании улик, но они тем не менее имели очень важные последствия. Слушания поспособствовали установлению и полному узакониванию схемы, придавшей смысл Уотергейтскому кризису. Этого удалось добиться за счет продолжения и углубления культурного процесса, который начался еще до самих выборов. Фактические события и персонажи эпизода в отеле «Уотергейт» оказались помещены в рамки более контрастной антитезы чистых и скверных элементов американской гражданской культуры. До начала слушаний «Уотергейт» уже был символом, окруженным ярким ореолом структурных полюсов американской мифологической жизни, полюсов, которые для американцев были неявно связаны со структурой их гражданских кодов. Итак, слушания, во-первых, привели к тому, что эта культурная связь стала явной и хорошо выраженной. «Хорошие парни» — их поступки и мотивы — очистились в процессе сакрализации за счет соотношения с Конституцией, нормами справедливости и гражданской солидарностью. Преступники в «Уотергейтском деле» и идеи, на которые они опирались, чтобы оправдать себя, были осквернены за счет ассоциаций с символами гражданского зла: узкими интересами, эгоизмом, партикуляристской лояльностью. Более того, как видно из этого описания, слушания также изменили схему связей между элементами «Уотергейта» и политическим центром страны. Многие из самых могущественных людей в окружении президента Никсона теперь неуклонно ассоциировались со злом «Уотергейта», а некоторые из его откровенных врагов соотносились с добром этого дела. По мере того как структурный и символический центры гражданской религии расходились все дальше и дальше, американской общественности было все труднее совместить партию президента и элементы гражданской сакральности (см. таблицу 2).

Таблица 2. Система символической классификации в августе 1973 года

<i>«Структура» «Уотергейта»</i>	
<i>Зло</i>	<i>Добро</i>
Отель «Уотергейт»	Никсон и администрация/Белый дом
Взломщики	ФБР
Грязные плуты	Суды/команда обвинения Министерства юстиции
Специалисты по финансированию избирательной кампании (money raisers)	Федеральные надзорные ведомства
Сотрудники комитета по переизбранию президента и Республиканская партия	
Бывший прокурор США Джон Митчелл и министр финансов	Специальный прокурор Арчибальд Кокс
Ближайшие помощники президента	Сенаторы Эрвин, Уикер, Бейкер
Федеральные надзорные ведомства Президент Никсон	
<i>Американская гражданская культура</i>	
<i>Зло</i>	<i>Добро</i>
Коммунизм/фашизм	Демократия
Теневые враги	Белый дом — американизм
Преступность	Закон
Продажность	Честность
Персонализм	Ответственность
Плохие президенты (например, Гардинг/ Грант)	Президент Никсон Великие президенты (например, Линкольн/Вашингтон)
Великие скандалы (например, например, «Уотергейтское дело»)	Героические реформаторы (например, Сэм Эрвин)

Хотя такое прочтение событий основано на этнографическом описании и интерпретации, процесс усугубляющегося осквернения виден и в данных опросов. За период с выборов 1972 года и перед самым окончанием кризиса в 1974 году лишь однажды наблюдалось масштабное увеличение числа американцев, которые считали «Уотергейтское дело» «серьезным». Это произошло в течение первых двух месяцев слушаний по делу, с апреля по начало июля 1973 года. До начала слушаний только 31 % американцев считали «Уотергейт» «серьезной» проблемой. К началу июля это мнение разделяли 50 % граждан, и цифра не менялась до окончания кризиса.

Хотя, несомненно, имел место некий чрезвычайно важный ритуальный опыт, в рамках любого из современных приложений теории культуры признается, что такие современные ритуалы никогда не принимают законченный вид. Прежде всего символы, появившиеся в ходе ритуального процесса, должны быть выделены самым тщательным образом. Несмотря на частые упоминания об участии президента в деле и на тень президента, осенявшую слушания, данные опросов показали, что большинство американцев в результате этого ритуального переживания не пришли к убеждению о причастности президента Никсона. Далее, ритуальное воздействие слушаний ощущалось неравномерно. Слушания Сената оказали наибольшее воздействие на опреде-

ленные центристские и левые группировки: 1) на тех, кто голосовал за Макговерна и чье возмущение Никсоном получило великолепное подкрепление; 2) на тех умеренных демократов, которые, даже если они и голосовали за Никсона, теперь возмущались им, особенно учитывая, что многие сменили партию, чтобы за него проголосовать; 3) на тех умеренных или либеральных республиканцев и независимых политиков, которые хотя и не соглашались со многими мнениями Никсона, все же проголосовали за него. Последние две группы были особенно важны для всего процесса разворачивания «Уотергейтского дела». Они испытывали классическое перекрестное давление, и именно находящиеся под перекрестным давлением группировки вместе с решительными сторонниками Макговерна оказались наиболее глубоко вовлеченными в слушания. Почему? Возможно, они нуждались в слушаниях, чтобы разобраться в своих смешанных чувствах, прояснить решающие вопросы, избавиться от неприятной неопределенности. О таком соотношении участников свидетельствуют данные опроса. С середины апреля 1973 по конец июня 1973 года — период начала слушаний и самых ярких разоблачений — рост числа республиканцев, которые считали «Уотергейт» серьезным, составил 20 %, а среди независимых политиков — 18 %; однако среди демократов эта цифра составила лишь пятнадцать процентов⁸.

Кризис, последовавший за слушаниями и продлившийся один год, с августа 1973 по август 1974 года, перемежался эпизодами нравственных потрясений и гнева общественности, обновленной ритуализацией, дальнейшими изменениями в символической классификации, куда теперь оказался включен и структурный центр — президентская должность Никсона, — и дальнейшим расширением социальной основы солидарности с этим символизмом, куда теперь стала входить большая часть слоев американского общества. Слушания привели к учреждению Специальной прокуратуры. В качестве сотрудников, но не председателей, туда входили почти исключительно ранее отчужденные от участия в политике члены левой оппозиции Никсону, со вступлением в должность сделавшие заявления о своей приверженности беспристрастному правосудию, благосклонно воспринятые общественностью, что дополнительно продемонстрировало мощное обобщающее и объединяющее явление, стоящее за этим процессом. Первым специальным прокурором стал Арчибалд Кокс, который благодаря выходу из пуританской среды и образованию в Гарварде был идеальным воплощением гражданской религии. Никсон уволил Кокса в октябре 1973 года, поскольку Кокс попросил суды опротестовать решение президента скрыть информацию от Специальной прокуратуры. В ответ на это последовал масштабный выплеск стихийного гнева общественности, который журналисты немедленно окрестили «резня субботнего вечера».

По-видимому, американцы сочли увольнение Кокса профанацией тех связей, которые развились во время сенатских слушаний, приверженности недавно возрожден-

8. Цифры, приведенные в последних двух параграфах, взяты из данных опроса, представленных в: Lang and Lang, 1983: 88–93, 114–117. Хотя термин «серьезное» взят из опроса, Глэдис и Курт Лэнг не выделяют достаточно четко те конкретные символические элементы, к которым относилось это обозначение.

ным сакральным постулатам и противостояния определенным ужасным ценностям и табуированным акторам. Так как американцы соотносили свои положительные ценности и надежды именно с Коксом, его увольнение вызвало страх осквернения их идеалов и их самих. Беспокойство привело к общественному возмущению, взрыву общественного мнения, в ходе которого в Белый дом пришло три миллиона писем только за одни выходные. Эти письма прозвали «внезапным паводком», что являло собой языковую игру с докризисным значением слова «Уотергейт»⁹. Такая метафора подразумевала, что оскверненная вода скандала в конце концов пробилла водяные затворы и затопила близлежащие сообщества. Сходным образом выражение «резня субботнего вечера» переплеталось с глубинными риторическими мотивами. В двадцатые годы знаменитое массовое убийство в гангстерском районе Чикаго прозвали «резней Дня святого Валентина». «Черной пятницей» окрестили тот день в 1929 году, когда обвалился американский рынок акций, разрушив надежды и доверие миллионов американцев. Итак, увольнение Кокса породило тот же тип символического сгущения, что и символизм сновидения, но в больших масштабах. Более того, беспокойство граждан усиливалось из-за того, что осквернение теперь распространилось непосредственно на ту самую фигуру, которая должна была скреплять американскую гражданскую религию, на самого президента. Уволив Кокса, президент Никсон напрямую прикоснулся к расплавленной лаве сакральной нечистоты. Осквернение, которое нес с собой «Уотергейт», теперь проникло в самый центр социальной структуры Америки. Если во время сенатских слушаний поддержка объявления импичмента президенту Никсону усилилась лишь на несколько пунктов, то после «резни субботнего вечера» она выросла на полных десять пунктов. Этот внезапный паводок привел к первым действиям конгресса по объявлению импичмента и возобновлению процесса импичмента в Палате представителей.

Еще один случай сильного распространения осквернения произошел после обнародования в апреле и мае 1974 года расшифровок разговоров в Белом доме, тайно записывавшихся в период эпизода в отеле «Уотергейт». На кассетах содержались многочисленные примеры обманов президента, равно как и исходящих от него бранных выражений и оскорбительных замечаний о чьей-либо этнической принадлежности. Поведение Никсона снова вызвало огромное негодование общественности. Своими словами и зафиксированными поступками он осквернил те самые постулаты, которые возрождались всем ходом расследования «Уотергейтского дела»: сакральный статус истины и образ Америки как инклюзивного, терпимого сообщества. Символический и структурный центры американского общества разошлись еще дальше, и Никсон (представитель структурного центра) все больше оттеснялся к оскверненной, дурной стороне бинарных противопоставлений «Уотергейта». Потрясение, вызванное расшифровкой записей, помогло четко выделить символический центр и продемонстрировало, что этот центр ни либерален, ни консервативен. В сущности, большая часть возмущения по поводу грязных выражений Никсона была основана на консервативных убеждениях относительно пристойного поведения и правил гражданского

9. Watergate — водяной затвор (англ.).

приличия, убеждениях, которые возмутительно игнорировались врагами Никсона, левым движением, во время поляризующего общества периода до начала Уотергейтского кризиса.

В июне и июле следующего года в Палате представителей началось судебное разбирательство, направленное против Никсона. Слушания по процедуре импичмента проводились юридическим комитетом палаты и знаменовали собой самый торжественный и формализованный ритуал во всем «Уотергейтском деле». Они оказались заключительной церемонией, обрядом изгнания, в ходе которого политическое образование избавляется от последнего и наиболее угрожающего источника сакральной нечистоты. К началу слушаний символизация «Уотергейта» уже зашла очень далеко; по сути, «Уотергейт» превратился не только в символ с важными обозначаемыми, но и в могущественную метафору, самоочевидный смысл которой сам по себе определял разворачивающиеся события. Более того, смысловая структура, связывавшаяся с «Уотергейтом», теперь окончательно располагала огромной частью сотрудников Белого дома и «центра» на стороне гражданского осквернения и зла. Единственный неразрешенный вопрос состоял в том, попадет ли в итоге на ту же сторону и сам президент Никсон. Слушания в Палате представителей вернулись к тем же темам, что обсуждались на слушаниях в Сенате за год до этого. Самым распространенным из обсуждений, которые составляли фон слушаний, было обсуждение смысла выражения «серьезные преступления и правонарушения», фразы из Конституции, которая устанавливала основания для процедуры импичмента. Сторонники Никсона настаивали на том, что необходимо узкое истолкование, согласно которому чиновник должен совершить фактическое гражданское правонарушение. Противники президента стояли за широкое истолкование, куда вошли бы вопросы политической этики, безответственности и обмана. Очевидно, что это был спор об уровне кризиса системы: идет ли речь лишь о нормативных, законодательных вопросах, или же кризис распространился и до самых общих ценностных оснований всей системы? Если учесть чрезвычайно ритуализированный формат слушаний и сильнейшую символизацию, которая предшествовала обсуждениям комитета, представляется почти невозможным, чтобы комитет выбрал что-то иное, чем широкое истолкование «серьезных преступлений и правонарушений».

Это обобщенное определение задавало тон единственной ярче всего выраженной особенности слушаний: постоянному подчеркиванию приверженности членов комитета принципам справедливости и объективности его процедур. Журналисты часто отмечали, что конгрессмены прочувствовали всю серьезность дела и выступали не как политические представители определенных групп интересов, а как воплощения сакральных гражданских документов и демократических обычаев. Такому вознесению над разделением по партийному признаку соответствовало сотрудничество среди членов юридического комитета, которое, по сути, и задавало тон в его формальных, транслировавшихся по телевидению обсуждениях. Важнейшие члены комитета в шестидесятых годах критиковали действия истеблишмента, например, войну во Вьетнаме, и поддерживали противостоящие истеблишменту движения, такие

как движение за гражданские права. И, однако же, поддержка той или иной партии ни разу не сыграла какой-либо роли в ходе масштабного освещения работы комитета журналистами; даже консерваторы правого толка ни разу не привлекали к этому внимания. Почему же? Потому что этот комитет, как и комитет в Сенате годом ранее, существовал в лиминальном, особом пространстве. Члены комитета также действовали в сакральном времени, их обсуждения служили непрерывным продолжением не их непосредственного партийного прошлого, а великих эпизодов, определяющих историю американской республики. Они виделись великими патриотами, подписавшими Декларацию независимости, создавшими Конституцию и разрешившими кризис Союза, который запустил Гражданскую войну.

Аура лиминальной трансцендентности побудила многих из самых консервативных членов комитета, южан, чьи избирательные округа массово голосовали за Никсона, действовать по совести, а не из соображений политической целесообразности. В действительности южный блок стал основой сложившейся коалиции большинства, возникшей в поддержку трех статей импичмента. Показательно, что эта же коалиция намеренно обошла четвертую статью, предложенную ранее либеральными демократами; по этой статье Никсон осуждался за тайные бомбардировки Камбоджи. Хотя эта более ранняя статья относилась к настоящему нарушению закона, данный вопрос трактовался большинством американцев в сугубо политических терминах, терминах, по поводу которых у них до сих пор были большие *разногласия*. Напротив, последние три статьи импичмента относились только к полностью обобщенным вопросам. На карту был поставлен код, управлявший политической властью, вопрос о том, могут ли и должны ли безличные должностные обязанности управлять личными интересами и поведением. Именно нарушение Никсоном его должностных обязанностей заставило Палату проголосовать за импичмент.

После отставки Никсона в американском обществе явно чувствовалось облегчение. Довольно долго политическое сообщество находилось в переходном состоянии, в условиях сильного беспокойства и нравственного погружения, которые почти не оставляли времени на приземленные проблемы политической жизни. Когда вице-президент Джеральд Форд вступил в должность президента, произошел ряд символических превращений, указывавших на ритуальную перекомпоновку. В первом же выступлении после вступления в должность президент Форд объявил, что «наш долгий национальный кошмар закончился». Газетные заголовки гласили, что солнце наконец-то выглянуло из-за туч, что начинается новый день. Американцы без конца говорили о силе и единстве страны. Сам Форд превратился вследствие этих обрядов перекомпоновки из довольно неуклюжего партийного лидера в исцелителя страны, в воплощение «хорошего парня», который олицетворяет собой высочайшие стандарты этического и политического поведения.

Прежде чем продолжить описание процесса символизации, происходившего после этой перекомпоновки, я бы хотел еще раз подчеркнуть, что современные ритуалы никогда не принимают законченный вид. Как показывают данные опроса, даже после ритуальной церемонии, в ходе которой произошло согласованное голосование

за статьи импичмента, и после ритуального обновления, наступившего с приходом к власти президента Форда, существенная часть американского общества не была убеждена в виновности Никсона. От 18 до 20 % американцев не считали президента Никсона виновным ни в нарушении закона, ни в поведении, позорном с точки зрения нравственности. Иными словами, эти американцы не участвовали в обобщении мнения, которое изгнало Никсона с его должности. Скорее они воспринимали «Уотергейтское дело» как затеянное врагами Никсона из соображений политической мести. Демографические сведения об этой лояльной группе не предоставляют особенной информации. Это были люди с разным уровнем образования, представители всех классов и профессий. Одно из немногих значимых структурных совпадений состояло в том, что они, как правило, были южанами. Однако, по всей видимости, действительно выделяли эту группу, их политические ценности. У этих людей были жесткие и узкие представления о политической лояльности, в которых, например, вера в Бога соотносилась с преданностью американизму. У них также был глубоко личный взгляд на политическую власть, они гораздо больше, чем другие американцы, выражали свою верность Никсону как человеку, а также его семье. Наконец, и это неудивительно, данная группа гораздо более негативно, чем прочие американцы, относилась к общественным движениям левого толка шестидесятых годов. То, что эти люди придерживались поляризованного и исключаящего видения политической солидарности, подкрепило их нежелание осуществлять обобщение специфически политических вопросов до общих нравственных проблем. Такое обобщение включало бы в себя не только критику Никсона, но и восстановление более широкого, более инклюзивного политического сообщества. Голосуя за Никсона, они поддерживали кандидата, который обещал воплотить их чувства реакции возмущения (*backlash sentiments*) бунтами шестидесятых и который в первые годы пребывания в должности выглядел склонным осуществить их желание иметь более узкое и примордиальное политическое сообщество.

Период социальной перекомпоновки, последовавший за лиминальным периодом «Уотергейта» — завершение непосредственно ритуального эпизода, — вновь приводит к проблеме дихотомической сущности западной социальной теории, потому что сюда входит отношение между такими категориями, как харизма/рутинность, сакральное/профанное, обобщение/институционализация (см.: «Дилемма уникальности», Глава 2). С одной стороны, ясно, что со вступлением в должность президента Форда воцарилась гораздо более обыденная атмосфера. Институциональные акторы и общественность в целом, по-видимому, вернулись на профанный уровень целей и конфликта интересов. Снова начались политические разногласия. Противоречия, связанные с экономикой инфляции, впервые за много месяцев вышли на страницы газет и, наряду с зависимостью Америки от иностранной нефти, получили преувеличенное значение в ходе выборов в конгресс осенью 1974 года.

Согласно теориям рутинизации и конкретизации (*specification*), или институционализации, конец ритуализации ведет за собой новую, постсимволическую фазу, где осуществляется институционализация, или закрепление духа ритуала в реальной

форме. Наиболее полное теоретическое изложение данного перехода представлено в трудах Нейла Смелзера (Smelser, 1959, 1963) и Толкотта Парсонса (Parsons et al., 1955: 35–132). Согласно их теории, посткризисные структуры развиваются потому, что они лучше приспособлены к тому, чтобы справляться с первоначальным источником неравновесия. Таким образом, обобщение заканчивается вследствие того, что вновь созданные структуры эффективно справляются с конкретным ролевым поведением. До известной степени такие новые и лучше приспособляющиеся институты действительно появились в ходе «Уотергейтского дела». Появились новые структуры, позволившие политической системе сильнее отделиться или изолировать себя от конфликта интересов и обеспечивавшие большее продвижение к универсализму. Были разработаны правила по поводу одновременного занятия должностей на государственной службе и в частных компаниях, и эти правила применялись к назначениям президента; было установлено, что для назначения на ключевые должности в аппарате президента, такие как должность директора Бюро управления и бюджета, необходимо согласие конгресса; была создана постоянная Специальная прокуратура, и министр юстиции был обязан в течение тридцати дней после получения любого отчета конгресса о нарушении решить, нужно ли привлечь к делу прокурора; наконец, финансирование президентских предвыборных кампаний из федерального бюджета было оформлено в виде закона. Кроме того, имел место ряд институциональных нововведений, санкционированных менее формальным образом: должность руководителя администрации стала менее могущественной, доктрина привилегий исполнительной власти применялась гораздо осторожнее; по важным вопросам советовались с конгрессом.

Эмиль Дюркгейм и Макс Вебер были бы склонны поддержать эту дихотомическую картину разрешения кризиса. Вебер, конечно же, рассматривал большую часть политического взаимодействия не как культурное, а как инструментальное явление. Когда действительно случаются харизматические эпизоды, они смягчаются в ходе неизбежного процесса рутинизации, запущенного призывами к контролю со стороны преследующих собственные интересы сотрудников вождя после его «смерти» (Weber, 1968: 246–255)¹⁰. Трактовка Дюркгейма отличается большей сложностью. С одной стороны, он считал неритуальный мир глубоко профанным, безоценочным (non-valuational), политическим или экономическим, полным противоречий, и в некотором смысле даже несоциальным (Alexander, 1982: 292–306). Однако в то же время для Дюркгейма это резкое отличие явно перекрывалось теорией, предполагавшей большую преэминентность, поскольку он настаивал на том, что бурление (effervescence),

10. Эдвард Шилз (Shils, 1975; см.: The protestant ethic, 1968) трактует теорию харизмы Вебера другим, менее инструментальным образом, что гораздо лучше согласуется с выбранным мной подходом. Шилз делает превращение в обыденность следствием институционализации и говорит о сохранении ею сакрального статуса. Однако открытое использование Шилзом идей Вебера и понятия харизмы больше говорит нам о том, что Харольд Блум называл страхом влияния (anxiety of influence), чем о реальных теоретических истоках его труда, потому что Шилз явно больше опирается на поздние труды Парсонса и Дюркгейма, чем собственно на Вебера.

исходящее от ритуалов, продолжает распространяться на постритуальную жизнь еще какое-то время после непосредственного периода ритуального взаимодействия.

Хотя кризисная модель обобщения-конкретизации позаимствована у функционалистского анализа, понятие обобщения как ритуала взято у Дюркгейма. Представленный здесь анализ социального кризиса, таким образом, наделяет процесс символизации гораздо большей автономией, чем это делалось бы в рамках чисто функционалистского подхода. На мой взгляд, обобщением и ритуализацией не занимаются исключительно по психологическим или социально-структурным причинам — либо из-за беспокойства, либо из-за неэффективности социальных структур — но и потому, что имело место посягательство на моральные убеждения, находящие страстную поддержку. Процессы символизации в той же степени помогают разобраться в вопросах этого уровня, в какой они обеспечивают более действенные структуры для решения конкретных, «реальных» выводящих из равновесия проблем. Именно поэтому ритуализация достигается не за счет простого структурного изменения, но также и за счет не прерывающегося культурного бурления. Перезаряженные антиномии культурного порядка и эмоциональная интенсивность, лежащая в их основе, продолжают порождать нравственные противоречия, а зачастую и поддерживать резко отличающиеся друг от друга культурные ориентации.

В сравнении с, скажем, последствиями дела Дрейфуса бурление «Уотергейта» следует понимать в терминах *относительного* обретения культурной интеграции. «Уотергейт» стал считаться — что чрезвычайно важно при сравнении — не проблемой левого или правого движения, а проблемой национального масштаба, относительно которой у большинства сторон было единое мнение (см.: Schudson, 1992). Все соглашались с тем, что налицо были определенные «уроки «Уотергейта»», которые стране предстояло усвоить. В период между 1974 и 1976 годами американцы постоянно рассуждали об императивах того, что стали называть «этикой после «Уотергейта» («Post-Watergate morality»). Люди переживали эти события как могущественную социальную силу, разрушавшую институты и репутации. «Этикой после «Уотергейта» называли бурление, исходящее от ритуального события. Так назывались возрожденные ценности критической рациональности, антиавторитаризма и гражданской солидарности. Так назывались оскверненные ценности конформизма, почтения к личности, а не должности, и борьбы узких групп. На протяжении нескольких лет после завершения лиминального состояния американцы применяли эти сильно заряженные нравственные императивы к конфликтам групп и интересов и к бюрократической жизни, каждый раз требуя полного универсализма и усиленной солидарности.

Итак, для взрослого населения — с детьми, как кажется, дело обстояло несколько иначе — последствием «Уотергейта» стал не усилившийся цинизм или политическая безучастность. Совсем наоборот, ритуальное бурление усилило веру в политическую «систему», хотя порожденное ею недоверие продолжало расшатывать доверие ответственности к определенным институциональным акторам и властям. Недоверие к институтам отличается от утраты легитимного характера общими системами как таковыми (Lipset, Schneider, 1983). Если нормам и ценностям, которые, как считается,

регулируют политическую жизнь, доверяют, может происходить более ожесточенная борьба за обладание властью и силой (см.: Barber, 1983). В этом смысле политическая демократия и политическая эффективность могут противостоять друг другу, потому что первая ведет к конфликту, а вторая зависит от порядка и контроля.

Сразу после «Уотергейтского дела» повышенная чувствительность к общему смыслу понятия долга и демократической ответственности действительно привела к усилению разногласий и к ряду нападок на контроль со стороны властей. «Уотергейт» стал сильно заряженной метафорой в большей степени, чем когда-либо. Теперь он являлся не просто обозначением объективно имевших место событий, но нравственным стандартом, который помогал субъективно создавать эти события. Граждане государства, вдохновленные символической мощью этого дела, выискивали случаи предосудительного поведения и пытались их наказать. В результате последовал ряд скандалов: например, «Кореягейт» и «Биллигейт» на американской сцене и «Виногейт» за границей. В сущности, символическая мощь этой метафоры оказалась удивительно стойкой вплоть до сегодняшнего дня. Она задала нарративные рамки для суждений по поводу действий президента Клинтона в ходе дела «Моникагейт».

Огромный выплеск «Уотергейта» в коллективное сознание американцев в 1973 и 1974 гг. породил последовавшие за основным ударом потрясения в виде популистского антиавторитаризма и критической рациональности.

- 1) Почти сразу же вслед за церемониями перекомпоновки развернулась плотная цепочка беспрецедентных расследований конгресса. Нельсону Рокфеллеру, кандидату в вице-президенты при Форде, пришлось пройти через длинное и бурное, показывавшееся по телевидению расследование относительно возможных злоупотреблений его личным богатством. Конгресс также организовал невероятно масштабные, транслировавшиеся по телевидению расследования тайной, зачастую антидемократической деятельности ЦРУ и ФБР, институтов, чья патриотическая власть ранее не подвергалась сомнению. Поток таких «малых «Уотергейтов», как их называли, продолжался и при президенте Картере в 1976–1980 годах. Главный помощник Джимми Картера Берт Лэнс был вынужден уйти с должности после широко освещавшихся слушаний, которые поставили под сильное сомнение его финансовую и политическую честность. Каждое расследование порождало отдельный скандал; каждое из них следовало, часто вплоть до малейших деталей и слов, символической форме, установленной «Уотергейтом».
- 2) Дух «Уотергейта» породил целые реформаторские движения нового типа. Появилось Общество отчетов о расследованиях, новая организация, отвечавшая порыву нравственно вдохновленной, критической журналистики со стороны тех журналистов, которые интериоризировали опыт «Уотергейта» и стремились экстериоризировать его модель. Лица, расследующие преступления в рамках федерального уголовного права — адвокаты и полицейские, — сформировали отделы по борьбе с должностными преступлениями по всей территории Соединенных Штатов Америки. Впервые в истории Америки зна-

чительные карательные ресурсы были переброшены с преступников в их привычном понимании, зачастую принадлежащих к низшим слоям общества, на высокопоставленных должностных лиц в государственной и частной сферах. У многих вдохновленных моделью «Уотергейта» прокуроров городов и штатов и федеральных прокуроров сложилось твердое, априорное убеждение, что должностные лица вполне могут совершать преступления против своего народа. Выслеживая таких преступников и преследуя их в судебном порядке, прокуроры пытались поддерживать нравственную бдительность всех властей в отношении их должностных обязанностей как таковых.

- 3) В месяцы, последовавшие за перекомпоновкой, власти подвергались критическому рассмотрению на всех институциональных уровнях американского общества, даже на самых приземленных. Например, организация бойскаутов переписала свою конституцию с целью подчеркнуть не только лояльность и послушание, но и право на критическое оспаривание. Судей на конкурсе красоты «Чернокожая Мисс Америка» обвинили в пристрастности и предвзятости. Профессиональные сообщества пересматривали и переписывали свои этические кодексы. Официальных представителей сообществ учащихся средних школ и университетов призывали к действиям после того, как случались мелкие скандалы. Члены администраций городов и мэры «выводились на чистую воду» в каждом городе, большом и маленьком. В большей части этих противостояний конкретным вопросам политики и интересов не уделялось значительного внимания. На карту были поставлены сами кодексы должностных обязанностей.

Иными словами, за этими приземленными институциональными событиями на самом деле стояли усилившиеся резкие символические противоположности культуры, сложившейся после «Уотергейта». Такие его отзвуки также проявлялись в сохранении других, менее определенно привязанных к «Уотергейту» мотивов. Например, постоянно говорилось о том, что Америка находится в состоянии морального единства. Группы людей, которых раньше исключали или преследовали, в особенности те, что ассоциировались с Коммунистической партией, были публично обелены. Ранее уже упоминалось, что учреждения, в наибольшей мере ответственные за политическую охоту на ведьм, особенно ФБР, уже получили выговор за свой антиамериканизм. Появились книги, статьи, фильмы и телесериалы о безнравственности и трагичности «Маккартизма», где подвергавшиеся преследованиям коммунисты и сочувствующие им изображались в сострадательном и интимном свете. Движение против войны через тот же процесс ретроспективного преобразования стало видаться в респектабельном, даже героическом свете. Скрывавшиеся лидеры подпольных организаций «новых левых», несомненно, вдохновленные этим возрождением духа общности, перестали прятаться, веря в то, что государство, но в особенности процесс формирования мнения в умах американцев, даст им возможность оправдаться. Именно в контексте того же духа реинтеграции первый избранный после «Уотергейта» президент,

Джимми Картер, предоставил полное и совершенное помилование тем, кто незаконными, но мирными способами сопротивлялся войне во Вьетнаме.

На протяжении всех этих событий яркость нечистых символов «Уотергейта» поразительным образом осталась нетронутой. В газетах по поводу процессов заговорщиков в этом деле, бывших членов кабинета министров и высокопоставленных помощников печатались огромные заголовки, и им уделялось много внимания. Их опубликованные исповеди и признания вины стали предметом обсуждений с ярко выраженным нравственным, даже духовным, компонентом. Ричарда Никсона, самое олицетворение зла, встревоженные американцы считали непрекращающимся источником опасного осквернения. Его имя и личность, остававшиеся источником символической власти, превратились в репрезентации зла, в формы, которые Дюркгейм называл «текучим нечистым» («liquid impure»). Американцы пытались защитить себя от этой оскверняющей никсоновской лавы, возводя для нее преграды. Они стремились удерживать Никсона вне «приличного общества», в изоляции в Сан-Клементе, его бывшем президентском землевладении. Когда Никсон попытался купить дорогую квартиру в Нью-Йорке, жители дома проголосовали за то, чтобы запретить продажу. Когда он путешествовал по стране, за ним с поддразниваниями следовали толпы, а политики избегали его. Когда он вновь появился на телевидении, зрители присылали негодующие, гневные письма. По сути, Никсон мог избежать таких нападков, только выезжая за границу, хотя даже лидеры некоторых иностранных держав отказывались иметь с ним дело на публике. Среди американцев существовал огромный страх оказаться запятнанными Никсоном или его образом. Считалось, что такой контакт приведет к немедленному краху. Когда президент Форд помиловал Никсона через несколько месяцев после вступления в должность, медовый месяц в его отношениях с общественностью резко оборвался. Форд, запятанный этой связью с Никсоном (какой бы короткой она ни была), вызвал отчуждение у такого огромного числа избирателей, что это стоило ему победы на последовавших президентских выборах.

Дух «Уотергейта» постепенно все же утих. Многие из тех структур и процессов, которые подстегнули кризис, вернулись, хотя и в сильно измененной форме. Никсон пришел к власти на волне реакции возмущения современностью левого толка, и после его ухода данное консервативное движение продолжило действовать. Однако теперь оно стало гораздо более антиавторитарным. Общественные движения, такие как движение за снижение налогов и движение против аборт, совместили в себе дух критики и вызова, появившийся после «Уотергейта», с узкими и часто реакционными политическими темами. Всего шесть лет спустя после окончания «Уотергейтского дела» Рональд Рейган на всех парах влетел во власть с помощью многих старых тем, связанных с реакцией возмущения, однако заметное воздействие «Уотергейта» чувствовалось и во время его пребывания в должности. Ведь если Рейган и был даже большим консерватором, чем Никсон, он был твердо настроен проявлять свою реакцию на левое движение демократическим и конвенциональным образом. Возможно, этот настрой не был его личной позицией, но его недвусмысленно вынудило к нему

настроение общественности и сохранение жизненной силы потенциальных контр-центров — альтернатив президентской власти.

На сцену не только вернулись американские политические движения правого толка, но и авторитаризм «имперского президентства» возвратил себе большую часть прежней силы. По мере удаления от «Уотергейта» конкретные экономические и политические проблемы становились все важнее. Разрешение кризисов за границей, инфляция, проблемы энергетики — американцы все больше и больше сосредоточивались на достижении этих ускользающих «целей», которые требовали определенности и эффективности, а не обобщенной этики. Если учесть структуру американской политической системы, эти требования эффективности породили необходимость в более сильном представителе исполнительной власти. Переживания по поводу нравственности власти все больше притуплялись требованиями власти сильной и эффективной. Джимми Картер начал работу на посту президента с того, что пообещал американскому народу: «Я никогда вам не солгу». Закончил же он ее тем, что сделал сильную позицию президента основной темой своей избирательной кампании. К тому моменту, когда президентом стал Рейган, он мог открыто демонстрировать презрение к законам, запрещающим государственным служащим одновременно занимать посты в частных компаниях, переназначать на должности некоторых из наименее оскверненных фигурантов «Уотергейтского дела» и вновь окружить исполнительную власть завесой секретности и харизмы. Эти более поздние изменения не означают, что «Уотергейт» не имел эффекта. Коды, управлявшие политической властью в Америке, подверглись решительному обновлению, те коды, которые, даже находясь в латентном состоянии, продолжают влиять на реальную политическую власть. Политика в Америке попросту и в конце концов вернулась к «нормальному» уровню интересов и ролей.

Дело «Иран-контрас» 1986–1987 годов выявило обе стороны развязки «Уотергейта» — нормализацию общества и политический консерватизм, с одной стороны, и сохраняющуюся жизненную силу норм и широкое распространение демократических условностей — с другой. Подобно Никсону и другим президентам, которые столкнулись с институциональными запретами, Рейган нарушил свои должностные обязанности, чтобы достичь целей своей консервативной внешней политики незаконными средствами. Когда демократы снова захватили контроль над конгрессом в ноябре 1986 года, и консервативный настрой американского общественного мнения стал меняться, поляризующая социальная среда, которая придавала законный характер действиям Рейгана, ослабела. Именно в этом изменившемся контексте закрепился «Контрагейт», и были поставлены институциональные препятствия подерживаемым президентом вылазкам в Центральной Америке. В разгар неистовства в средствах массовой информации и полных споров слушаний в конгрессе действия Рейгана для многих американцев превратились из сомнительной политической стратегии в злоупотребление властью и даже самоуправство. Поскольку эти нападки на власть земную вновь оказались переплетены с обновлением идеальных кодов, присвоение власти описывалось как опасное, оскверняющее отклонение от демократи-

ческого дискурса гражданского общества. Эти события так и не достигли кризисного масштаба «Уотергейта»; мало с какими событиями в истории страны это происходит. Однако без «памяти о правосудии», которую обеспечил предшествующий кризис, сомнительно, чтобы действия администрации президента так быстро и легко превратились бы в целое дело. Десять лет спустя еще одному американскому президенту пришлось снова усвоить этот урок, в гораздо более неприятной форме.

Скандалы не рождаются, их создают.

Литература

- Alexander J. C.* (1982). *Theoretical logic in sociology*. 4 vols. Berkeley: University of California Press.
- Barber B.* (1983). *The logic and limits of trust*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Bazin A.* (1958). *Qu'est-ce que le cinéma?* Vol. 1. Paris: Cerf.
- Dayan D., Katz E.* (1988). *Articulating consensus: the ritual and rhetoric of media events // Durkheimian sociology: cultural studies/ ed. J. Alexander*. New York: Cambridge University Press.
- Douglas M.* (1966). *Purity and danger: an analysis of concepts of pollution and taboo*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Keller S.* (1963). *Beyond the ruling class: strategic elites in modern society*. New York: Random House.
- Lang G., Lang K.* (1983). *The battle for public opinion: the president, the press, and the polls during Watergate*. New York: Columbia University Press.
- Lipset S.M., Schneider W.* (1983). *The confidence gap: business, labor and government in the public mind*. New York: Free Press.
- Parsons T. et al.* (1955). *Family, socialization and interaction process*. Glencoe: Free Press.
- Political sociology.* (1971) / ed. S. N. Eisenstadt. New York: Basic Books.
- Schudson M.* (1992). *Watergate in American memory: how we remember, forget and reconstruct the past*. New York: Basic Books.
- Shils E.* (1975). *Center and periphery: essays in macrosociology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Smelser N.* (1959). *Social change in the industrial revolution*. Chicago: University of Chicago Press.
- Smelser N.* (1963). *Theory of collective behavior*. New York: Free Press.
- Smith H. N.* (1970 [1950]). *Virgin land*. New York: Vintage Books.
- The protestant ethic and modernization: a comparative view.* (1968) / ed. S. N. Eisenstadt. New York: Basic Books.
- Turner V.* (1969). *The ritual process*. Chicago: Aldine.
- Weber M.* (1968). *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.

Коррупция — возвращение «старого» мира в эпоху модерна?*

Карл-Хайнц Заурвайн

Аннотация. Перевод доклада, сделанного доцентом Боннского университета, доктором философии Карлом-Хайнцем Заурвайном на 33-м Конгрессе немецкого общества социологов. Автор исследует феномен коррупции и аргументированно опровергает тезис о том, что коррупция характерна только для обществ, не перешедших к модерну, или переходных обществ и обусловлена особенностями культуры или менталитета. Напротив, по мнению автора, коррупция — одно из условий существования современного общества. Автор критикует социологические теории, обосновывая свою позицию.

Ключевые слова. Теория рационального выбора, модернизация общества эпохи модерна, теория систем.

Введение. Прежде всего остановимся на вопросе, почему коррупция представляет собой не только моральную, экономическую и политическую проблему, но и проблему теории социологии. Точнее, коррупция — это проблема для теории общества модерна. В связи с этим актуален вопрос: что мы можем понять о наших представлениях общества модерна, когда мы наблюдаем распространение в нем коррупции и общественную дискуссию о коррупции. Оба аспекта — коррупция как практика социального влияния и коррупция как тема коммуникации в обществе — должны быть рассмотрены в их связи между собой. Без символически-коммуникативного компонента мы не сможем объяснить, почему в одном случае коррупция приводит к общественным возмущениям, в другом — к апатии и отстраненности от политики, в третьем — дает толчок обширным политическим изменениям.

В первую очередь ответим на такой критико-теоретический вопрос: можем ли мы провести адекватный анализ коррупции в обществе модерна в рамках современных социологических теорий, или мы будем вынуждены переосмыслить некоторые положения этих теорий?

Отправной точкой моих рассуждений является популярная гипотеза, что коррупция — это признак отсталости, реликт старого мира, который указывает на недоста-

* Пер. с нем. В. Н. Гиряевой. Источник: Saurwein K.-H. Korruption — das Wiedereintauchen der «alten» Welt in die Moderne? Текст доклада ранее не публиковался и был любезно предоставлен автором для перевода. Публикуется с сокращениями.

© Saurwein K.-H., 2012

© Гиряева В. Н., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

точную модернизацию общества. Это направление в рассуждениях я буду обобщающе именовать «гипотезы недостаточности».

Гипотезы недостаточности явно или неявно работают с моделью совершенного общества, в основе которой лежит рассмотрение коррупции как эволюционного реликта или патологического отклонения. Контраст идеала и реальности, идеально-типической модели и эмпирической реальности, конечно, задевает коллективные чувства справедливости и честности, но и вызывает ощущение, что если предпринять усилия против коррупции, то возможно изменить ситуацию. С точки зрения анализа такой подход дает не много, так как вначале все равно необходимо прояснить, как коррупция постоянно возрождается в условиях современного государства.

Сначала обоснуем, почему коррупция — это не феномен недостаточности модерна, а собственно сам модерн. Вопрос заключается в том, возможно ли это сделать с помощью средств, предоставляемых новейшими общественными теориями? Перспективной является теория систем, которая уделяет внимание процессам самоорганизации и внутренней динамики. Один из известнейших представителей новейшей теории систем Дирк Бэкер (Dirk Baecker) в одном своем эссе писал, что коррупция есть не что иное, как форма претворения в жизнь индивидуальных желаний в обществе, которое не доверяет своим членам и именем рынка или демократии контролирует и исправляет еще не совершенные ими ошибки (Baecker, 2000). Это замечание вызвало возмущенные комментарии, сводящиеся к характеристике теории систем как циничной и оторванной от реальности. Далее попытаюсь определить, дает ли функционалистская теория систем возможность по-новому взглянуть на коррупцию как социальный феномен.

Хотел бы в связи с этим изложить свои аргументы в три этапа.

Сначала коротко обосную, почему взгляд на коррупцию сосредоточенный на акторах, не может охватить этот феномен целиком и почему имеет смысл еще раз проверить возможность применения общетеоретического подхода к объяснению феномена коррупции. Затем обращусь к некоторым центральным аргументам тезиса недостаточности, в соответствии с которыми коррупция рассматривается в связи с неполностью и неодновременностью развития модерна в разных структурах, и покажу недостатки этого подхода. Наконец, попытаюсь ответить на вопрос: может ли современная теория систем предложить улучшенные инструменты для анализа коррупции.

1. Белые пятна анализа, сосредоточенного на акторах. Основная причина выбора общественно-теоретического взгляда на коррупцию — это слабые места теорий, сосредоточенных на акторах, уделяющих особое внимание мотивации актора, конкретным условиям, в которых было совершено деяние, классификации процессов коррупции. Для эмпирического анализа случаев коррупции, когда необходима понимающая реконструкция логики ситуации и логики принятия решения, этот подход незаменим.

Правда, в этом случае исследователи теряют из вида структурные предпосылки коррупции, влияние и воздействие институтов, роль промежуточных инстанций. Ре-

конструкция психологических процессов и индивидуального выбора не дает ответ на вопрос, какие соображения целесообразности, интересы, ценностные конфликты внутри общества приводят к тому, что участие в коррупционной «сети» становится для акторов осмысленным и желательным поведением. По мнению лиц, наблюдающих коррупцию со стороны, распространение этого явления указывает на кризис общественных структур поддержания правопорядка, который выражается не только в отклонении поведения отдельных акторов от общественных норм, но и прежде всего в неправильном распределении общественных ресурсов, таких, как деньги, власть, репутация, моральный авторитет.

Попытка включить «моральный» компонент коррупции, рассматривая коррупцию как выражение моральной неполноценности деятелей или деяния, кажется мне не очень продуктивной (Streissler, 1981: 229). Именно эта форма персонализации скрывает амбивалентный характер нормативной системы общества, которая допускает возникновение двойственной ситуации и дает основание акторам выдавать беспринципность за вынужденную необходимость. Граница между коррупцией и некоррупцией может быть легко стерта на индивидуальном уровне, если у акторов есть причины подменять различие категорий морального и аморального категориями успешности и неуспешности. Стирание границ — это реакция на фактическое или мнимое давление извне, которое ставит субъекта перед выбором, хочет ли он принять участие в этой игре или нет. В отдельных случаях стирание границ можно представить как технику рационализации или нейтрализации, но в таком случае необходимо задаться вопросом: какое вознаграждение можно получить в обществе или в определенной сфере за приспособление к условиям посредством отклоняющего поведения?

Теоретические предположения сводятся к анализу условий, в которых действовал актер, и его мотивации обычно не выходят за рамки того, что уже было установлено эмпирически. Поиск определенного типа личности, характеризующийся склонностью к отклоняющемуся поведению, постоянно заканчивается неудачей, а на вопрос, почему у задержанных слабо выражено чувство несправедливости, легко ответить с точки зрения психологии. Намного меньше внимания в литературе уделяется другому вопросу: как вообще такая рационализация принимает вид разумного обоснования и правдоподобия и как можно этот вид рационализации отличить от той, которую мы считаем деловой сметкой и социальной компетенцией?

Можно предположить, что «коррупцированная личность» — это стереотип, популярность которого делает возможным сохранение существующей структуры и психологическое успокоение по принципу: даже идеальная структура не может обуздать криминальную энергию проникнувших в нее редких «черных овец», обнаружение и идентификация которых, в том числе с точки зрения научного наблюдателя, являются свидетельством функционирования структуры. Замечание о сильной криминальной энергии деятеля, с одной стороны, дополняет картину борьбы добра и зла, с другой — ставит под сомнение возможность и эффективность превенции и контроля. Кроме

того, оно предоставляет гражданам возможность повозмущаться по поводу безответственности других людей.

На самом деле нет необходимости в глубоком психологическом анализе, достаточно просто здраво рассуждать, чтобы прийти к выводу, что беспринципное использование возможностей, асимметрий и непрозрачности системы, привилегированный доступ к должностям и власти, привлечение частных связей всегда и везде являются мотивацией для поиска субъектом легальных и нелегальных преимуществ, которые можно извлечь из его положения.

Вне сомнения и то, что, во-первых, коррупция приносит частную выгоду отдельным лицам; во-вторых, что коррупция соответствует модели взаимовыгодного обмена с тем отличием, что такая сделка совершается за счет третьих лиц, и акторы либо исходят из того, что об их сделке третьи лица не узнают, либо предпринимают для сокрытия сделки активные действия. И это удается им тем лучше, чем лучше они могут использовать асимметрию информационных систем, чтобы скрыть сделку, или чем лучше они могут использовать существующую непрозрачность, чтобы увеличить асимметрию. Только при таких условиях возможна манипуляция с целью принятия решений в свою пользу.

Заслуга модели рационального выбора в том, что она развенчала миф о необходимости поиска глубоких психологических основ личности. Очевидно, что не существует никаких особых признаков личности, которые могли бы стать единственным критерием отличия добропорядочного политика или предпринимателя от легкомысленного приспособленца или карьериста. Скорее, все происходит наоборот: конформные, честлюбивые люди, с ярко выраженным чувством верности и лояльности, знающие правила поведения в высшем обществе, с усердием, выдержкой и прилежанием выполняющие свою работу, в какой-то момент отступают от связывающих их обязательств и принципов. Теория рационального выбора в данном случае обращает внимание на условия, в которых оказывается актор, и на мотивы и стимулы, которые порождены определенной ситуацией.

В рамках модели «агент-принципал» экономической теорией была создана обобщенная модель, которая объясняет, каким образом асимметрия в области информации и знаний акторов, затраты¹ на подготовку и претворение в жизнь взаимосвязанных действий, а также возможность контроля таких действий и применения санкций могут так изменить спектр возможностей, ожидания и действия акторов, что для некоторых из них окажется возможным и полезным обмануть принципала. Например, постараться избежать конкурса или путем манипуляции, договоренности и обмана получить доступ к ограниченным социальным ресурсам.

Бесспорно, экономическая теория имеет ряд достоинств: в случае, когда речь идет о коррупции, экономическая теория не сводится к морализаторству, а рассматривает коррупцию как стратегическую адаптацию акторов к определенной ситуации. Представители экономической теории не должны участвовать в бесконечных дебатах о

1. В данном случае под «затратами» в соответствии с теорией рационального выбора понимаются не только денежные затраты, но и время, усилия, негативные эмоции. — *Прим. пер.*

том, как точно охарактеризовать такое явление, как коррупция, а могут работать с разными определениями. Коррупция — это один из вариантов поведения, который выбирает актер.

Экономическая теория прежде всего рассматривает возможности и действия с точки зрения относительной рациональности принятия решений и анализа последствий действий. В этом контексте подкупность государственного служащего — это успешная попытка извлечь из службы дополнительную выгоду. Подкуп предпринимателем чиновника — это не что иное, как стремление снизить затраты на получение определенного заказа, попытка избежать участия в честном конкурсе: таким образом конкуренты будут сняты с дистанции, а расходы на взятку можно будет компенсировать повышением цены на продукцию или ухудшением ее качества и т. д. Успех предприятия в конечном итоге зависит лишь от того, как структурированы спрос и предложение и удастся ли и в какой мере удержать желаемые цены на черном рынке.

Слабость этой теории, с моей точки зрения, в том, что она не объясняет, почему социально-экономические выгоды и затраты распределены так, как они распределены, как акторы распознают это распределение, почему оценивают его как важное и полезное для себя и действуют с целью снижения затрат и увеличения выгоды. Модель рационального выбора радикальна: исключения из беспринципной схемы действий рассматриваются как требующие специального объяснения, так как необходимо понять, почему не все акторы и не в каждый момент времени используют все возможности, которые им предоставляет структура общества. В данном случае принято ссылаться на общеизвестные различия между фиаско (провалом) государства и фиаско (провалом) рынка. С точки зрения либерализма речь идет о простой цепочке причинно-следственных связей: в идеале жизнеспособные рынки сами не допустят любой формы обогащения посредством коррупции. Таким образом, проблема коррупции может возникнуть только в том случае, если внешние эффекты не могут быть трансформированы во внутренние, образуются информационные асимметрии, блага не могут быть поделены или естественные монополии ограничивают конкуренцию. Такое положение вещей становится проблемой лишь в случае, если государство и бюрократический аппарат пытаются компенсировать недостатки рынка путем вмешательства в его механизмы и путем денежных возмещений в рамках концепции социального государства <...>.

Структурно обусловленная асимметрия распределения информации и власти и связанные с ней возможности нечестного поведения — это важные указания на те сферы общественной жизни, в которых может развиваться коррупция. Однако анализ возможностей не заменит ответа на вопрос, как с такими возможностями на практике обходятся акторы. Прежде всего остается неясным, какие направления общественного развития позволяют продолжать функционировать старым механизмам в эпоху модерна или почему новые условия и стимулы открывают возможности не только для коррупции но и для политического и морального противостояния ей.

Сведение проблемы к различению фиаско государства и фиаско рынка недопустимо упрощает ее. В зависимости от идеологических предпочтений рассуждающие

в таком духе ученые предполагают, что общество в целом может быть организовано либо как рынок, либо как идеальная демократия, чтобы смочь перекрыть кислород коррупции. При этом они упускают из вида, что информационная асимметрия является следствием функциональной дифференциации общества. Без такой информационной асимметрии не могли бы проявиться преимущества общественного разделения труда.

Не лучше и с теорией демократии, которая упоминает о коррупции как о нехарактерном для этой системы и досадном исключении из правил, презумируя, что коррупция — это системно обусловленный обязательный элемент авторитаризма. Без сомнения, авторитарные и централизованные системы предоставляют больше шансов для реализации частных интересов в отсутствии конкуренции или общественного контроля. Тем не менее остается спорным, предрасположено ли сильное государство к коррупции, потому что оно сильное, или, может быть, его слабость состоит именно в том, что оно не в состоянии породить веру в легитимность и эффективность своих институтов и поэтому становится добычей экономической, военной и социальной элит.

Экономические стратегии объяснения коррупции обычно располагают весьма ограниченным пониманием логики власти, институционализации нормативных правил и дискурсов, посвященных этим вопросам.

2. *Понимание «власти» в рамках экономического мышления.* Политические учреждения (нем. — Ämter) не только являются одной из форм неполных рынков, которые могут быть использованными некоторыми акторами, но и подразумевают существование властного порядка, который устанавливает распределение (безусловных) обязанностей и прав совершать определенные действия. Соблюдение этого порядка не может быть объяснено только соображениями выгоды. Речь идет о распределении власти и, соответственно, о распределении права давать указания, обязательные к исполнению. Власть только тогда может функционировать, когда по крайней мере отдельные ее распоряжения и решения не рассматриваются как объекты купли-продажи. Асимметрия и непрозрачность в данном случае являются не случайными признаками неполного рынка (хотя с точки зрения экономики и рассматриваются как таковые), а естественными составляющими осуществления власти². Если бы коллективные решения не были обязательными, то они бы оставались невыполненными, если бы политические и административные решения были прозрачны на любом этапе принятия, то они вообще никогда не были бы приняты. Даже в демократических структурах постоянно выносятся решения, процесс принятия которых скрыт от вовлеченных.

2. В отличие от Макса Вебера, который понимал под властью в первую очередь подавление противостояния и господство, т. е. возможность требовать повиновения определенных групп людей своим указаниям, М. Крозье и Фридберг представляют власть как возможность для принятия решений и действий одними людьми, которая таит в себе неопределенность для третьих лиц. Власть всегда асимметрична и непрозрачна и одновременно обратима, т. е. человек, который с первого взгляда абсолютно лишен власти, получает ее, если он может создать завесу невидимости и неопределенности для других.

«Политическое измерение» коррупции обычно рассматривается в рамках пространенного определения Джозефа Найя-мл. (Joseph S. Nye, Jr.), в соответствии с которым коррупция имеет место тогда, когда государственной должностью злоупотребляют в личных целях. Даже это определение указывает на структурные условия, наличие которых необходимо для появления коррупции:

- 1) различие между общественными и частными вопросами;
- 2) акторы при определенных условиях и в соответствии с правилами наделяются правом от имени государства принимать решения, обязательные для остальных. При этом процесс принятия решений не должен быть абсолютно предсказуемым и прозрачным;
- 3) вытекающая из первых двух условий и основанная на доверии ответственность тех, кто принял эти решения, перед теми, кто наделил их этой властью, и теми, кого касаются последствия их принятия.

3. *Нормативные аспекты на примере комплекса профессиональных вопросов.* Из вышеизложенного следует комплекс нормативных вопросов, касающихся единства (нем. — Integrität) публичной роли. Что считать служебными обязанностями или личными делами — регулируется социальными и профессиональными нормами. Они различаются в зависимости от исторического времени и географии. Меняются представления о том, что обязаны, должны и могут делать лица, занимающие должность в аппарате власти. Проблема асимметрии информации и знаний и непрозрачности процессов существует не только в области политических решений и действий, но и там, где речь идет о предоставлении профессиональных услуг. Отношения между экспертами и обывателями также построены на асимметрии информации. <...> Можно сколько угодно спорить о том, приведет ли увеличение конкуренции в медицине к падению цен на медицинские услуги и к улучшению их качества, но медицинские услуги могут считаться таковыми только тогда, когда они, помимо стоимости, отвечают профессиональным критериям качества и ответственности. Оказание профессиональных услуг, связанных с применением знаний, характеризуется тем, что лицо, предоставляющее такие услуги, отвечает профессиональным критериям и потому получает свободу действий, которые для стороннего наблюдателя непрозрачны или полупрозрачны.

Без такой свободы оказание профессиональных услуг было бы невозможно. Пациент может не доверять советам врача или обратиться к другому консультанту, но разницу в компетенции между собой и врачом он не сможет преодолеть ни силой власти, ни силой денег. Пациент должен быть готовым доверять врачу. Таким образом, анализ профессиональных отношений поднимает следующие проблемы:

- 1) как реагировать на разницу в компетенции и на непрозрачность? В данном случае речь идет о не только о свободе, необходимой профессионалу для его действий, но и о защите им интересов клиентов;
- 2) нормативный контроль за действиями экспертов не может заменить самоконтроля эксперта;

3) профессиональные нормы распространяются не только на качество услуг, они способствуют формированию и сохранению доверия экспертам;

4) нормативный самоконтроль — это не индивидуальная проблема совести каждого профессионала, это вопрос возможности институционализации коллективных ценностей, обязательств и самоконтроля.

4. *Коррупция как недостаточность модернизации общества модерна.* Существует много вариантов «теории недостаточности»: с точки зрения теории эволюции она описывает институциональное и семантическое состояние общества, находящегося в ситуации неравновесия, в котором коррупция является функциональным эквивалентом недостаточной легитимности и эффективности институтов или невозможности инклюзии некоторых социальных групп. С точки зрения теории систем важно ответить на вопрос: какие есть условия и стимулы для развития коррупции, и определить логику, в соответствии с которой индивидуальные акторы и группы акторов в создавшейся ситуации принимают решения.

Примечательно, что идеи недостаточности развиваются в очень разных теориях: в теориях рационального выбора рассматривается в первую очередь «недостаточность» в реализации права собственности и договорного права, что ведет к тому, что рациональные акторы полагаются на интимность и доверительность личных контактов, с целью поддержания их начинания, и тем самым снижают стоимость информации и сделок. Это происходит потому, что права собственности и права совершать те или иные действия и сделки либо нечетко сформулированы, либо непрозрачны, либо контакты между принципалом и агентом происходят в условиях неконтролируемости принятия решений. Известный тезис рентоориентированного поведения (Rent-Seeking) объясняет, почему окупаются инвестиции акторов в политику.

Rent-Seeking — это не что иное, как рациональное приспособление к вмешательству государства в рыночную экономику. Небольшие и хорошо организованные группы благодаря политическому влиянию получают преимущества или ренту, которые они не могли бы получить в условиях честной конкурентной борьбы. Коррупция в данном случае лишь экстремальный вариант влияния на принятие решения путем поддержания личных контактов с управленцами или политиками. Власть и деньги сливаются быстро и незаметно: деньги помогают власти, а власть открывает для денег новые возможности. Есть ли лучший способ доказать или укрепить дружбу? Перефразируя старую поговорку: маленькие подарки сохраняют дружбу, а большие делают ее предсказуемой.

В структурно-функционалистских теориях можно найти те же размышления, но аргументированные на макроуровне с точки зрения опережающе-запаздывающей («Lead-lag») перспективы.

Из-за неодновременного и неравномерного развития секторов общественной жизни еще не выработались единые стандарты публичной честности и добросовестности, а традиционные формы обмена подарками, патронажа и семейственности продолжают существовать. Другими словами, существующие современные структуры в организациях и административных органах рассматриваются в меньшей степени как

соответствующие критериям защиты общественных интересов, а в большей степени — как часть сети, обязывающие давать и брать.

Так, Н. Луман, характеризуя систему отношений на юге Италии, отмечал, что схема мышления в категориях помощи, поддержки и ожидаемой благодарности просто переносится на общение с модерными организациями. Ресурсы, которые уже упоминались в этом докладе, в данном случае берутся, не как это было раньше из социального капитала, доставшегося по рождению, из унаследованного статуса или использования межрегиональных контактов региональных элит, а из служебной компетенции тех, кто располагает важными позициями в организации (Luhmann, 1995).

Слабость политических партий и взаимосвязи политических институтов, возможность направлять постоянно растущую политическую мобилизацию через легальные формы партиципации и влияния открывают двери для индивидуальной коррумпированности.

При всех различиях в формулировках и методологии обе теории фокусируют свое внимание на продолжении или возвращении к надежным партикулярным связям с временами или ситуациями, характеризующимися неуверенностью, неизвестностью или переходом от стратификации к функционально дифференцированным структурам. Акторы приспосабливаются к новым условиям, используя асимметрии информационных систем и непрозрачность в свою пользу, вновь обращаясь к построенным на доверии сетям или встраивая новые структуры в эти сети. В обоих случаях налицо дефицит институциональных структур, и коррупция представляется как более или менее рациональная реакция на происходящее.

Именно функционализм исключает любую нормативную оценку того, что получает общество от коррупции и какие убытки несет в связи с ней. С точки зрения функционалистского подхода — коррупция это исключительно эмпирическая проблема. Коррупция представляется механизмом интеграции в условиях быстрых социальных перемен. При этом она может как поддерживать экономическое и политическое развитие, так и мешать ему. В этой связи можно вспомнить мертоновский анализ партий в американском городе, функционирующих как политические машины и уравновешивающих конфликты экономических и политических интересов этаблированных групп и групп новых иммигрантов посредством взяток, покупки голосов. Обращаясь к истории модерного общества, можно предположить, что системы патронажа не только располагают возможностью поддержания лояльности на своей территории, но и создают возможности для продвижения наверх по принципу происхождения тем слоям и группам, которые в противном случае были бы исключены из сферы политической власти.

При рассмотрении коррупции как формы оказания социального влияния характеристика ее позитивных и негативных функций зависит от системы координат.

В любом случае функционалистский анализ содержит в себе ряд недостатков. Первый связан с циркулярной аргументацией, в соответствии с которой существование коррупции обосновывается тем, что она имеет определенное функциональное значение. Подчеркивается значение интегрирующей функции коррупции, заключаю-

щейся в том, что для некоторых групп — это единственная возможность приобрести экономические или политические ресурсы.

Следовательно, вопреки морали коррупция должна рассматриваться как нечто функциональное. Морали в данном случае противопоставляется «реализм», который предоставляет возможность всему идти своим чередом. Однако анализу отдельных исторических ситуаций противоречит большое число эмпирических исследований, доказывающих, что коррупция имеет преимущественно негативное экономическое, политическое и социальное влияние. Она делает бедных еще беднее, блокирует социальную мобильность, мешает экономическому росту, превращает политические системы в неэффективные, разрушает их легитимность. Эти процессы обычно взаимно усиливают друг друга. Структурно-функционалистскому анализу, как правило, недостает чуткости в оценке динамики процессов.

Второй недостаток «реализма» в том, что он исходит из утверждения: коррупция — это временное явление, она исчезнет в процессе экономической, политической и социально-культурной модернизации.

В аргументации и терминологии Т. Парсонса модернность модерна можно описать следующими понятиями: ценностный универсализм, активизм, индивидуализм и рационализм. Из этого следуют идеи о возможности акторов самим связывать себя социальными ролями и о функциональности и легитимности общественных институтов. Современные экономические системы хотя и основываются на генерализации денег, но одновременно содержат множество дифференцированных правил о том, что можно, а что нельзя купить за деньги.

Поэтому коррупцию часто представляют как возвращение к натуральному обмену и партикулярным связям. «Коррупция включает в себя непосредственное и специфическое для каждой отдельной ситуации политическое действие в обмен на экономические последствия» (*Social structure and mobility*, 1966: 212). Следуя мнению Смелсера, коррупция как структурный феномен является отражением модерна. Вместо универсальных критериев оценки достижений используются партикулярные связи и лояльность, на место социальной инклюзии, проводимой в соответствии с успехами в конкурентной борьбе, заступает инклюзия на основании образования монополий, патронажа или nepoтизма. Место всеобщей веры в справедливость и универсальные правила занимают доверительные отношения и конспирация малых групп, которые создают собственные законы и не нарушают их. С этой позиции можно утверждать, что коррупция всегда будет развиваться там, где отсутствует авторитет политической системы, а универсальные и неперсонифицированные критерии работы государственного или политического чиновника пока не смогли побороть конкретных интересов отдельных лиц. То же можно сказать и о ситуации, когда распределение доходов, власти или престижа происходит на основании не универсалистских критериев достижений или формального равенства шансов, а принадлежности к определенной группе, происхождения или иных ложных критериев. Неравенство, порождаемое социальным расслоением, приводит к тому, что индивидуальные или коллективные акторы склоняются к тому, чтобы заплатить за получение желаемой

позиции (аристократия) или использовать полученную позицию для того, чтобы иметь возможность принимать решения в целях личного обогащения. Недостаточность дифференциации экономических, политических или социально-культурных источников власти позволяет возникать обмену, нацеленному на то, чтобы применить имеющиеся у актора средства власти, для приобретения того, чего он пока не имеет, или компенсировать будущие убытки, которые актер пока не понес (*Social structure and mobility*, 1966: 218).

Исходя из вышеизложенного, в современном обществе нет ничего, что поколебало бы уверенность индивида и группы в том, что им положено больше, чем они имеют, или в том, что то, что имеют остальные, является результатом несправедливой конкурентной борьбы. Следовательно, система ценностей общества модерна с ее ориентированностью на достижение целей, равенство и свободное самовыражение выпускает на волю притязания, которые не могут быть удовлетворены актором за счет его собственных действий и которые могут быть лишь частично удовлетворены за счет рынка, политических и правовых институтов.

За этим видится — по большей части неосознанно — гармония общества модерна, которое в состоянии согласовать проблему функциональной дифференциации и генерализации. Это происходит, во-первых, из-за консенсуса в системе ценностей, которая, отделившись от религиозных верований и этнических связей, укрепляет гражданские права и равенство возможностей, и во-вторых, из-за того, что рыночная система и система принятия политических решений относительно независимы друг от друга. Здесь даже не надо анализировать напряженность моральных дебатов или скандальной риторики СМИ, чтобы понять, что это представление идеализирует современное общество, замалчивая его структурные противоречия и конфликты.

В дальнейшем не будем останавливаться на противоречиях этой теории. Меня занимает другой вопрос: с какой позиции возможно прийти к таким выводам? Вопрос о том, какие последствия имеет коррупция — негативные или позитивные, — можно поставить, только находясь вне самореферирующей системы, в которой коррупция успешно практикуется. Это в меньшей степени вопрос просвещения и морального убеждения, а в большей — вопрос условий, в которых утвердилась логика экономических, политических и социальных действий.

На уровне поведения и принятия решений проблема становится похожей на дилемму заключенного, когда каждая сторона имеет стимулы и основания для некооперативных и скрытых действий. Такая ситуация характеризуется отсутствием общего доверия (игроков по отношению друг к другу. — *В. Г.*) или культурой всеобщего недоверия³. Никто не сможет выиграть, если он в одностороннем порядке поменяет свою стратегию. В ситуации, когда акторы не могут быть уверенными в том, что другие игроки будут действовать в соответствии с установленными правилами, а, напротив, должны считаться с тем, что возможно получение преимуществ в ходе коррупционных действий, актер не может добиться комфортным поведением улучшения своей

3. Атмосфера всеобщего недоверия и отсутствие легитимного центрального аппарата принуждения — лучшая почва для процветания коррупции и организованной преступности.

ситуации и не может ожидать, что другие акторы будут следовать правильному примеру. Не в последнюю очередь это связано с тем, что коррупция всегда дешевле, чем подсчитанная по минимуму цена конкуренции.

О том, как могут быть использованы ожидания всеобщей коррумпированности, чтобы заставить акторов, готовых к коррупции, самих себя обмануть, пишет журнал «Шпигель» (Spiegel. 2006. № 38, 18.09. S. 114). Группы мошенников в Китае подавали заявки на поставки крупных партий товаров и затем инсценировали переговоры, на которых речь шла не о привлекательных условиях поставок, а о получении откатов и подарков, которые — как все считали — необходимы для того, чтобы заслужить благосклонность покупателя (чиновника или военного) или чтобы ускорить процесс получения разрешения. Ожидаемо успешное заключение договора о ценах на сталь оказывалось фикцией, реальными были лишь суммы, списанные с кредитных карт на откаты и подарки.

Не в последнюю очередь об этом же свидетельствуют дебаты об экологическом кризисе, о котором мы все знаем, что он был создан общественными отношениями в производстве и потреблении. При этом мы имеем очень скудное представление о том, как можно эффективно использовать экологические критерии в таких подсистемах общества, как экономика, политика и право. Коррупция — это форма социального загрязнения окружающей среды, которая производится той же системой, чьим функциям она затем наносит вред <...>.

Основными источниками влияния в функционально дифференцированном обществе являются деньги и власть. Они представляют собой генерализованные формы интеракций и коммуникаций и нуждаются — согласно Парсонсу — в специфической институционализации: деньги могут играть роль общего коммуникативного средства только в условиях четко закрепленного права собственности и прописанных правил о том, что можно, а что нельзя купить за деньги. С этой точки зрения современное общество с развитой денежной системой характеризуется тем, что в нем нельзя купить за деньги все. Не должны покупаться и продаваться: политические посты, голоса депутатов, заключения экспертов, освобождение от отбывания наказания и от несения военной службы.

Коррупция — это форма влияния, которая может быть использована на пересечении различных подсистем <...>, что наглядно демонстрирует пример власти и денег. При коррупции применение политической власти связано с необходимостью покупки голосов или с использованием денег для принятия политических решений в частных интересах отдельных групп. Таким образом, становится невозможным доверие к политической системе в обществе <...>.

Приведу аргументы в пользу того, что представленная мной картина — это отнюдь не грубо упрощенное понимание современного общества, а коррупцию в ее классических и современных формах можно понять и исследовать только в связке с современными структурами общества и коммуникациями в нем по поводу самой коррупции. Другими словами: мы коммуницируем по поводу какой-то проблемы, тем самым делая ее объектом наблюдения. Как бы тривиально это ни звучало, аналитические послед-

ствия этого утверждения нетривиальны: мы должны сначала поставить вопрос, почему благодаря модерну или несмотря на модерн коррупция не уходит в прошлое, а, напротив, продолжает существовать <...>.

Наблюдаемые примеры коррупции в современном обществе противоречат тому представлению, которое оно пытается само о себе составить. Это выглядит так, будто в современное общество снова пробрались социальные отношения, которые уже давно были пережиты и остались в прошлом, а сами они и механизмы их функционирования противоречат сути этого общества.

5. *Коррупция как инструмент связи модерна со старым миром?* В ходе саморефлексии современные общества описывают себя как такие, которым присущи универсальные ценности, активизм, индивидуализм и рациональность их членов, из чего у индивида развиваются убеждения в возможности самому выбирать свои социальные роли, в легитимности и функциональности общественных институтов. От акторов ожидается, что в своих действиях они будут руководствоваться балансом между общественными обязанностями и поиском индивидуальной выгоды <...>.

Современные общества предпочитают описывать себя как функционально дифференцированные и политически поляризованные. Свободная и честная конкуренция, демократические процессы принятия решений, правовое равенство, свобода слова, равенство шансов и ценностей, справедливость представляются иммунной системой общества, которая защищает его от попыток концентрации власти, неконтролируемых иерархий и удовлетворения частных интересов <...>.

Следовательно, коррупция как структурный феномен является противоположностью модерна. Вместо универсальных критериев качества работ и услуг, используются партикулярные связи и лояльность; вместо социальной инклюзии, основанной на честной конкуренции, — негласные договоренности и кумовство. На место универсальной веры в справедливость и действие общих правил приходят доверительные отношения и конспирация небольших групп, которые создают свои законы и не беспокоятся о соблюдении обязательных для всех правовых норм.

Современные организации характеризуют себя в первую очередь как такие, которые оценивают поведение своих членов в рамках дихотомии: «конформное — девиантное». Опасность, которую таит в себе такая оценка для членов организации (каждое их действие может быть оценено как ошибочное или противоречащее правилам), смягчается тем, что такая проблема возникает только там, где их поведение вызовет соответствующую реакцию, т. е. оценку. Таким образом, складываются серые зоны безразличия, в которых члены организации опытным путем устанавливают, как далеко они могут зайти в своих действиях. Решения в таких организациях зачастую принимаются в теневой зоне. Тот, кто в организации хочет сконцентрировать в своих руках власть, должен постараться создать условия «непрозрачности» для процесса принятия своих решений и условия «прозрачности», когда решения принимаются другими лицами <...>.

Считающийся само собой разумеющимся тезис, что коррупция — это особый феномен, характерный для развивающихся и трансформирующихся обществ, должен

быть поставлен под сомнение с точки зрения как эмпирических, так и исторических исследований. В рамках этого тезиса подарки и благодарность в межличностных отношениях рассматриваются как характерные для определенных культур экономические и политические злоупотребления. Такая позиция игнорирует, во-первых, факт наличия институциональных и культурных границ продаваемости и покупаемости, и во-вторых, те связи, которые возникают из краткосрочных экономических интересов международных компаний и концернов и желания обогащения местных элит <...>.

Не хочу ставить под сомнение то, что коррупция с давних времен покоилась и покоится на доверительности и прочности партикулярных связей, лояльности и обмене подарками <...>, а также то, что за фасадом доверительности и прочности коррупционных отношений скрывается возможность давления друг на друга, что является рациональным мотивом дальнейшего молчания и обмена подарками или услугами.

Но именно поэтому следует поставить вопрос: почему вообще подобные связи имеют смысл в современном обществе и окупаются для тех, кто в них вовлечен, несмотря или благодаря изменившимся условиям? Ответ на этот вопрос возвращает нас к пониманию современного общества как функционально-дифференцированного, которое считает своей заслугой независимость экономических, политических, правовых или профессиональных решений от социального происхождения, социальной принадлежности и профессиональных потребностей лиц, их принимающих, а также замену страт функциональной дифференциацией. Мнимая слабость коррупционных связей противоречит реальности, в которой коррупционные связи очень устойчивы, а их участники очень находчивы.

С этой точки зрения коррупция представляется либо следствием неразвитости модерна, либо инструментом снижения неуверенности, рисков отдельных акторов. Это, конечно, правильно и освобождает теоретиков и теории от необходимости более дифференцированно изучить современное общество. Всегда можно провозгласить, что новый мир еще не создал замены тому, что дает коррупция. Однако можно задаться вопросом о том, отражает ли этот теоретический подход реальную модель современного общества?

Отвечая на этот вопрос, прежде всего необходимо констатировать, что коррупция как устойчивый и эффективный феномен не является особенностью так называемых развивающихся или переходных обществ. Большое количество более или менее громких случаев коррупции в современном обществе и их социальные последствия указывают на то, что в данном случае не стоит делить общество на большинство белых овец и нескольких черных. Также очень спорными представляются отсылки к различным культурным особенностям и менталитетам. Такие объяснения, хотя и основываются на эмпирических наблюдениях, обладают небольшим объяснительным потенциалом, так как основаны на повторяющихся аргументах и изобилуют неисследованными аспектами. Это связано, с одной стороны, с тем, что при обращении к таким концептам, как «культура», «ментальность» или «слой общества», обычно не удается четко сформулировать, что же, собственно, исключается из этих понятий при объяснении коррупции. С другой стороны, отсутствует убедительное объясне-

ние тому, почему явно разные культуры, традиции и общества разного уровня приходят к одному и тому же феномену. При этом не стоит отрицать, что чувствительность общества к случаям коррупции или оправдание таких случаев связаны с применением специфического для каждого общества культурного кода.

С благодарностью стоит отметить, что эмпирическая социология покончила со своими собственными мифами в области исследования коррупции, к которым относился постулат, что коррупция как значимый для общества феномен является особенностью неразвитых обществ или обществ, находящихся в стадии перехода к модерну. Также в свете эмпирических исследований под сомнение ставится утверждение, что коррупция — это феномен, который может быть объяснен только в рамках различных культур и менталитетов.

Литература

Baecker D. (2000). Organisation als Begriff: Niklas Luhmann über die Grenzen der Entscheidung // *Lette International*. 2000. №49. S. 97–101.

Luhmann N. (1995). Kausalität im Süden // *Soziale Systeme*. 1995. № 1. S. 7–28.

Social structure and mobility in economic development. (1966) / ed. N. J. Smelser and S. M. Lipset. London: Routledge & K. Paul.

Streissler E. (1981). Zum Zusammenhang zwischen Korruption und Wirtschaftsverfassung: Korruption im Vergleich der Wirtschaftssysteme // *Korruption und Kontrolle* / Hrsg. C. Brünner. Wien, Köln, Graz: Böhlau, 1981. S. 299–328.

Безгосударственность как нормальный формат социальной жизни: аргументация Дж. Скотта

*Ирина Троицук**

Информацию о Джеймсе Скотте (02.12.1936), которая представлена на самых разных российских и зарубежных интернет-ресурсах, можно суммировать следующим образом: профессор политических наук Йельского университета (возглавляет Программу аграрных исследований), известный американский антрополог и специалист по изучению крестьянства Юго-Восточной Азии и Африки, каждая книга которого, будучи изданием сугубо научным (вряд ли найдется работа о моральной экономике и крестьянстве, где не даны ссылки на результаты научных изысканий Скотта), вызвала широкий резонанс далеко за пределами профессионального сообщества.

В России наиболее известна единственная переведенная на русский язык книга Скотта «Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни» (пер. с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой; М.: Университетская книга, 2005). Между тем проблематику моральной экономики и «орудий слабых» в традиционных сообществах он начал разрабатывать еще в 1970-х годах, когда методом включенного наблюдения проводил полевые исследования эволюции властных отношений в сельских сообществах Бирмы, Вьетнама, Малайзии и Индонезии («Моральная экономика крестьян: стратегии выживания и бунта» [1976], «Оружие слабых: повседневные формы крестьянского сопротивления» [1985], «Подчинение и искусство сопротивления: скрытые послания» [1990] и др.).

В настоящее время Скотт заканчивает работу над книгой «Достоинство, осмысленный труд и игра», освещающей его «взаимоотношения с анархистской мыслью», и сборником статей «Декодирование тактик подчинения: идеология, маскировка и сопротивление в аграрной политике», который будет включать его малоизвестные работы, существенно дополненные новым эмпирическим материалом¹. В 2014 году он планирует опубликовать книгу по истории одомашнивания и становления первых государств. Она написана по мотивам лекций, прочитанных им в мае 2011 года в рамках проекта «The Tanner Lectures». Сокращенный перевод первых двух лекций из данного цикла («Многовидовой переселенческий лагерь эпохи позднего неолита» и «Очарование последних веков варварской жизни») и представлен на страницах «Социологического обозрения».

* **Троицук Ирина Владимировна** — кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии РУДН. Email: irina.trotsuk@yandex.ru

© Троицук И. В., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. Из резюме Скотта, размещенного на сайте Программы аграрных исследований Йельского университета.

Многие идеи, которые уже озвучены Скоттом в лекциях и только планируются к опубликованию на страницах будущих книг, получили развернутое обоснование в его последней работе — «Искусство неуправляемой жизни: анархистская история высокогорий Юго-Восточной Азии» («The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia» [New Haven: Yale University Press, 2009]). Скотт пишет об извечном и наиболее успешном в прежние исторические эпохи стремлении людей выйти из-под влияния государства во всех смыслах этого слова: сначала это реальное географическое перемещение на территории, недоступные в силу сложных рельефных и/или природно-климатических условий для государственного контроля, а затем целенаправленное сохранение безгосударственного состояния с помощью самых разных жизненных практик — выращивания культур, которые не требуют оседлого образа жизни; отказа от создания крупных городов; рассеивания по огромной территории; поддержания «гибкой этнической идентичности»; подчинения только харизматическим лидерам и сохранения в основном бесписьменной культуры, чтобы быстро переформатировать свою историю и генеалогию, адаптируясь к изменениям условий жизни «между» государствами. Предлагаемая Скоттом аналитическая оптика, по его собственному признанию, требует «деконструкции доминирующего цивилизационного дискурса о «варварстве», «нецивилизованности», «примитивности», которые при ближайшем рассмотрении оказываются синонимами безгосударственного состояния; этот дискурс никогда не допускал мысли о возможности добровольного перехода людей в варварство, всячески стигматизируя и этнизируя его».

В книгах и лекциях Скотта много ярких идей и необычных аналитических «фокусировок», которые подкрепляются интереснейшим фактическим материалом из разных дисциплинарных областей, но мне бы хотелось отметить три принципиальные черты его работ. Во-первых, он готов признавать обоснованность критических замечаний читателей, что является редкостью для научного мира. Скотт сразу отмечает лишь самые неправомерные из них, используя следующие аргументы: ничего нового он не изобрел и не написал — лишь иначе контекстуализировал и соединил в единый исторический рисунок давно известные и не им открытые факты; все сказанное им не имеет смысла для периода после Второй мировой войны, когда национальным государствам удалось изменить стратегический баланс сил с самоуправляющимися сообществами в свою пользу; его радикальный социальный конструктивизм в оценке этногенеза — не попытка девальвировать понятие этнической идентичности, поскольку он искренне восхищается теми, кто рискует жизнью в борьбе этнических групп за независимость.

Во-вторых, Скотт неоднократно подчеркивает уважение к иному социальному опыту: для него большинство жителей периферии — не недоразвитые примитивные недолюди, отбившиеся от магистральной линии цивилизационного развития, а «сознательные варвары», чье повседневное существование, социальная организация, территориальное расселение и многие элементы культуры целенаправленно спроектированы так, чтобы предотвратить поглощение близлежащими государствами и создание сходных с ними структур власти. Скотт предлагает читателю попытаться

иначе взглянуть на исторический процесс и «увидеть» его не как универсальную линейную эволюцию примитивных социальных структур в цивилизованное состояние (общепринятая версия истории), а как совокупность разных моделей социальности и их циклических переходов друг в друга. В этом смысле работы Скотта, безусловно, расширяют научный кругозор читателей, активизируют их «социологическое воображение» и смиряют с мыслью о том, что ни одна из моделей социальности не может считаться единственно верной и вечной.

И, наконец, работы Скотта стилистически близки художественной литературе: читаются как увлекательный приключенческий роман, насыщены историческими фактами и этнографическими данными, лишены цивилизационного шовинизма «белого человека», проникнуты эмоциональной теплотой, уважением и даже детским восторгом перед иным, чем доминирующие цивилизационные модели, социальным выбором (который к тому же значительно усложняет повседневное существование своих приверженцев), пестрят «вкусными» словосочетаниями, занимательными авторскими приемами максимального вовлечения читателя в повествование и, казалось бы, неожиданными, но очень точными параллелями с современностью.

Четыре приручения в истории человечества: огня, растений, животных и... нас*

Джеймс Скотт

Аннотация. Данная публикация представляет собой сокращенный перевод двух лекций, прочитанных Джеймсом Скоттом, профессором политологии и антропологии Йельского университета, в рамках проекта «Лекции Таннера» в качестве руководителя Программы аграрных исследований и ведущего специалиста по изучению крестьянства стран Юго-Восточной Азии и Африки. Стремясь найти ответ на вопрос, почему на всем протяжении человеческой истории все государственноческие проекты преследовали, по сути, одну единственную цель — гарантировать всеми возможными средствами оседлое состояние своих граждан — Скотт предлагает «альтернативную» версию исторического процесса, с одной стороны, отказываясь от доминирующего в науке «цивилизационного нарратива» об отсталости, варварстве, дикости и прочих весьма уничижительных характеристиках негосударственных сообществ, с другой стороны, доказывая возможность иной интерпретации и иной модели становления первых государств, опираясь ровно на тот же, что и указанный цивилизационный нарратив, корпус доказательств.

Ключевые слова. Оседлость, первые государства, стигматизация, бегство от государства, свобода выбора форм выживания, агроэкологический ландшафт, безгосударственные люди/сообщества, варварский образ жизни.

Историю крестьянства пишут горожане.
Историю кочевников — оседлые жители.
Историю охотников-собирателей — крестьяне.
Историю безгосударственных людей —
судебные писцы.
Подтверждения тому можно найти в архивах
в разделе «История варваров»

Последние два десятилетия, как странствующий рыцарь, я пребываю в безуспешном поиске. Дракон, которого я хочу убить или, по крайней мере, найти первым, на-

* Пер. с англ. И. В. Троцук. Источник: *Scott J. (2012). Four domestications: fire, plants, animals and... us (The Tanner Lectures on Human Values delivered at Harvard University May 4–6, 2011) // The Tanner Lectures on Human Values. Vol. 31 / Ed. M. Matheson. Salt Lake City: University of Utah Press. P. 183–227.* Данная публикация представляет собой перевод двух взаимосвязанных лекций, прочитанных Дж. Скоттом в рамках проекта «The Tanner Lectures» — серии образовательных и научных презентаций и дискуссий, которые проходят на базе девяти университетов США (Гарварда, Принстона, Стэнфорда, Беркли, Йеля и др.) и за рубежом и в которых принимают участие известные ученые, признанные научные лидеры в своих предметных областях (Скотт — как руководитель Программы аграрных исследований в Йельском университете).

© Scott J., 2012

© Троцук И. В., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

зывается странным словом «оседлость». Я беспрестанно задаю себе вопрос, почему целью всех государств — классических и современных, колониальных и независимых, популистских и авторитарных, коммунистических и неолиберальных — было оседлое состояние крестьян на определенных сельских территориях. Оседлость — древнейший государственнический проект, который встроен в саму архитектуру государства. Вот суть моих поисков, которые я веду до сих пор, ибо неоднократно терял дорогу. Когда я писал свои последние книги — «Seeing Like a State» (1998)¹ и «The Art of Not Being Governed»² (2009) — мне казалось, что они били как раз в цель. Но пока я отвлекся на другую интересную добычу, попавшую в поле моего зрения, не успел я опомниться, как колчан мой был пуст, а уже, казалось бы, плененный дракон — вне зоны досягаемости. Программа лекций Таннера вдохновила меня вновь выйти на охоту и попытаться подстрелить своего зверя. Наверное, учитывая мой возраст, это мой последний шанс выпустить свою парфянскую стрелу — на скаку, во время отступления.

Принимая во внимание устный формат лекций, я отказался от большинства привычных педагогических осадных орудий и на сумасшедшей скорости проследую сквозь тысячелетия истории, изредка притормаживая, чтобы высказать свое восхищение теми научными открытиями, что сделали более компетентные, чем я, ученые. В качестве оправдания скорости и поверхностности изложения материала я могу представить только свое желание исправить другое постигшее меня интеллектуальное разочарование. Вот уже в течение двадцати лет я читаю вводную лекцию к междисциплинарному семинару «Аграрные общества» в Йеле. Шаг за шагом я пытался прийти к пониманию, как же так случилось, что именно аграрные общества оказались в центре нашего внимания. В конце концов, человечество существует уже более 200 тысяч лет и только последние 60 из них — за пределами Африканского континента. Первые аграрные государства — на тот момент просто пятнышко на карте, статистическая погрешность в масштабах населения Земли — появились, при самых оптимистических оценках, примерно 6500 лет назад. Это всего лишь небольшая тень над 3 % нашей истории как вида. И я был поражен, узнав, что найдены археологические свидетельства того, что домашние растения и животные появились за несколько тысячелетий до возникновения первых аграрных государств.

<...>

Первые государства и переселенческий лагерь позднего неолита

Сравнительная история первых государств — огромное и сложное предметное поле, ничего нового в отношении которого я сказать не могу. Я рискну обозначить

1. Скотт Дж. (2005). Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни / пер. с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой. М.: Университетская книга. — Прим. пер.

2. Scott J. (2009). The art of not being governed: an anarchist history of upland Southeast Asia. New Haven: Yale University Press. — Прим. пер.

некоторые взаимосвязи между первыми в истории человечества государственными формами и достижениями периода позднего неолита. Политические союзы полностью зависели от критической массы хлеба и рабочей силы, сконцентрированной вокруг некоторого (огороженного) центра, т. е. нуждались в определенном социальном порядке, превосходящем достижения неолитического периода, чтобы закрепить свой государственный статус. Если экологические условия были неблагоприятны для развития результатов неолитической революции, то государства возникали крайне редко. Как только формировались первые маленькие государства, что обычно происходило на фоне их ожесточенной борьбы с конкурентами, они стремились усилить итоги неолита: расширяя область ирригационных работ, создавая новые поселения и земледельческие районы и подавляя иные форматы пропитания — охоту и собирательство, подсечно-огневое земледелие и клубне-корневое садоводство — централизованным хранением зерна и экспедициями по захвату рабов. Первые государства были слабы, им редко удавалось избежать распада на отдельные княжества и дезинтеграции всего за несколько поколений, однако экологический блеск в их глазах постоянно рос, обеспечивая концентрацию населения, которую одна из американских патристических песен называет «янтарными волнами зерна».

Состояние, достигнутое человечеством в позднем неолите, длилось очень долго, прежде чем появились первые государства, что произошло, по крайней мере, 4 (Китай и Египет) и даже 8 тысяч лет назад (Ангкор и Паган в Юго-Восточной Азии). Все зерновые — пшеница, ячмень, кукуруза, рис — и конная тяга, на которых основаны более поздние цивилизации, были общеизвестны уже в этот период. Широкое распространение этих знаний способствовало возникновению небольших центров аккумуляции населения, торговли и ремесел, где искусство керамики и металлургии развилось задолго до эры первых государств.

Они возникли в наиболее удобных для человека экологических условиях, где достижения позднего неолита гарантировали максимальные результаты при минимальных усилиях, например, на илистых почвах долины Нила, легкообрабатываемых лессовых почвах побережий Хуанхэ и в долине Тигра и Евфрата. Эти территории были надежно обеспечены водными ресурсами, богаты аллювиальными почвами, конной тягой и высокоурожайными сортами зерновых, что гарантировало им исключительные пропускные способности: в небольшом пространстве могла быть сконцентрирована масса людей и сельхозкультур, а именно скопление разного рода ресурсов было принципиально важным для формирования государства. В тот период перемещение товаров, таких как зерно, могло быть выгодным занятием только на коротких сухопутных дистанциях — максимум 250 километров по равнинной территории. Данное обстоятельство жестко ограничивало географические размеры государства, которые могли быть увеличены только при условии наличия водных путей. Мое любимое подтверждение тому: в 1800 г. (задолго до изобретения пароходов) можно было доплыть из Саутгемптона в Англии до мыса Доброй Надежды за меньшее время, чем заняла бы дорога от Лондона до Эдинбурга на дилижансе; конечно, в первом случае можно было перевести намного больше груза. По этой причине первые государства располагались

вдоль берегов судоходных рек или океанов, разрастаясь по наиболее благоприятным географическим направлениям — по рукавам рек и равнинам, плодородным землям, аллювиальным почвам, районам с многолетними источниками воды, где сами природные условия, казалось, благоволили развитию государств.

Родство первых государств с «янтарными волнами зерна» очень явно. За исключением империи инков, которая располагалась высоко относительно уровня моря и опиралась на баланс урожаев зерна и картофеля, трудно привести иной пример раннего аграрного государства, которое бы полностью не зависело от зерновых. Государство — побратим зернового земледелия по нескольким причинам: зерно растет высоко над землей; его колосья созревают почти одновременно; размер урожая легко оценить; экономически оправданно перевозить его на разумные расстояния, поскольку цена зерна относительно высока за единицу веса и объема (по сравнению с другими продуктами); оно хорошо хранится. Хотя исключительно зерновая диета вредна для здоровья, зерновые — основа экономики. Первые государства в основном были озабочены не столько размером своего валового внутреннего продукта, сколько объемами *учтенного и налогооблагаемого*. Государству принципиально важно было знать объем зерна для налогообложения, извлечения дохода, длительного хранения и продажи, особенно во время осады или голода.

Декартова простота ежегодного монозернового производства на одних и тех же, в том числе по размеру, полях, расположенных на аллювиальных равнинах, требовала централизованного контроля. Сравните простоту освоения этого пейзажа с любыми другими формами добычи пропитания. Охотники-собиратели мобильны, поэтому широко территориально разбросаны; их выживание основано на разных источниках пищи; у них редко существует какой-то один основной продукт питания, если только это не дичь, которую они употребляют в пищу сразу после добычи. Подсечно-огневые земледельцы перемещаются с поля на поле каждые несколько лет и высаживают от тридцати до сорока различных сортов, созревающих в разное время. Садоводы, возделывающие корневые и клубневые культуры, — тоже ненадежные налогоплательщики: их урожай непредсказуем, располагается под землей и, что самое главное, как в случае с маниокой, может оставаться в земле в течение двух лет после созревания. Если сборщик налогов нацелился на вашу маниоку, он должен выкапывать ее из земли клубень за клубнем, в итоге получит воз маниоки, который почти ничего не стоит и не сможет долго храниться. Кочевые скотоводы, особенно если разводили лошадей, могли сбежать от любого сборщика налогов, хотя власти Османской империи пытались подсчитать поголовье их стад, когда кочевники устраивались на ежегодные длительные стоянки в период окота скота. Смена географических ареалов и режимов питания только усугубляет описанные проблемы государства: если местность холмистая или гористая, если на ней нет судоходных рек и постоянных источников воды — все это затрудняет контроль государства за рабочей силой и изъятие у нее продукции. Любая комбинация обозначенных препятствий мешает становлению государства.

Таким образом, первые царства возникали в особых природных нишах, максимально благоприятствующих концентрации населения и интенсивному развитию монозернового земледелия. Каждое государство стремилось, хотя это не всегда получалось, оптимизировать и укрепить свою агроэкологию. Так, запись в хрониках превозносит успехи Вэй Яня, министра обороны герцога Чу, жившего примерно в V в. до н.э., описывая достигнутые в тот период успехи государственного строительства: «На восьмой день десятого месяца Вэй Янь закончил перепись земель и полей, гор, учтя их высоту, и лесов, богатств озер и прудов, обмеренных скал и холмов, отметил солончаки и щелочные земли, подсчитал болота и возможные места для строительства водохранилищ, насыпей для полей и заграждений для скота по берегам рек. Затем он установил военные налоги в зависимости от размера доходов, соблюдая все ритуалы». Очевидно, Вэй Янь провел инвентаризацию ресурсов, прежде всего полей зерновых (вероятно, проса), — оценку налогооблагаемой базы проводит каждый новый сборщик налогов.

Все первые государства, не только в Китае, но и по всему миру, особенно когда испытывали страшную нехватку рабочей силы, прилагали максимум усилий для привлечения населения. Они расширяли зону ирригации, в частности, достраивая и увеличивая те ирригационные сооружения, емкости и водохранилища, которые уже были построены земледельцами самостоятельно; предоставляли переселенцам землю, тягловых животных, семена и зерно для приготовления пищи на первом году их проживания и налоговые каникулы на несколько лет. Мелкие государства, разрушаемые войнами, голодом, эпидемиями и дезертирством своих граждан, таким образом восстанавливали свой демографический и зерновой потенциал. Подобные варианты государственного строительства можно назвать волонтаристскими, однако их отголоски прослеживаются во всех официальных хрониках и документах.

Для первых царств демографический рост был жизненно важен в экономических и военных целях, но учитывая, что рядом обычно располагались территории вне сферы государственного контроля, обеспечить прирост населения, только заманивая и соблазняя плюсами государственной жизни, было невозможно. Вот почему, на мой взгляд, все первые и многие «поздние» государства в регионах с низкой плотностью населения в основном были рабовладельческими. Войны между классическими империями, Западом и Востоком обычно велись не ради захвата территорий (если только речь не шла о торговых путях), а с целью захвата пленных и перемещения их в административный центр страны. Афины как морское государство с незначительным аграрным потенциалом особенно зависело от рабов. В каждый римский поход с войском отправлялись купцы, жаждавшие приобрести рабов. Рабство — суть Римской империи.

В Юго-Восточной Азии с ее низкой плотностью населения все государства за редким исключением были рабовладельческими, причем некоторые оставались таковыми до начала XX в. Стариками высокогорий Малайского полуострова и Лаоса все еще помнят рассказы своих дедов о походах за рабами в горы. Ключевая демографическая тенденция ранней современности в Юго-Восточной Азии — принудительное переме-

щение пленников, захваченных в ходе войн или купленных у горных рабовладельцев и пиратов на периферии государств (из племен охотников-собирателей и рыбаков) в центральные районы. Это перемещение населения из периферийных регионов с нестабильными источниками пропитания в центры поливного рисоводства стало основой государственной власти. В ряде местных языков на равнинах само обозначение горных жителей дословно переводилось как «раб». Можно привести еще множество примеров развитой работорговли задолго до известной североатлантической кампании по доставке рабочей силы на плантации Нового Света. Таким образом, это одно из возможных объяснений того факта, что в ситуации роста смертности вследствие недоедания и эпидемий численность населения государств продолжала расти.

Другая проблема, с которой столкнулись первые империи, — удержание своих граждан в государственных границах. Многие законы первых царств Китая, как и Российской империи в XVIII в., были призваны предотвратить отток населения. Законы китайской императорской династии Тан предусматривали наказание в тридцать ударов палкой за отъезд из места рождения и три года принудительного труда за бродяжничество. Не способствующие стабильным налоговым сборам стратегии выживания (собирачество и подсечно-огневое земледелие) не поощрялись государством, запрещались, наказывались и стигматизировались культурой как варварские.

Классическая стратегия стимулирования налогооблагаемого зернового земледелия — огораживание лесных массивов и «пустошей», где в результате люди могут осуществлять все одобряемые государством виды сельскохозяйственных работ. В определенной степени экспансия зернового земледелия сама по себе, как, например, в северной части Центрального Китая вдоль побережий Хуанхэ, изменяла природный ландшафт таким образом, что все дальше и дальше отодвигала от административного центра иные возможности добычи пропитания. Теперь в случае кризиса рассчитывать на собирачество в лесах и степях было невозможно — так далеко они оказались от столиц государств. Пустынная окантовка долины Нила, вероятно, выполняла ту же функцию для правителей Древнего Египта.

Длительная история огораживаний, столь хорошо описанная Марксом в «Критике политической экономии», — по сути, летопись уничтожения не приносящих дохода, нестабильных источников продовольствия и возникновения частной собственности посредством воровства. Открытые границы — угроза всем формам несвободного труда, о чем свидетельствует распространение сообществ маронов в Новом Свете. После освобождения сразу по окончании Гражданской войны большинство рабов направились в горы и общие земли — они были таковыми и во времена рабства: хозяева предоставляли эти земли рабам, чтобы они самостоятельно обеспечивали свое пропитание. Получив свободу, бывшие рабы смогли вести независимую жизнь за счет собирачества, охоты, выращивания нескольких культур, держа коров, свиней и гусей и лишь изредка нанимаясь в поденные работники, чтобы заработать наличные деньги на свои нужды, т. е. стали вести жизнь бедных белых, что означало разорение сельскохозяйственного Юга. После принятия драконовских законов об огораживании в 1880-х гг., которые закрыли доступ скота освобожденных рабов на пастбища,

они были вынуждены вновь наниматься на постоянную работу в рамках печально известной издольщины.

Уничтожение всех альтернативных и смешанных форм выживания — неотъемлемый элемент экономической стратегии любого государства по защите и расширению своего зернового хозяйства. Эстер Бозеруп, характеризуя интенсивное европейское земледелие, высказалась предельно четко, хотя и полагает, что мотивы избегания зернового земледелия больше связаны с нежеланием выполнять нудную и тяжелую работу, чем со стремлением к свободе: «...невозможно заставить представителей нижних слоев отказаться от поиска альтернативных источников существования, пока они обладают личной свободой. Когда плотность населения возрастает настолько, что территории можно контролировать, никакой необходимости держать беднейшие слои в кабале нет; достаточно лишить рабочий класс права быть экономически независимым (собирателями, охотниками, скотоводами, подсечно-огневыми земледельцами)...

В агроэкономическом смысле замена невыгодных государству форм выживания населения выращиванием зерновых лежит в основе идеи позднего Средневековья (XI–XIII вв.) «Вперед на Восток!». Колонизация, организованная европейскими религиозными и светскими орденами, была призвана вытеснить смешанные формы хозяйственной деятельности (сочетание скотоводства, земледелия и собирательства) и практикующие их сообщества небольшими аграрными княжествами. Называя колонизацию «озернованием» («cerealisation»), Роберт Бартлетт подчеркивал, что «она была направлена на превращение недоходных ресурсов в фонтан зерна и серебра». Зерно стало основой государственной власти не только в качестве гаранта продовольственной безопасности. Государства могли выращивать различные зерновые, и причины предпочтения конкретных сортов не были только агрономическими. Так, проливное рисоводство намного эффективнее, чем выращивание пшеницы, проса или кукурузы, реализует функции концентрации населения и интенсификации его экономической деятельности. Государства всегда (опять же за исключением империи инков) возникали, только если могли обеспечить на конкретной территории интенсивное производство просчитываемых объемов пригодного для хранения зерна. История не знает маниоковых, бататовых или банановых царств (только банановые республики в недавнем прошлом).

Зона маневра: бегство от агроэкологии государства

По археологическим данным, общемировая численность *Homo sapiens* 10 тысяч лет назад, когда зафиксированы и первые попытки зернового земледелия, составляла 4 млн человек. В 2000 г. до н.э., когда сложилось множество мелких государств, исторические демографы оценивают численность населения Земли уже в 25 млн. Эти микроскопические царства — не более чем маленькое затемнение на поверхности планеты: количество их подданных не превышало статистической погрешности относительно общего числа жителей планеты. Авантюры нашего вида, связанные с

государственным строительством, составляют всего 2 % истории человечества. Я считаю, что, несмотря на исторически преждевременные уникальные примеры первых империй в Китае, на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе, говорить о господстве государственной формы жизни в мире можно не ранее 1500 г. По поводу конкретной даты можно поспорить: процесс государственного строительства шел крайне неравномерно в различных регионах. Но никакие разногласия относительно дат не отменяют того факта, что до недавнего прошлого практически все обжитое человеком пространство представляло собой периферию, а отнюдь не государственные территории, и огромная часть населения Земли все еще не была «охвачена» или пленена государствами.

Меня поражает тот факт, на который я хочу обратить ваше внимание: огромную часть человеческой истории составляет эпоха свободы выбора форм выживания и уклонения от государства. 10 тысяч лет назад, в самом начале неолита, возникло земледелие, 4 тысячи лет назад (пусть даже эта дата весьма условна) — первые государства, т. е. на протяжении шести тысячелетий люди более или менее свободно определяли способы своего существования и образ жизни. Даже если они занимались земледелием и скотоводством, ничто не мешало им собирать дикие плоды, охотиться и торговать, причем, в зависимости от внешних обстоятельств, они могли легко выбрать какой-то один из этих видов занятости в качестве основного, а потом сменить его на другой. Государствам пришлось пройти очень долгий путь от момента своего возникновения на карте истории до завоевания на ней господствующих позиций. В течение примерно 3000, а то и 3500 лет, несмотря на широкое распространение государств, значительная часть населения земли все еще имела хорошие шансы вырваться из их лап, если считала это необходимым.

Последнее утверждение для меня принципиально важно. Всем нам, как мне кажется, постоянно угрожает опасность поддаться археологически фундированному гипнозу о величии империй. До недавнего времени в научных, не говоря уже о публицистических, версиях истории доминировала идея безраздельного господства империй (в Египте, Вавилоне, Китае (династия Хань) и Риме), обусловленная тем, что они оставили после себя множество археологических свидетельств. На местах расположения крупных государственных центров находят гигантское количество обломков, а чем большую кучу каменных глыб вы после себя оставили, тем больше ваша роль в исторических текстах. Та же логика применима и к письменным артефактам: чем более внушительны ваш документный шлейф (земельные дарственные, реестры налогов, регистрационные книги барщины, судебные протоколы), тем больше у вас шансов попасть в исторические хроники.

Гипнотическая очарованность историей дворцов и династий порождает, по крайней мере, два заблуждения. Во-первых, мы получаем усеченную версию истории, которая фокусируется на моментах «государственного состояния» и игнорирует длительные периоды упадка династий и полного отсутствия каких-либо признаков государственности. Не может не удивлять тот факт, что даже в регионах, где существовали сильные досовременные государства, их жизненный цикл был краток и мимолетен.

Очарование идеей Римской империи оказалось более живучим, чем реальный ее прототип. В правдивой, беспристрастной, тщательно описывающей каждый год хронике жизни большинства территорий, где возникали первые государства, большинство страниц, посвященных периоду с 2000 г. до н. э. до 1500 г., окажутся пустыми: даже в этих многообещающих с точки зрения государственного строительства землях периодов безвластия было намного больше, чем эпох династического правления. Главное искажение, которое порождают археологические и документальные свидетельства, связано с тем, что они совершенно игнорируют факт существования огромных и хорошо заселенных территорий за пределами небольших анклавов имперского подчинения. Рассеянные, мобильные, эгалитарные, бесписьменные сообщества, независимо от степени их социальной сложности, развитости торговых сетей и совокупной численности населения, оказались невидимками в истории, поскольку археологические свидетельства их жизни разрозненны, а хвалебных самоописаний они не оставили. В широкой и длительной исторической перспективе большую часть своей жизни вплоть до недавнего времени человечество провело вне пределов государств, причем перемещения через государственные границы в обоих направлениях были почти бесконтрольными. Конечно, эта картина мало согласуется с нашим нынешним восприятием мира как уже ставшего или стремительно трансформирующегося в полностью административно контролируемое пространство.

Мои утверждения очень важны и одновременно спорны, а потому заслуживают хотя бы краткого перечисления тех доказательств, что их подкрепляют. Будучи ограничен во времени, я сделаю акцент на хрупкости первых государств, на сочетании в их истории периодов политической консолидации и упадка/распада, на гибкости их стратегий выживания — население имело в своем распоряжении почти бесконечное множество вариантов добычи средств к существованию, в зависимости от собственных желаний и внешних обстоятельств.

Итак, становление мелких княжеств в Индии, за исключением более древних Мохенджо-Даро и Хараппы, о которых мало что известно, началось примерно в I тысячелетии до н. э. Несмотря на то, что перед нами густонаселенная, плодородная и культурно развитая часть полуострова Индостан, за следующие 2800 лет две трети этих территорий на севере породили лишь два охвативших большую часть региона государства-долгожителя (просуществовали более двухсот лет) — империи Шандра Гупты и Великих Моголов. История региона отмечена возвышением и упадком бесчисленных мелких княжеств, поэтому продолжительные периоды безвластия здесь были скорее правилом, чем исключением. По мнению Беннетта Бронсона, редкость случаев формирования государств в столь агроэкологически благоприятном для этого регионе можно объяснить близостью «эффективных» варваров, чьи постоянные и опустошительные набеги препятствовали становлению устойчивых царств. Аналогично Китаю, империя моголов была создана (персиизированными) потомками степных кочевников.

Важнейший итог возникновения мелких государств, то объединяющихся, то распадающихся на части, — формирование сметливого и гибкого в выборе стратегий

выживания населения. Убеждение колонизаторов, что лесные жители — это потомки древнейших аборигенных групп, оставшие от своих более развитых аграрных собратьев, совершенно ошибочно. Лесные собиратели в прошлом могли быть земледельцами, которые бежали от войн, эпидемий или налогов. Связывать способ существования с некими устойчивыми этническими или языковыми характеристиками, как наглядно показывает Шумит Гуха, нельзя, поскольку в этом случае мы совершенно упускаем из виду воздействие политических, климатических и торговых условий: «...пастухи начинали обрабатывать землю или облагали налогами крестьян; земледельцы становились пастухами; подсечно-огневые земледельцы брались за плуг, а хлебопашцы бежали в леса. ...По всей Индии климатические изменения, наряду с войнами и переворотами, периодически приводили к краху аграрного производства, и тогда оседлое земледелие уступало свои позиции лесам и саваннам, куда устремлялись люди, меняя источники пропитания, чтобы выжить». Стратегическое планирование образа жизни и мобильности здесь очевидно: крепкие дома, орошаемые поля, амбары и тягловые животные — первоочередной объект нападений и грабежей в случае отсутствия сильного государства.

История материковой части Юго-Восточной Азии повторяет многие сюжеты из жизни полуострова Индостан, хотя первые государства здесь сложились позже, в начале нашей эры. В космологическом смысле первые царства Юго-Восточной Азии были очень «индийскими», потому что заимствовали символику, регалии и архитектурные формы мелких княжеств Южной Индии. Первые государства Юго-Восточной Азии обладали скудными возможностями сбора зерна и барщины за пределами своих близко расположенных от административных центров границ. Космологическое бахвальство правителей существенно превышало их реальные возможности управления, во время муссонных дождей они сокращались до размеров территории, обнесенной дворцовыми стенами. В материковой части Юго-Восточной Азии сегодня сложно найти провинциальный город, который бы не претендовал на то, что в прошлом был столицей небольшого царства. Как пишет Шунаит Чутинтаранонд, по большей части регион представлял собой «мозаику небольших, в основном независимых княжеств, которые в различные исторические периоды могли объединяться в (большие) политические союзы, такие как Аракан, Паган, Пегу, Мартабан, Анкор...».

Эти небольшие княжества и их неустойчивые союзы воевали, торговали, собирали налоги, захватывали или покупали рабов, а когда, в конце концов, распадались, их население рассеивалось, бежало в другие регионы или захватывалось рабовладельческими государствами. Как и описанные Шумитом Гуха жители Индии, местное население было привычно к постоянной смене своего статуса (государственные подданные — свободные люди) и занятий (собирачество, охота, подсечно-огневое земледелие, торговля, разбой), если того требовали обстоятельства. В этом смысле оно было полноправным членом того переселенческого лагеря позднего неолита, о котором я говорил выше. Для свободных людей мелкие государства были благом, потому что гарантировали им дополнительные источники средств к существованию, например, были ценными торговыми партнерами: множество товаров, в которых

были заинтересованы равнинные княжества в целях собственного потребления или перепродажи в прибрежные города (включая рабов), они получали от жителей высокогорий. Хотя собиратели и подсечно-огневые земледельцы горных районов Юго-Восточной Азии не отличались военной доблестью кочевых скотоводов северных границ Индии и Китая, однако были достаточно мобильны, чтобы совершать набеги на равнинные территории проливного рисоводства и собирать с них дань. Те, кто жил за границами государств, использовали все преимущества торговли и разбоя, не испытывая при этом неудобств, связанных с необходимостью платить налоги, отрабатывать барщину, нести воинскую и иные повинности и менее разнообразно питаться.

Нам многое известно о государственном строительстве в доколумбовой Америке, в частности, что плотность населения обусловила возможность интенсивного возделывания кукурузы. Империи инков (основана на кукурузе и картофеле в силу своего высокогорного расположения), майя и ацтеков возникли благодаря концентрации продовольствия длительного хранения вблизи государственных центров и развитой транспортной системе, необходимой для ведения войн и сбора дани. На остальной территории, особенно в центре мексиканской равнины, сложилось множество небольших государств-полисов, которые объединялись и распадались, в соответствии с чем население меняло свои стратегии выживания.

Беспрецедентные и катастрофические по своим масштабам и последствиям эпидемии вследствие контактов с европейцами уничтожили примерно 90 % жителей Нового Света — этот факт заставляет нас по-новому взглянуть на вопросы государственного строительства после Конкисты. Демографический коллапс, который случился на прежде полностью заселенном континенте (только на центральной мексиканской равнине проживало 25–35 млн человек), вполне предсказуемо обусловил радикальную смену стратегий выживания местных жителей. Оседлые земледельцы перешли к подсечно-огневым методам, потому что в распоряжении выживших оказались огромные территории, а также к охоте и собирательству. Все государства были разрушены, за исключением испанских и португальских колоний. Демографическая катастрофа не привела к полному экономическому упадку — это сделали принудительный труд и болезни в колониях, а также стремление избежать порабощения: для местных жителей рассеяние стало не просто желательным, а единственно возможным образом жизни. Пьер Кластр, чьи работы вдохновили меня на нынешние изыскания, первым высказал идею, что так называемые примитивные индейские сообщества Южной Америки — это не потомки племен каменного века, которые оказались не способны изобрести земледелие и создать государства. Наоборот (что впоследствии подтвердилось), до Конкисты они были оседлыми земледельцами, но после европейской колонизации были вынуждены *отказаться* от сельского хозяйства и жизни в деревнях. Их перемещения и образ жизни *были подчинены одной цели* — избежать контроля государства; социальная структура и эгалитарные ценности американо-индейских сообществ были призваны не допустить формирования каких-либо государственных структур, т. е. они «стали варварами умышленно».

Помимо смертоносных для коренных американцев бактерий (у них не было иммунитета) европейцы привезли с собой формы одомашнивания и предметы материальной культуры, которые превратили для индейцев охоту, собирательство, подсечно-огневое земледелие, кочевое скотоводство и даже набеги в еще более привлекательные занятия, чем прежде. Разведение лошадей изменило жизнь многих коренных племен, повысив их мобильность; стальные лезвия сделали подсечно-огневое земледелие более продуктивным (стальной топор в 4–10 раз эффективнее в расчистке леса под пашню, чем самый хороший каменный); огнестрельное оружие изменило логику охоты, ведения войн и разбойных набегов. Хотя первые государства Нового Света были уничтожены, а не погибли от старости или саморазрушения, последовавший за их гибелью демографический спад и переход к менее интенсивным стратегиям экономической деятельности и выживания говорят о том, что выбираемые населением форматы добычи пропитания — всегда реакция на демографические потрясения.

Чтобы больше не утомлять нетерпеливого слушателя прискорбно схематичным обзором истории слабых царств и моделей выживания населения, я назову период с 500 до 1500 г. в Европе эпохой хрупких государств, в течение которой аграрное население металось между собирательством, подсечно-огневым и оседлым земледелием, ориентируясь на демографические и политические обстоятельства. Я хочу подчеркнуть обыденность для Китая постоянного тяготения его оседлых крестьян-налогоплательщиков к кочевому скотоводству на границах страны. Как неоднократно писал Латтимор и другие ученые, Великая стена (даже несколько стен) были призваны в равной степени удерживать налогоплательщиков в пределах империи, а варваров-кочевников — за ее границами. В своей книге «The Art of Not Being Governed» («Искусство неуправляемой жизни») я посвятил достаточно страниц описанию того, как юго-запад Китая и высокогорья Юго-Восточной Азии были заселены людьми, которые стремились избежать угнетения, войн, налогов, голода, эпидемий и контроля государственных администраций, выбирая соответствующий образ жизни и экономические стратегии.

Хрупкость первых государств

Человеку очень сложно помыслить события, которые превышают срок его жизни. Отрезок истории в несколько веков выбивает нас из колеи. Наверное, отчасти поэтому для большинства из нас существование государств кажется постоянной и неизбежной частью жизни. А потому нам сложно признать тот факт, что практически во всем мире на протяжении тысячелетий после своего возникновения государство было не константой, а переменной, причем очень неустойчивой. Эпизодическая консолидация первых царств, которую всячески превозносят школьные учебники истории, вплоть до недавнего времени была исключением, а не правилом. Причины, почему первые государства были столь слабы по своей природе и склонны к преждевременной смерти, весьма поучительны.

Статус первых царств как неких узлов концентрированной власти всегда был под угрозой: множество из них распалось в результате оспаривания права наследования соперничающими претендентами на трон, многие затяжные споры вылились в гражданские войны, приведшие к оттоку населения из административных центров. Становление одного небольшого государства обычно предшествовало развитию другого (например, Ур и Урук) и порождало жестокие войны за контроль над важными торговыми путями, плодородными почвами и ирригационными системами и в целях захвата ценной рабочей силы. Независимо от статуса армии («собственная» или мятежная), ее командование требовало зерно, тягловых животных, скот, птицу, продовольствие, принудительно завербованных солдат и носильщиков. Первые мелкие княжества уничтожали друг друга, хотя часто их армии тихо дезертировали до страшного кровопролития и начала эпидемий. Иными словами, гибель государства совершенно необязательно приводила к гибели его жителей — они могли легко рассеяться по его границам, стремясь выжить. Помимо военных конфликтов, хрупкость первых государств была обусловлена экологическими и продовольственными угрозами, встроенными в саму логику их формирования. Эволюционно обусловленная опора государств на небольшой набор зерновых определяла не только снижение питательных качеств продовольствия, но и постоянно угрожала голодом в случае неурожая в результате болезни растений, изменчивости климата или нашествия вредителей.

До сих пор мы все еще не рассмотрели экологические последствия формирования в позднем неолите способствующего государственному строительству переселенческого лагеря. Ранние государства, за исключением торговых держав, требуют *промышленного* агроэкологического ландшафта, т. е. радикального преобразования природного пейзажа. Однако подобные трансформации окружающей среды несли в себе экологические риски, которые не могли предугадать основатели государств: каждое изменение могло снизить или даже свести на нет агроэкологический потенциал территории, от которой зависело существование государства. Приведем два ставших классическими примера. Первый — заиливание и затопление: скажем, государство, что обычно и случалось, возникает на берегу реки и начинает утолять свою безудержную жажду древесины — для строительства, обогрева домов, приготовления пищи, металлургии, гончарных печей, обжига кирпича, пекарен, пивоварен, кузниц, расчищает леса под пастбища и поля. Государство в огромных объемах вырубает леса, а поскольку древесину трудно, но жизненно необходимо транспортировать, вырубаются в первую очередь леса в *верховьях* рек, чтобы сплавлять бревна в поселения. Постепенно в верхнем бассейне реки государство уничтожает весь лесной массив, радикально меняя ее гидрологическое состояние. Способность бассейна реки удерживать влагу и постепенно испарять ее снижается, почвы по берегам реки, качество которых зависит от крутизны склонов, разрушаются, что влечет за собой заиливание русла и притоков реки. Типичный результат — внезапные и катастрофические по своим масштабам наводнения и изменения морфологии реки, которые лишают государство его основного водного канала. Государство может устранить эти проблемы, строя плотины, дамбы

и каналы, однако эти решения имеют свою цену и непрогнозируемые последствия. Второй экологический тупик, в который себя загнали ранние ирригационные общества, — засоление почв до такой степени, что земледелие на них стало экономически невыгодным или невозможным. Эти и другие экологические последствия государственного стимулирования интенсивного зернового земледелия — прямой результат агрессивного вмешательства в биоту, которое усугубляет ее хрупкость и уязвимость и требует долгосрочных затрат на ее поддержку и восстановление.

Даже если первым государствам удавалось некоторое время не заниматься самоуничтожением в огне войн или посредством эко-суицида, то, как свидетельствуют археологические данные, собственное население они пускали под нож быстрее и азартнее, чем привлекали новых граждан. Архивные документы Юго-Восточной Азии и Китая подтверждают постоянные усилия государств установить такие налоги и размеры барщины, которые бы не лишали их граждан. Наличие просторной периферии с массой различных форматов выживания, позволявших к тому же избегать большинства поборов, из которых государство черпало свою жизненную силу, постоянно искушало граждан государства сбежать из-под его контроля. В случае кризиса престолонаследия, неурожая или войны отток населения на периферию был массовым. Но я убежден, что и в спокойные времена он был впечатляющим: люди не только искали независимости и относительной свободы от государства, но и стремились к прямым экономическим преимуществам безгосударственной жизни. Наиболее привлекательна эта автономия была для пленников, рабов и беднейших слоев, которые страдали от всех ограничений жизни в государстве, не получая привилегий, доступных владельцам собственности, купцам и чиновникам. Многие беглецы были недавно инкорпорированы в ткань государства, а потому обладали всеми необходимыми навыками и родственными связями, чтобы вернуться к прежнему образу жизни. Оказавшись на периферии, они отказывались от зернового земледелия, продукцию которого легко конфисковать, в пользу выращивания корнеплодов и собирательства, что позволяло им вести кочевую жизнь, т. е. восстановить прежнюю пространственную мобильность. Например, туркменское племя йомутов, поглощенное Персидской империей, добилось разрешения сохранить свои шатры и часть скота, что давало им возможность в случае необходимости оказаться вне зоны досягаемости государства.

И, наконец, неустойчивость первых государств была обусловлена тем, что они возникали в окружении безгосударственных людей, многие из которых, по крайней мере, в Старом Свете, были дикарями. Я имею в виду не столько «звезд варваров» — монголов, маньчжуров, моголов, османов, гуннов, которые завоевывали или создавали царства, сколько проблему постоянных набегов на государства окружавших их племен. Эти набеги, мне кажется, следует рассматривать как продуманную и прибыльную форму охоты и собирательства. Ведущие оседлый образ жизни общества представляли для кочевых племен непреодолимый соблазн грабительских набегов. Некоторое представление о добыче дает следующая опись награбленного в ходе нападения горных жителей на равнинное поселение в западной Индии на закате колониальной эпохи: 72 вола, 106 коров, 55 телят, 11 буйволиц, 54 латунных и медных котла,

50 предметов одежды, 9 одеял, 19 железных плугов, 65 топоров, украшения и зерно. И это добыча лишь одного, пусть и опасного, набега — все это теперь не нужно было покупать. Ахиллесовой пятой зерновых земледельцев была их оседлость, т. е. немобильность, поэтому для кочевых групп — подсечно-огневых земледельцев, собирателей и пастухов — они были соблазнительной целью. Для набега этим партизанам было достаточно в нужном количестве прибыть в определенное место в конкретное время, ограбить поселение и быстро ретироваться. В случае удачи кочевники получали все то, что им пришлось бы иначе покупать. У берберов даже есть пословица: «Набеги — наше земледелие». Проблемы оседлого образа жизни хорошо иллюстрирует история завоза европейцами коров в Новый Свет: коренные американцы воспринимали их как исключительно глупое дикое животное, которое легко убить или угнать.

Однако злоупотребление набегами, как и собирательством, грозило уничтожить курицу, которая несла золотые яйца. Крестьяне, уставшие от постоянных грабежей, могли бросить свое поселение, чтобы заняться собирательством, подсечно-огневым земледелием (даже разбоем), или переехать в безопасный район. Поэтому в собственных интересах разбойники предпочитали устанавливать систему «устойчивых поборов», известную как обложение данью. Оседлые земледельцы, чтобы не подвергаться грабежам разбойников или их конкурентов, соглашались регулярно выплачивать дань в натуральной форме. Подобные протекционистские выплаты были широко распространены в конце правления династии Тан в Китае, лишая империю значительной доли доходов, иногда встречались в Римской империи в эпоху ее упадка и практически не представлены в горных районах Юго-Восточной Азии. Там, где подобные меры со временем закрепились, протекционизм стал походить на первые этапы государственного строительства.

Золотой век варварства, или Очарование варварского образа жизни

В завершение я бы хотел охарактеризовать тот долгий исторический период (занимавший не столетия, а тысячелетия — от возникновения первых царств до господства национальных государств примерно двести лет назад), который можно назвать «золотым веком варварства». Я считаю, что быть «варваром» в то время по многим причинам было «намного лучше», чем до или после него.

Прежде всего я бы хотел еще раз уточнить, если это не стало понятно из предшествующего повествования, что я использую термин «варварский» с долей иронии. Слово «варвары», как и масса родственных понятий («дикари», «необтесанные», «нецивилизованные», «лесные жители», «горные обитатели», «язычники»), было придумано в административных центрах, чтобы обозначать и стигматизировать тех, кто «пока еще» не стал гражданами государства. В Китае династии Мин и в начале правления династии Цин существовал термин «приготовленный», который обозначал ассимилировавшихся варваров, т. е. тех, кто начал вести оседлый образ жизни, был записан в списках налогоплательщиков и подчинялся государственному администра-

тивными структурам — короче говоря, тех, кто «вошел в карту». Группы, идентичные по культурным и языковым характеристикам, делились на «приготовленных» (цивилизованных) и «сырых» (варваров) по критерию проживания внутри или за пределами государственных границ. В Китае и в Римской империи варварство начиналось там, где не признавался суверенитет государства и не собирались налоги. Поэтому я предпочитаю использовать не вполне элегантный термин «безгосударственные люди» вместо «варваров».

С точки зрения цивилизационного нарратива, сконструированного в столицах первых государств, «безгосударственные» люди — люди «догосударственные». Считалось, что их поглощение государством — дело времени, т. е. речь шла не о возможности, а о неизбежности прогрессивного «восхождения человека» к государственному состоянию, и никаких отклонений здесь быть не могло. Утверждалось, что концентрация и оседлость населения — единственно возможный вектор исторического процесса, механизм которого аналогичен стягиванию железных стружек мощным магнитом. Данное представление кардинально неверно в отношении последних пяти тысячелетий человеческой истории — как с точки зрения своей одновекторности, так и базовых оценочных критериев.

Изменения, колебания и сочетания стратегий выживания — отличительная черта данного периода. Здесь возникали небольшие аграрные и торговые государства, иногда они заключали кратковременные союзы или распадались. Архивные документы полны упоминаний о мелких державах, присутствие которых в истории оказалось мимолетным и о которых мы почти ничего не знаем. На протяжении всего этого периода различные сообщества входили в состав государств, а после их распада рассеивались и возвращались в прежнее кочевое состояние. Как было показано выше на примере древней Индии, крестьяне бросали плуг и бежали в леса, собиратели переходили к подсечно-огневому или зерновому земледелию, крестьяне бросали все и становились кочевыми скотоводами или собирателями. Большая часть населения Земли была адаптирована и искусна в смене стратегий выживания в случае необходимости: после смертельных эпидемий, разрушительных войн и страшного голода, которые выкашивали общества земледельцев, выжившие могли остаться на обезлюдевшей территории, перейдя к менее трудозатратным формам производства продовольствия. Постепенный демографический рост на протяжении последних пяти тысяч лет сам по себе требовал более интенсивных стратегий выживания, но хрупкость государств, частота эпидемий смертельных заболеваний вследствие скученности населения и просторы безгосударственной периферии не позволяют говорить о господстве государственной формы жизни до недавнего прошлого. Эти особенности последних тысячелетий истории и определили возможность наступления золотого века варварства.

Жизнь варваров была столь хороша *благодаря* государствам, пока они не обрели свою нынешнюю силу и были лакомым куском для грабежей и сбора дани. Государствам были необходимы оседлые зерновые земледельцы для *своих* хищнических нужд, но концентрация населения с огромными объемами запасов зерна, поголовья

скота, рабочей силы и разнообразных орудий привлекла внимание и более мобильных хищников. Когда в их распоряжении оказывались лошади и быстрые лодки, размах и эффективность набегов неимоверно возрастали. Группы разбойников могли объединяться для стремительного нападения, а затем столь же быстро рассеиваться в горах, пустынях, степях или мангровых побережьях, где их сложно было выследить. Бедуины, викинги и баджасы («морские цыгане», «оранг лаут») Юго-Восточной Азии сыграли ключевую роль в сдерживании роста государств и даже, если были достаточно сильны, в оттягивании их населения. Возвращение в варварское состояние было бы менее привлекательным, если бы не существовало этих территориальных скоплений собирателей. Сложно сказать, кто из «вредителей» — микро- (смертоносные бактерии, вызывающие эпидемии в оседлых сообществах) или макропаразиты (варвары, совершающие разбойные набеги) — в большей степени сдерживали развитие городов и их демографический рост.

Что касается экологических основ варварской жизни, то, на мой взгляд, мелкие государства поддерживали ее не в меньшей степени, чем богатые урожаи диких злаков и обилие дичи. Основное преимущество, которое негосударственные люди извлекали из наличия государств, — их торговые возможности. В то же время, будучи экономически несамодостаточными по причине узкой агроэкологической специализации, государства для выживания нуждались и рассчитывали на поступление необходимых продуктов из лежащих за их пределами экологических зон (изделий из ротанга, бамбука и древесного угля, скота, мяса, орехов, минералов и драгоценных камней, красителей, лекарственных препаратов, ароматических масел и т. д.). Таким образом, значительную часть нужных им продуктов государства сразу после своего возникновения были вынуждены обменивать на зерно, ткани, железную посуду, стальные клинки, соль и т. д. Если несколько государств располагались на берегах рек или вдоль побережий океанов, то объемы торговли, т. е. экономическая выгода от обмена натуральной продукции периферии на промышленные товары, возрастали многократно, улучшались и условия торговли.

Собирательство, прежде считавшееся элементом бартера, обрело после возникновения государств принципиально новый характер — обрело черты того, что в современных бизнес-школах называют предпринимательством и спекуляцией. Когда к концу первого тысячелетия развилась международная морская торговля, собирательство стало частью мировой коммерции. Хорошо иллюстрирует это утверждение тайская миссия в конце XVIII в., призванная удивить китайцев и стимулировать торговлю между странами. В основном миссия везла изделия горной тайской народности карен из бивней слонов, черного дерева, рогов носорога, сандалового дерева, а также дикий кардамон, горький перец, перья павлинов и зимородков, рубины, сапфиры, янтарь, даммару, канифоль, различные специи и др.

Сложно переоценить важность развития торговли для собирателей. Так, мировая торговля бобровыми шкурами, помимо уничтожения популяции самого распространенного млекопитающего Северной Америки, полностью изменила жизнь и социальную организацию коренных племен континента, породив торговые войны и борьбу

за охотничьи угодья. Аналогичным образом рыбаки и горные собиратели Юго-Восточной Азии с VII в. были активно вовлечены в торговлю предметами роскоши, поставляя в Китай оперенья ценных видов птиц, редкие сорта древесины, внутренние органы и желчные камни диких животных для медицинских целей, в том числе для восстановления потенции. Например, одну из народностей Борнео, пунан, занимающуюся охотой-собираательством, следует рассматривать в первую очередь как торговцев местными дарами природы. Многие горные племена по всему миру мало чем отличаются от жителей равнин, я веду рассказ о той части населения, которая целенаправленно решила специализироваться в собирательстве в высокогорных районах по причине привлекательности подобной стратегии выживания. Некоторые ученые считают, что до недавнего времени Борнео населяли австронезийские группы, которых привлекли здешние возможности ориентированного на торговлю собирательства. Весьма соблазнительна перспектива сопоставить эти наблюдения с причинами возникновения кочевого скотоводства — как результата выделения из сообществ земледельцев групп крестьян, которые заняли иную специализированную и доходную нишу.

Я полагаю, что возникновение первых государств предоставило безгосударственным охотникам, собирателям и подсечно-огневым земледельцам качественно иные возможности грабежей и торговли. Большая часть окружающего их мира обрела свою ценность и цену. Они оказались вовлечены в новые торговые отношения, не становясь при этом гражданами государств. Это утверждение сложно подтвердить фактами, поскольку первые государства не проводили переписей своих «варваров», однако я убежден, что обилие возможностей заниматься собирательством и торговлей не могло не привлекать людей, включая оседлых и подсечно-огневых земледельцев. Развитие интенсивного земледелия открыло новые перспективы для обменов с собирателями и кочевыми скотоводами, становление государств усилило привлекательность собирательства (не говоря уже о грабежах). Если моя догадка верна, то на протяжении длительного времени, особенно в «поздневарварскую эпоху», численность безгосударственных собирателей росла, а не сокращалась. Жизнь на периферии стала более, а не менее привлекательной.

Жизнь позднего варвара была весьма хороша. Его выживание все еще зависело от нескольких источников пропитания, а потому пища его была калорийной и питательной. Будучи территориально рассеяны, собиратели и подсечно-огневые земледельцы менее болезненно переживали крах какого-то одного из источников продовольствия. Прибыльная торговля дала им больше свободного времени, увеличив и без того значительный разрыв в соотношении рабочего и свободного времени между собирателями и крестьянами. Конечно, сильные и мобильные безгосударственные люди никогда не забывали о грабежах, выкупах и сборе дани. Наконец, что немаловажно, подсечно-огневые земледельцы, собиратели и большинство кочевых скотоводов не были приручены государством и не подчинялись иерархическому социальному порядку оседлости. Практически во всех смыслах они были намного свободнее знаме-

нитых фермеров-йоменов. Мне кажется, это неплохой образ жизни для тех варваров, которых якобы давно смыли волны истории.

Тем не менее в золотом веке варварства есть два удручающих момента, напрямую связанных с экологически обусловленной политической фрагментацией безгосударственных сообществ. Значительную часть товаров, которую они привозили в торговые государства, составляли рабы — также безгосударственные люди. Эта практика была настолько широко распространена в материковой части Юго-Восточной Азии, что можно говорить об устойчивой тенденции набегов более выгодно расположенных и сильных племен на своих слабых и рассеянных соседей, т. е. варвары способствовали укреплению государств за счет своих собратьев. Вторая печальная особенность нового образа жизни горных народов, возникшего вследствие становления государств, — продажа ими своих боевых навыков в армиях наемников. Сложно найти в истории хотя бы одно раннее государство, которое бы не нанимало безгосударственных солдат, иногда целыми племенами, в свою армию для отлова рабов и подавления восстаний своенравных граждан. Войска варваров сделали для укрепления государств не меньше, чем для их разграбления.

Государственные и безгосударственные племена, земледельцы и собиратели, «варвары» и «цивилизованные люди» — близнецы-братья и семиотически, и в действительности. Оуэн Латтимор и Пьер Кластр — первопроходцы пути, по которому я иду. Если мы с недоверием воспринимаем термины «цивилизация» и «варварство», то независимо от того, о ком идет речь — о китайском обществе или кочевых всадниках-скотоводах, верно следующее: «...не только границы между цивилизацией и варварством, но и сами варварские сообщества возникли в значительной степени в результате развития и географического распространения великих древних цивилизаций. Говорить о варварах как о «примитивных людях» можно только в отношении тех давних времен, когда никакой цивилизации еще не существовало и предки цивилизованных людей также были примитивны. С того самого момента, как началось развитие цивилизации... она вовлекла в свою орбиту тех, кто работал на земле, и вытеснила тех... кто в итоге был вынужден изменить свои экономические практики, начать эксперименты с новыми видами занятий и создать новые формы социальной сплоченности, политической организации и войн. Цивилизация сама породила свою варварскую чуму: набеги варваров на ее северные рубежи зародились не в неких отдаленных, темных и кровавадных землях, не имеющих ничего общего с цивилизацией, а были ее порождением — этот террор устроили люди, которые стали варварами только потому, что их развитие шло во взаимодействии и под влиянием становления цивилизации».

«Что такое этнометодология?» — 40 лет спустя

Светлана Баньковская*

Гарольд Гарфинкель принадлежит к числу тех последних классиков социологической науки, для которых было свойственно на протяжении всей своей научной жизни исследовать «конечные проблемы» социологии (логического и онтологического свойства) и непрерывно задаваться ее фундаментальными вопросами. Известен такой эпизод из жизни классиков¹. Однажды Парсонс, уже крайне редко выезжавший за пределы своего университета с лекциями, выступал в Лос-Анджелесе, где присутствовал уже ставший известным (и даже приобретший последователей) его ученик — Гарфинкель. По окончании лекции не планировалось (да и Парсонс не был намерен) отвечать на вопросы. Но тут поднялся Гарфинкель и очень серьезно и решительно обратился к Парсонсу: «Талкот, ты все же должен со всей откровенностью ответить, наконец, на один очень важный вопрос. Обещай сейчас же это сделать, нет вопроса важнее: что же все-таки такое социальный порядок?» (Далее — немая сцена.)

Действительно, проблема социального порядка — одна из самых основополагающих в этнометодологическом наследии Гарфинкеля; на этом фундаменте выстраивались центральные для Гарфинкеля направления его исследований и экспериментов — социальное бытование действия, природа интерсубъективности и социальное конституирование знания. Результаты всех этих исследований в конечном счете аккумулировались в ответ на вопрос о социальном порядке как о предмете социальной науки. Связанный с ним вопрос о методе — «Что такое этнометодология?» — оказался не менее навязчивым. С этого вопроса начинается, пожалуй, самый известный труд Гарфинкеля, положивший, как принято считать, начало этнометодологии — «*Studies in ethnomethodology*» (1967), и этот вопрос он сам себе задает на протяжении сорока лет, вплоть до следующего программного труда — «*Ethnomethodology's program*» (2002). Фрагмент из первой главы этой книги с новыми вариантами ответа на этот вечно живой методологический вопрос мы и предлагаем читателю.

Умудренный другими работами Гарфинкеля, и прежде всего «Исследованиями по этнометодологии», читатель имеет возможность отметить как неизменные мотивы в

* Баньковская Светлана Петровна — кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ, профессор социологического факультета НИУ ВШЭ. Email: sbankovskaya@gmail.com

© Баньковская С. П., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. Из личной беседы с Джеффри Александером на конференции Исследовательского комитета по теоретической социологии МСА, Трент, 2012.

трактовке этого вопроса, так и отличия, обусловленные умножением опыта исследований, текстов, исследователей, критики, наконец, — изменениями языка этнометодологии.

Если изначально «этнометодология» — это изучение рациональных свойств индексичных (включенных в контекст) выражений и индексичных действий как непрерывно находящихся в процессе организации практик повседневности (фактическое исполнение этих практик и есть феномен, достойный интереса), то теперь Гарфинкель видит ключевые для него понятия рефлексивности и индексичности в контексте дюркгеймианского «бессмертного обыденного общества» и непременно связывает (и противопоставляет) задачи этнометодологии с работой «формально-аналитической» (то есть всей остальной — не этнометодологической) социологии. Объективная реальность социальных фактов, работа по их сотворению, описанию, объяснению, узнаванию, демонстрации и т. д. становится (и остается) главным делом ЭМ. Однако если сравнивать эти родственные трактовки этнометодологии «тогда» и «теперь» не только по текстам, но по смещению акцента в конкретных исследованиях Гарфинкеля, можно отметить следующий нюанс (который может показаться и существенным): в ранних работах феномен социального порядка, социальный факт в многообразии его живых, локальных, конкретных деталей рассматривался как достижение организованных и искусных в повседневных делах индивидов (которых Гарфинкель именуется «членами»). Теперь этими фактами стали вещи из социального порядка, феномены обыденного общества, существующие до и после индивидов и их достижений. Осмысленность, узнаваемость своих достижений, равно как и свои категоризации, члены приобретают, лишь включившись в поток обыденного бессмертного общества, будучи использованы как наполнитель в работе социального феномена, исполняющего реальную работу по сотворению вещей.

Заявленный в этой Программе феноменологический реализм должен был найти свое развитие и объяснение в следующем труде — «Venerable Husserl: the Lebenswelt origins of the sciences. Husserl's documented conjecture», который был призван продемонстрировать противоположность гуссерлианской программы (почерпнутой этнометодологами из «Геттингенских лекций» и «Кризиса наук») их этнометодологической установке, казалось бы, на то же происхождение наук из «жизненного мира». По мысли автора, этот труд входил в его трилогию программных этнометодологических работ — «Studies in EM», «EM program: working out Durkheim's aphorism», «Working out Durkheim's aphorism. Book two: The Lebenswelt origins of the sciences», однако он остался незавершенным и лишь дает понять еще раз, что простого и однозначного ответа на вопрос «Что такое этнометодология?» ждать не приходится.

Что такое этнометодология?*

Гарольд Гарфинкель

Аннотация. «Что такое этнометодология?» — вопрос о методе обнаружения и исследования ключевой проблемы социологии: проблемы объективной реальности социального порядка. С этого вопроса начинается самый известный труд Гарольда Гарфинкеля «Studies in Ethnomethodology», положивший, как принято считать, начало этнометодологии. И этот вопрос ученый задает себе на протяжении сорока лет, вплоть до следующего программного труда — «Ethnomethodology's Program». Фрагмент из первой главы этой книги с новыми вариантами ответа на вечно живой методологический вопрос мы и предлагаем читателю.

Ключевые слова. Гарфинкель, этнометодология, социальный порядок, бессмертное обыденное общество.

Я теперь думаю об этнометодологии в связи с недавним эпизодом на ежегодном собрании Американской социологической ассоциации. Жду лифт. Дверь открывается. Вхожу внутрь. Мне задают ВОПРОС: «Гарфинкель, что такое этнометодология?» Дверь лифта закрывается. Мы поднимаемся на девятый этаж, и я успеваю сказать только: «Этнометодология разрабатывает некоторые весьма доопытные проблемы». Двери лифта открываются.

По дороге к своему номеру мне приходит в голову, что я *бы должен был* сказать, что этнометодология пересматривает дюркгеймианское переживаемое бессмертное, обыденно-упорядоченное (ordinary) общество, очевидно, делая это посредством разработки целой программы доопытных проблем. Эти проблемы имеют своим источником всемирное движение социальных наук. Они черпают свою силу из двусмысленной приверженности этого движения к стратегии и методам формального анализа, к его общему репрезентационному теоретизированию и вдохновляются его неоспоримыми достижениями.

Технология формального анализа (ФА) и ее результаты приняты повсеместно. Почти единодушно целые армии формальных аналитиков посредством несчетных аналитических искусств и наук о практическом действии, посредством формально-аналитических процедур гарантируют хорошо сделанную работу и заслуживают репутацию хороших исполнителей этой работы. Хорошо известно, что бесчисленные аналитические искусства и науки практического действия и практического смысла с их использованием технологии формального анализа и обобщающего репрезентаци-

* Пер. с англ. С. П. Баньковской. Источник: *Garfinkel H. (2002). What is Ethnomethodology? // Garfinkel H. Ethnomethodology's program: working out Durkheim's aphorism / ed. A. W. Rawls. Lanham: Rowman & Littlefield. P. 91–99.*

© Баньковская С. П., 2012

© Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2002

© Центр фундаментальной социологии, 2012

онного теоретизирования, с их солидным корпусом технической библиографии, выделяют и делают заученно наблюдаемой обширную область упорядоченных действий бессмертного обыденного общества. Эти действия выставлены здесь в формате необходимой аргументации как формально-аналитические детали великого текущего состояния дел в повседневной деятельности.

Бессмертное обыденное общество¹, основополагающие эмпирические феномены социального порядка, о которых писал Дюркгейм, становятся объяснимыми в качестве профессионального достижения мирового движения социальных наук с их технологией формального анализа. Таким образом, технология ФА устанавливает свое универсальное право выбирать феномены для анализа. Феномены порядка представляются направленно наблюдаемыми в формально-аналитических деталях согласованно возобновляющихся достижений практического действия. Эти действия могут представлять собой как ведение войны, так и, например, заминку перед отказом от приглашения. Феномены порядка представляются инструктированно наблюдаемыми в формально-аналитических деталях согласованно возобновляющихся достижений практического действия таким образом, что феномен, неважно какого уровня,

1. «Бессмертное» — это заимствование дюркгеймианской метафоры для любой наблюдаемой непосредственно локальной среды, составляющие которой выполняют некоторую человеческую работу, которая может варьировать по масштабу от приветствия, брошенного мимоходом, до пробки на автодороге и в отношении которых можно утверждать следующее: их производство обеспечено составляющими среду сторонами до подобия игры в кости. Разумеется, эта работа — не игра, тем более — не игра в кости. Только представьте себе, движение на дорогах Лос-Анджелеса. Для когорты водителей там, для данной в этот момент тусовки, это присутствие на дороге, вождение, совместное созидание транспортного потока, *каким-то образом*, гладко и незаметно, оказывается согласованным вождением в процессе живого производства именно этого, данного здесь и сейчас, потока: знакомого, обыденного, не возбуждающего интерес, наблюдаемого-изнутри-и-снаружи, непрерывно делаемого, опять и опять, и всегда в полноте деталей (что бы собой эти детали ни представляли). В этом наличном (the haecceities) «здесь и сейчас» деталей езды на машине именно этот состав [водителей] вновь и вновь делает именно то, что в согласии с простейшей компетенцией они только и *могут* делать, каждый следующий первый раз; и вот это, что они делают, и представляет собой детали именно этого транспортного потока: ТОГО самого потока, который хотя и является результатом их деяния, и находясь в потоке, они «вполне очевидно ориентированы в нем» и «видимым образом направляемы к его производству», они воспринимают эту организационную *вещь* как будто бы их деяние, их собственное деяние, но не как свое собственное, отдельное, единичное, отличное от других авторство. Более того, именно для этой когорты верно то, что после того, как они покинут шоссе, за ними придут другие, чтобы делать те же самые знакомые вещи, которые они — именно они — *именно эти из нас* — как водители будут делать это согласованно.

Бессмертное используется для того, чтобы говорить о работе людей, производимой членами локально, находящимися внутри организованных *вещей*, и они знают, что находятся внутри *этих* организованных вещей и что эти вещи были до них и будут после них. *Бессмертное* — это метафора для огромного числа повторяющихся вещей обыденного общества, наполняемых, производимых, обеспечиваемых, наблюдаемых и доступных наблюдению, локально и естественным образом объяснимых как «совпадение многих «здесь и сейчас». ЭМ делает сильный акцент на этом «бессмертном». Это повторяющаяся тема в каталоге ЭМ исследований и источник их проблематики.

становится инструктированно наблюдаемым в качестве работы того человеческого материала, который наполняет производство [этого феномена].

Человеческий материал (население) зачастую трактуется как непосредственное количество тел. Этот материал представлен в ФА в опросных особенностях количества тел и в демографических измерениях. Все это проясняется с помощью анализа переменных, квантифицированных аргументов и каузальных структур. Эти аналитические описания доступны в отношении всех изучаемых обществ — и современных, и исторических.

Программной же задачей этнометодологии является, напротив, выявление естественным образом объясняемой работы (Garfinkel, Lynch, Livingston, 1981; Livingston, 1987; Weinstein, 1972) по сотворению и описанию социальных фактов бессмертного обыденного общества. Эти факты — вещи из социального порядка, феномены обыденного общества, о которых писал Дюркгейм. Тогда как исследования ФА сосредотачиваются на человеческом материале, который можно опросить, этнометодология вместо этого предлагает рассматривать работу самого феномена, в которой наряду с его другими деталями проявляется и наполняющий его человеческий материал². Исследования ЭМ имеют в качестве своего источника, целей, направлений, политики, методов, наличного корпуса своих результатов, своих клиентов и своих последствий осуществляемую в мировом масштабе реальную работу по сотворению вещей, об обнаружении которых писал Дюркгейм, делая свои обнаружения объяснимо очевидными — как вещи бессмертного обыденного общества.

Разработка дюркгеймианского афоризма этнометодологическими средствами связана именно с этой работой, с тем, кто ее делает, как делает, при помощи каких библиографий, какого разнообразия аргументов, с каким средоточием, с какими последствиями, что она дает академической социологии, но более последовательно — что она дает бесчисленным аналитическим дисциплинам и наукам о практическом действии и практическом разуме. В своих основных задачах этнометодология направлена на реформирование технического разума³, а в процессе этого реформирования первостепенной задачей является рассмотрение работы социальных и естественных наук как естественно объяснимых наук практического действия и практического разума.

Вопреки общепринятым интерпретациям работы Дюркгейма, он уже в самых своих ранних произведениях полагал, что объективная реальность социальных фактов

2. Именно работающий транспортный поток делает наполняющих его людей «типичными» водителями, «плохими» водителями, водителями «в соседнем ряду» и все, что угодно еще, что используют демографы для учета, с тем чтобы предоставлять причинные объяснения вождению. Местное население — неизменный предмет возобновляющегося интереса этнометодологов. Для того чтобы выделить это местное население, вы начинаете с согласованных *вещей* — транспортного потока — не с отдельных [движущихся] тел. Для конверс-анализа множество вещей в разговоре, изобильно там присутствующих и находящихся под рукой, представляют говорящих как типичных, повторяющихся, делающих это вновь и вновь, одним и тем же образом и в том же составе.

3. Ср.: Agre, 1998.

обеспечивает социологии ее особый уникальный предмет⁴. Этнометодология подхватила эту почти забытую инициативу Дюркгейма. Согласно программному этнометодологическому разумению, объективная реальность социальных фактов была для Дюркгейма приемом для описания *любого* вопроса логики, смысла, разума, рационального действия, метода, истины и порядка в интеллектуальной истории, который определялся в каждом конкретном случае как постижимо эмпирический *феномен* бессмертного обыденного общества, который совместно произведен и естественно объясним, согласованно испытуем и опознаваем когортой населения, производящей локальный порядок. Таким образом, феномены порядка состоят из живых, непосредственных и неопосредуемых совместных бытований (*practices*) производить, демонстрировать, испытывать, опознавать, постигать и объяснять обыденные феномены порядка бессмертного, обыденного общества, его обыденные вещи — самые обыденные в мире вещи. Для Дюркгейма — автора этого забытого аргумента — это шло совершенно вразрез с каноническими учениями западной философии.

Основополагающей темой его книги «Элементарные формы религиозной жизни» (1912, 1915) является исследование эмпирических совместных начал, полученных «общих категорий понимания» — времени, пространства, классификации, силы, причинности и целокупности, — проводимое в глубоком русле упорядоченных аргументов с использованием этнографического материала о религиозных обычаях австралийских аборигенов.

Дюркгейм предназначал социологии как науке выполнять именно эту программу. И хотя социология еще не была тогда такой наукой, Дюркгейм полагал, что она должна быть именно такой. Если понимать этнометодологию правильно, то ее следует рассматривать под этим же углом зрения — как наследницу забытого дюркгеймианского достояния. Этнометодология разрабатывает дюркгеймианский афоризм как принципиально несопоставимую и неизбежно сопровождающую канонические учения альтернативу всемирному движению социальных наук. Эта альтернатива связана с формально-аналитическими учениями, она сопровождает их повсеместно.

В каждом конкретном случае формально-аналитической работы по созданию и описанию понятных социальных фактов неизменно присутствуют дюркгеймианские альтернативные спецификации. Таким образом, альтернативные спецификации объективной реальности социальных фактов неизбежны, неистребимы и неизменны при каждом вопросе об адекватности и очевидности.

Этнометодологическая разработка дюркгеймианского афоризма заключается в тематических обсуждениях, написании работ, демонстрациях, в исследованиях-из-первых-рук (*first-person hands-on studies*) и эмпирических исследованиях, названных учебными проблемами. Все это может быть выстроено в следующем порядке аргументации:

1) Самым первым шагом, определяющим научность социальных наук во всемирном движении социальных наук, является различие конкретности и аналитичности

4. См.: Rawls, 1996a, 1996b, 1997.

социального факта, которое проводится в соответствии с канонической политикой: «Во всей полноте конкретного нет порядка»⁵.

2) В противоположность этому утверждению обнаруживается огромное множество свидетельств бесконечной согласованности свойств феноменального поля дюркгеймианских вещей. Это свойства феноменального поля непризнанных дюркгеймианских вещей.

3) Свойства феноменального поля непризнанных дюркгеймианских вещей определяются эмпирически в учебных проблемах этнометодологии и в гибридных исследованиях работы.

4) Дюркгеймианские вещи из его непризнанного аргумента не поддаются объяснению в каждом конкретном случае, когда для их описания задействуются методы формально-аналитического репрезентативного теоретизирования. Что не поддается? Как оно не поддается? Все это эмпирически конституируется в «проблемах на месте» (Shop Floor Problem).

5) Праксеологическая обоснованность направляемого (instructed) действия: на рабочем месте и как рабочее место — прочтение описания как инструкции к работе, следование которой и выявляет феномен, описываемый текстом.

6) Конституирующие проблемы на месте, специфичные для рабочего места детали, собранные в совокупности, описывают работу по производству и описанию дюркгеймианских социальных фактов. Проблемы на месте и их конституирующие составляющие — это тема, открытая этнометодологией⁶.

1. Во всей полноте конкретного есть порядок

Согласно всемирному движению социальных наук, его установленному канону библиографий в конкретике вещей нет порядка (Garfinkel, 1988). Исследования, предпринимаемые в рамках движения социальных наук, совершенно очевидно не справляются с безнадежно условными и зависимыми от конкретных обстоятельств многообразными деталями повседневной жизни — со всей полнотой конкретного, с

5. Т. Парсонс — наиболее показательная фигура в учении о том, что политика — неотъемлемая часть *sine qua non* работы по обнаружению науки в социальных науках. См. обсуждение парсонсианского «плenums» в: Garfinkel, 1988.

6. Я признателен за обсуждение этого вопроса Ульфу Фагерквисту, Хансу Гилстрёму, Джону Даттону, Питеру Кимберу, Берил Белман и их коллегам по пятидневной конференции Мирового форума дизайна в Рокпорте в августе 1994-го. Тогда, и встречаясь с ними позже, я узнал, что они называют «проблемой в мастерской» (Shop Floor Problem). Я узнал, что этнометодологи — не единственные, кто озабочен обыденными, эмпирически локальными и специфическими, неизбежными реальными ограничениями случайной фактичности, произведенной непосредственно на месте, и эти достижения в предприятии дизайна должны производиться как упорядоченная работа на местах когортами, чья практика заключается в согласовании эмпирических совмещающихся деталей, например, «изготовление предусмотренного контрактом самолета, преодолевая непредвиденные обстоятельства»; и еще я узнал, что эти детали *каким-то образом* не поддаются объяснениям с помощью сертифицированных парадной наукой методов описания и теоретизирования.

многообразием, с полноценностью. Для преодоления этого социальные науки выработали политику и методы формального анализа. Согласно этим методам конкретные детали повседневной жизни пересматриваются в качестве деталей аналитических приемов и методов, которые обеспечивают использование этих приемов. Они пересматривают обусловленность обыденной жизни таким образом, что порядок может быть выставлен на обозрение аналитически. Это по сути своей — эмпирическая демонстрация. Детали, обнаруженные в модели, раскрывают существенные, повторяющиеся инвариантные характеристики и представляют собой феномены формально аналитического теоретизирования.

*Каталог этнометодологических изысканий*⁷ состоит из примеров противоположного характера. В самом деле, по большей части порядок *присутствует* в действиях обыденной жизни, взятых во всей их конкретности, т. е. в их неизменной процессуальной последовательности и связности упорядоченных субстантивных феноменальных деталей, не теряя при этом целостности⁸. И это очевидно.

В каждом конкретном случае бессмертное обыденное общество — это удивительный зверь. Как в каждом конкретном случае оно оказывается собранным воедино самоочевидным образом? Имеющиеся сегодня в наличии основные формально-аналитические приспособления, уделяющие пристальное внимание применению, структуре и распространению общего репрезентационного теоретизирования (например, моделей), при столь же квалифицированном техническом их применении выполняют свою работу, теряя при этом из вида сам исследуемый ими феномен.

Задействованные обыденно-конкретные организационные феномены в контексте упорядоченных в структуры феноменальных деталей — это звучит странно. Бессмертное обыденное общество — странно.

Странно? А что, собственно, здесь странного?

Представьте, что бессмертное обыденное общество самоочевидно в каждом конкретном случае, очень просто производится и очень просто опознается при помощи уникально адекватной компетенции, самой обыкновенной компетенции, всеми и

7. Каталог ЭМ Исследований, с помощью которого пересматриваются Понятия Логики, Порядка, Смысла, Метода, Разума, Структуры, Науки и Остального как Нарботки Бессмертного Обыденного Общества в Каждом Конкретном Случае. Что Мы Сделали? Что Мы Узнали? Во Введении к Каталогу вкратце аннотированы темы и проблемы, представленные в различных документах и организованные в несколько коллекций Этнометодологических исследований. Отформатированные как направленный обзор и представленные как шаги аргументации, эти исследования, собранные в нескольких томах, составляют каталог ЭМ.

8. Я использую обобщение как синекдоху для различных характеристик живых феноменов, которые собирает формально-аналитическое исследование и затем описывает их как структуры. Мы достаточно подробно рассматривали структуры в: «Восемь Случаев, Которые Определяют, Как Феноменальные Поля Обыденной Деятельности Оказываются Утраченными Из-за Инженерных Деталей Записывающих Устройств: Воздуходувки для Листьев, Аэропланы над Головой и Лающие Собаки как Случаи для Жалоб; Ритмичные Хлопки, Звонки Телефонов, Подсчет Очередностей в Разговоре, Скрепки при Очистке Раковины и Другие Тривиальные, Неизменные Специфичные и Обыденные виды Работы по Дому, Транспортный Поток, Коммуникации и Опосредованные Компьютером Занятия в Реальном Времени».

каждым. *И все же*, несмотря на все это, всем и каждому его трудно описать в процессе. Описанное в процессе, в каждом конкретном случае, оно *ускользает*. Поэтому его можно только открывать заново. Оно невообразимо. Его невозможно вообразить, но только каждый раз открывать заново, обнаруживать в каждом конкретном случае. В отсутствие этого только Бог знает, как оно оказывается собранным воедино. Еще более странно вот что: поскольку Бог безмолвствует, формальные аналитики, используя привилегию универсального наблюдателя и трансцендентального аналитика, не знаю, почему, но таки знают, что не должны молчать.

И еще странно вот что. То, как бессмертное обыденное общество собрано воедино, включает в себя и воплощенную формально-аналитическую работу, уделяющую пристальное внимание структуре и распространению общего репрезентационного теоретизирования. Нет ничего удивительного в том, что эта работа тоже является задействованной деталью в бессмертном обществе, которое она изучает и о котором учит. В движении социальных наук работа по описательному анализу прodelывается общим теоретизированием. Навыки этой работы везде сопровождаются любопытными несоответствиями. Они хорошо известны и даже открыто признаются⁹. Они заключаются в том, что из-за тех же самых процедурных навыков, которые используются для тщательного описания феномена, он оказывается потеряян.

Более того, процедура общего репрезентационного теоретизирования замещает задействованные наглядные детали бессмертного обыденного общества набором знаков. Формально-аналитическая процедура игнорирует задействованные, непосредственные, непосредственно и одновременно наблюдаемые детали бессмертного обыденного общества. И поэтому у аналитиков остается только один выход — для того чтобы поддерживать свои аналитические предприятия по тщательному описанию, способному продемонстрировать наличную совокупность их обычных действий, аналитики должны стать интерпретаторами знаков. Последовательно исполняя эту процедуру, они затем утверждают, что интерпретации неизбежны. Они говорят, что структурирование и интерпретация «индикаторов, знаков, меток и символов» — это то, что неизбежно должны делать социологи и социальные ученые, чтобы исполнять свою работу по изучению обыденного общества.

9. Например, в 1954 году Чикагская школа права поддержала использование секретных записей обсуждений в судейской комнате и поручила Фреду Стробеку их изучить. Эдвард Шилз, который нанимал Стробека, жаловался: «Я уверен, что, если использовать категории Бейлза, можно узнать, почему обсуждения присяжных делают их малой группой». «А как насчет того, почему их обсуждения делают их присяжными?» — спросил Стробек. «Ты задаешь неправильный вопрос». Шилз согласился. Его согласие обозначило некорректность его просьбы. Оно также обозначило и неспособность аналитической технологии всемирной социальной науки ответить на него. Спустя много лет один начинающий этнометодолог, испугавшись потерять свой аналитический стиль, знакомый по привычной ему литературе, присоединился к полку Шилза, когда усомнился в исследовании Кена Либермана, от правившегося в Непал изучать споры монахов о классических буддистских текстах. Адекватность метода ЭМ требовала, чтобы Либерман жил с ними и имел свою точку зрения в этих спорах. «Но спор и есть спор. Невелика проблема. Зачем обязательно ехать в Непал, чтобы изучать споры?» — недоумевал второй «Шилз».

Этнометодология не занимается интерпретацией знаков. Она не является предприятием по интерпретации. Задействованные локальные практики — это не тексты, которые символизируют «смыслы» или события. Они в своих деталях тождественны самим себе и не репрезентируют еще что-либо. Наблюдаемые повторяющиеся детали обыденных повседневных практик конституируют свою собственную реальность. И эта реальность изучается в непосредственных деталях, а не как некая обозначенная реальность.

2. Свойства феноменального поля

Наипервейшему правилу всемирного движения социальных наук — «Нет порядка в многообразии конкретного» — противоречит уникальная согласованность вещей бессмертного обыденного общества. Эта согласованность вещей — согласованность фигуративных свойств феноменального поля.

Набор «озвучаний» дает нам некоторые слышимые свойства феноменального поля. Та работа, которая обеспечивает согласованность феноменального поля, по большей части воспринимается как само собой разумеющееся. В обучающих примерах (проблемах, поставленных с целью обучения) фигуративная композиция вещей показана в различных упражнениях. Начнем с примера, в котором дюркгеймианская вещь представлена как простейшая работа, сопровождаемая в классическом формально-аналитическом анализе *некоторым образом*, соответственно: $(\text{ } \text{ })$ и () ¹⁰. Билл Брайант показал эту пару — $(\text{ } \text{ })$ и () — и их отношение к процедуре ритмических хлопков.

Представьте, что у меня есть метроном. Я выбираю темп и запускаю его. В это же время я включаю микрофон аудиометронома. К тому же я включаю еще и видеометроном, который снимает меня с метрономом, и включаю электронные часы, которые фиксируют визуально сигнал времени на видеоленте. Все записи синхронизированы. Я хлопаю в ладоши в такт метроному. Когда я хлопаю, я слышу стук метронома, я слышу его в динамиках аудиометронома, я вижу его на экране видеометронома, и я вижу себя самого, хлопающего в ладоши.

А теперь предположим, что мы играем на пианино или поем: как может метроном с его арифметическими свойствами, как может аудио- или видеозапись с ее арифметическими свойствами воссоздать живые феноменальные свойства нашего пения?

Из этого предположения мы видим, что здесь что-то не так. Если мы заняты пением или если мы играем на фортепиано, то, как нас этому учит Дэвид Судноу, мы *делаем* нужное нам время. *Делание* нужного нам времени следует сопоставлять со

10. В словаре и в синтаксисе представляющих теорем локально произведенный естественно объяснимый живой феномен порядка* передается помеченными скобками $(\text{ } \text{ })$. И хотя иногда мы оставляем помеченные скобки пустыми, т. е. () , мы все же предпочитаем заполнять их текстом, т. е. $(\text{ } \text{ })$ (свободно движущаяся волна). Объяснение, предлагаемое формальным анализом (ФА), которое является репрезентацией, указывающей на живое *in vivo* достижение порядка*, показано в простых скобках, т. е. () . В третьей главе представлено обширное обсуждение представляющих теорем.

временем, которое *отмечает* метроном. Метроном может налагать ограничения на *делание* нужного нам времени, *отмечая* время, которое занимает наше пение и игра на фортепиано. С этой парой мы оказываемся внутри организованной вещи: мы можем занять все время на свете для того, чтобы сыграть прелюдию.

Демонстрация Брайанта делает ритмические хлопки процедурно слышимыми в одном электронно записанном потоке как две различные человеческие музыкальные работы¹¹. Эта демонстрация позволяет изолировать различные и несоизмеримые свойства двух феноменальных потоков. С помощью демонстрации Брайанта можно *либо просто слушать, либо прислушиваться* к двум темпорально упорядоченным объектам. Будучи записанными на электронные носители, эти темпорально упорядоченные *вещи* становятся различимыми, когда их аккуратно¹² описывают как: «отмечание ритмичных хлопков» и «делание ритмичных хлопков». То, что каждая из этих *вещей* поддается аккуратно* описанию и объяснению, и есть самое главное.

В двух записанных наборах две вещи различимо слышны. Они слышны в объяснимо согласованных деталях-единого целого-и-как-единое целое *либо одной вещи, либо другой вещи*. И это несоизмеримо. Преимущества этой демонстрации заключаются в следующем: каждая вещь становится слышимой, но только если слушать и прислушиваться к каждой из них; далее, если делать каждую из них инструктивно наблюдаемой для каждого нового первого раза; и в первую очередь только в момент их непосредственного исполнения; если согласованность хлопков в каждом случае лишь локальна и имманентна месту, контингентно фактуальна.

Демонстрация Брайанта проясняет каждую вещь в *длящемся/и как длящийся* процесс квалифицированно производимых и квалифицированно наблюдаемых имманентно месту согласованных свойств феноменального поля. Для удобства обозначим «свойства феноменального поля» аббревиатурой «детали»¹³. Каждая *вещь* в ходе

11. См. главу четвертую для подробного рассмотрения демонстрации Брайанта.

12. Тщательное* описание, помеченное*, не означает никакого академического свойства. Я пишу «тщательное*», чтобы этим написанием обозначить то, что хочу придать самому процессу прочтения попеременно и иное качество — качество проинструктированного действия. Тщательный* отмечен звездочкой, чтобы подчеркнуть контингентную фактичность этого попеременного прочтения. Виртуальное попеременное прочтение — весьма распространенное дело. Что-то вроде актуально попеременного чтения не найдешь днем с огнем. Но оба вида чтения не исследуются никак.

13. Порой для обозначения феноменов используют знакомые названия — из обыденного наречия или техническую терминологию. Некоторые примеры из ЭМ исследований могут служить в качестве инструкций; следование инструкциям, детали, структура или звонящие телефоны. Главное здесь: их привычные названия используются нарочито *тенденциозно*. Знакомые названия употребляются с заведомо неизменной, но скрытой поправкой. Если высказывание идет с такой тенденциозной поправкой, оно пишется с пометкой звездочкой, например, детали*. Детали* с такой пометкой используются, имея в виду, что под деталями* подразумевается нечто иное и отличное от того, что мог бы или *может* предположить читатель, пользуясь множеством различных «прямых» значений этого слова в просторечии; тем самым имеют в виду, что детали* используются в таком виде как корректив к пониманию читателя. Поэтому иногда намеренно, а иногда в силу достижений предшествующих ЭМ исследований детали* (или порядок* со звездочкой, как часто бывает) используются как цель, задача, метод или результат в соответствии с политикой и методами ЭМ, как радикальная корректива; имеется в виду и то,

ее протекания — более точно, каждая вещь в ходе и как бы в ходе — слышна как состоящая из объяснимых свойств-феноменально-поля-в-целостности-и-как-бы-в-целостности этой *вещи*, четко различаемых и уникальных.

Теперь у нас есть два набора данностей «здесь и сейчас» (*haecceities*)¹⁴ рассматриваемой игры. В одном случае у нас есть *in vivo* разворачивающиеся феноменальные детали игры, локально производимый, локально объясняемый феномен порядка*, *делающий нужное нам время* — в данном случае, однако, время необходимое для попадания в ритм метронома. В другом случае мы имеем отмечание (засекание) времени, его несоразмерную ФА альтернативу. Было произведено расхождение в фигуральной композиции вещей, и, понятно, в любом другом актуальном случае эта вещь в ходе-и-как-бы-в-ходе своего протекания описана как «засекание времени» с помощью средств, методов и всего *corpus status* формального анализа.

Литература

- Agre Ph. A. (1998). Accountable artifacts: ethnomethodology and the reconstruction of computing. Доклад на ежегодной конференции Американской социологической ассоциации, Сан-Франциско, 23 августа 1998 г.
- Garfinkel H. (1988). Evidence for locally produced, naturally accountable phenomena of Order*, Logic, Reason, Meaning, Method, etc. in and as of the essential quiddity of immortal ordinary society (I of IV): an announcement of studies // *Sociological Theory*. Vol. 6. № 1. P. 103–109.
- Garfinkel H., Lynch M., Livingston E. (1981). The work of a discovering science construed with materials from the optically discovered pulsar. // *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 11. № 2. P. 131–158.
- Livingston E. (1987). *Making scense of ethnomethodology*. L.: Routledge & Kegan Paul.
- Quine W. V. O. (1987). *Quiddities: an intermittently philosophical dictionary*. Cambridge: Harvard University Press.

что объяснение сознательно откладывается; и будет сделано на основании дальнейших исследований; имея в виду, что объяснение последует в нужном месте и в общей аргументации, хотя и не адекватной*, особенно для отдельно взятого конкретного спора, но по мере развития аргумента в реальных исследованиях, и не в исследованиях лишь только реально, а не предположительно исполнимых, и реально, а не предположительно исполненных, читателем только лишь в реальном случае. Только лишь на этих и всецело на этих основаниях детали* (или любой другой помеченный звездочкой феномен порядка*, о котором идет речь) употребляются как радикальная корректура понимания его читателем.

14. До недавнего времени я говорил о «что-йности» (*quiddity* — от лат. *quid* — что), а не об «это-йности» (*haecceity* — от лат. *haec* — это). По невежеству я не знал, что *quiddity* делает акцент как раз на неверном значении. Когда Уиллард ван Орман Куайн опубликовал свою книгу «*Quiddities*» (Quine, 1987), было ясно, что *quiddities* не имели ничего общего с тем, что вскрыла этнометодология. Менее всего ЭМ исследования подразумевали *существенные детали*. ЭМ не интересуется существенным в каком бы то ни было смысле общих оснований, для правильного определения наделенных теми или иными качествами классов вещей. В своем корпусе [исследований] ЭМ предприятие стремится к иному, противоположному, отличному от общепринятых исследований производства порядка и неприемлемому с ними; к тому, что представляет несоизмеримо иной интерес и иное обеспечение, в отличие от того, чем *может быть* техническое производство феноменов порядка*.

- Rawls A. W.* (1996a). Durkheim's epistemology: the neglected argument. // *American Journal of Sociology*. Vol. 102. № 2. P. 430–482.
- Rawls A. W.* (1997b). Durkheim's epistemology: the initial critique, 1915–1924 // *Sociological Quarterly*. Vol. 38. № 1. P. 111–145.
- Rawls A. W.* (1997). Durkheim and pragmatism: an old twist on a contemporary debate // *Sociological Theory*. Vol. 15. № 1. P. 5–29.
- Weinstein D.* (1972). Unfinished Ph.D. dissertation. University of California, Irvine.

Порядок на местах, или Борьба с безопасностью¹

MOLOTCH H. (2012). AGAINST SECURITY: HOW WE GO WRONG AT AIRPORTS, SUBWAYS AND OTHER SITES OF AMBIGUOUS DANGER. PRINCETON: PRINCETON UNIVERSITY PRESS. XV, 260 P. ISBN 9780691155814

*Андрей Корбут**

Аннотация. В данной рецензии рассматривается книга социолога Харви Молоча «Против безопасности», посвященная одной из наиболее злободневных проблем. Молоч показывает, что доминирующий сегодня способ осмысления вопросов, связанных с безопасностью, не только неэффективен, но и зачастую оказывается источником тех драматических событий, которые он призван предотвращать. Анализируя различные способы поддержания безопасности в метро, аэропортах, общественных туалетах и других «потенциально опасных» местах, Молоч демонстрирует, что «противоядием» от ложно понимаемой безопасности является изучение рутинных практик тех людей, которые, в силу складывающихся обстоятельств или профессиональных обязанностей, создают и поддерживают повседневный социальный порядок «на местах».

Ключевые слова. Безопасность, Харви Молоч, мобильность, социальный порядок, социология повседневности.

2006 год. США. Аэропорт². Точка предполетного досмотра. Женщина на костылях с трудом пробирается через рамку и протягивает сотруднице службы безопасности посадочный талон. «Мэм, — говорит сотрудница, — вы были выбраны для дополнительного досмотра». Позади женщины стоят ее четверо детей, с рюкзаками и билетами в руках. Их тоже придется досмотреть более тщательно. Их и их вещи. «Не могу поверить!» — восклицает женщина. Другой сотрудник пытается ее успокоить: «Мэм, это не мы вас выбрали. Вас выбрала авиакомпания». Именно так учат говорить персонал в подобных ситуациях. Однако досмотр все равно приходится провести. Ситуация неудобна для всех: для женщины, которой тяжело передвигаться и к тому

* **Корбут Андрей Михайлович** — научный сотрудник Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ. Email: korbut.andrei@gmail.com

© Корбут А. М., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. Статья подготовлена по результатам проектов ЦФС, поддержанных НИУ ВШЭ: «Культура новой мобильности в пространстве вещей и событий» и «Феномены порядка в мобильных коммуникациях».

2. Эта невыдуманная история приводится в прекрасной статье Барбары Питерсон — журналистки, специализирующейся на авиационной тематике. В 2006 году она устроилась оператором досмотра в один из американских аэропортов, где проработала в течение двух месяцев. См.: *Peterson B. F.* (2007). Inside job: my life as an airport screener // *Condé Nast Traveler*. 2007. March. <<http://www.cntraveler.com/travel-tips/safety-and-security/2007/03/Inside-Job-My-Life-as-an-Airport-Screener>>

же приходится следить за детьми; для стоящих позади нее пассажиров, которые вынуждены задержаться; для сотрудников аэропорта, которые понимают нелепость поиска именно у этих пяти пассажиров взрывчатки или опасных предметов. Но никто ничего не может поделать. Пассажиров для дополнительного досмотра выбирает авиакомпания. Почему была выбрана именно эта женщина? Иногда отбор случаен, иногда нет. После объяснений женщины все становится понятно. У нее умерла мать, и она летит на ее похороны со своими детьми. Билеты пришлось покупать в последний момент. Они не знают, когда вернутся, поэтому билеты куплены только туда. Итого: пять человек, летят вместе, билеты в один конец, куплены в последний момент. Чем это еще может быть, кроме попытки теракта?

Эта вполне рядовая ситуация прекрасно иллюстрирует тот клубок проблем, которым посвящена книга профессора Нью-Йоркского университета Харви Молоча «Против безопасности». Мы видим столкновение трех логик, каждая из которых обладает своими критериями достоверности, предполагает определенные знания и упорядочивает социальные взаимодействия. С одной стороны — логика повседневной жизни, биографии каждого отдельного человека, точнее, групп людей. С другой стороны — логика, предельно отстраненная от обыденности, сведенная к набору четких показателей, которые в конечном итоге могут быть занесены в компьютер и выражены в цифрах. Наконец, есть логика тех, кто осуществляет свою работу, для кого данная ситуация является предметом профессионального внимания и действия. В данном случае это сотрудники службы безопасности аэропорта. Все три логики присутствуют в любой ситуации, тем или иным образом связанной с «безопасностью», однако проблема заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев предметом внимания и интереса оказывается только вторая логика, логика, которую Молоч называет «милитаристической». Почему это проблема? По нескольким причинам.

Прежде всего потому, что в результате применения милитаристической логики увеличивается количество ситуаций, которые тем или иным образом связываются с безопасностью. Помимо террористических актов к таким ситуациям начинают относить природные и техногенные катастрофы, массовые убийства, уличные беспорядки, политические выступления, публичные заявления, издание книг, выпуск музыки, кибератаки и многие, многие другие события и действия. (В конечном счете, возможно, мы придем к тому, что любое событие будет оцениваться как угрожающее безопасности.) Однако по мере расширения числа подобных ситуаций принцип их осмысления и работы с ними остается прежним, и этот принцип сводится к одному слову: «секретность». Все, что касается вопросов безопасности, оказывается в ведении специальных (секретных) служб, окружается молчанием, становится доступно только ограниченному кругу лиц. Однако «секретность благоприятствует безответственности и некомпетентности» (р. 202). Секретность используется для того, чтобы вывести определенные действия из поля зрения как рядовых граждан, так и журналистов и ученых, в результате чего эти действия извлекаются из различных (непредсказуемых) контекстов их восприятия и оценки, помещаясь только в контролируемые контексты. Сужая поле accountability, т. е. «подотчетности», милитаристская логика стимулирует

практики, которые в противном случае считались бы некомпетентными и которые сами являются угрозой безопасности. Молоч как раз пытается вернуть обсуждение безопасности в более широкую область, выступая прежде всего от лица исследователей-социологов, но также отчасти от лица «обычных граждан».

Вторая причина, по которой милитаризация безопасности оказывается проблемой, связана с тем, что милитаристское мышление предполагает только вполне определенные действия, связанные с эскалацией «порядка». «Порядок» в данном случае используется, главным образом как моральная категория: с одной стороны, нужно «восстановить порядок», разрушенный тем или иным событием (или «защитить» порядок от потенциально разрушительного события), с другой стороны, нужно установить виновного/виновных в поспраии «порядка» и восстановить справедливость, т. е. принять «адекватные меры» против виновного/виновных. При этом «адекватные меры» оказываются чаще всего связанными с очень небольшим набором правил и критериев. Однако такое видение порядка слишком узко. Социальные науки демонстрируют, что порядок — это прежде всего социальная категория и что его поддержание и восстановление — гораздо более сложный процесс, нежели это представляется милитаристическому мышлению. Такова вторая задача книги Молоча: показать, каковы механизмы работы социального порядка и почему эти механизмы нельзя свети к односторонним и прозрачным (для узкого круга лиц) правилам современных «специалистов по безопасности».

Название книги — «Против безопасности» — отражает два указанных момента; подзаголовок — «Что мы делаем не так в аэропортах, метро и других неоднозначно опасных местах» — отражает то, каким образом автор решает указанные задачи. Каждая из глав книги (кроме вводной и заключительной) посвящена отдельному эмпирическому примеру, разбирая который Молоч показывает, что именно «не так» сегодня с безопасностью и почему считающиеся «опасными» места не столь очевидно «опасны». Все его примеры связаны с событиями, происходившими или происходящими на территории Соединенных Штатов, однако в них легко найти аналогии с любой другой страной. Милитаристская логика не знает границ (и меры в подозрении к тем, кто находится не только по ту, но и по эту их сторону). Но книга носит не чисто исследовательский и полемический характер. В конце каждой главы Молоч дает ряд конкретных рекомендаций, основанных на его исследованиях и показывающих, как можно немилитаристским образом решать те проблемы, которые связаны с безопасностью в современном мире. Конечно, рекомендации — достаточно спорный жанр для ученого, однако Молоч открыто заявляет в самом начале книги, что его интенции не носят исключительно научный характер. Его основная идеология такова: «Эта книга направлена против безопасности в том виде, в каком она официально практикуется, вместо этого отдавая предпочтение осмысленным способам поддержания жизни и предоставления людям пристойных (*decent*)³ условий» (р. 1).

3. Термин «*decency*», который является одним из ключевых для Молоча, достаточно сложно однозначно перевести на русский. Я перевел его здесь как «пристойность», чтобы сохранить этические коннотации.

Тем не менее открыто заявляя свою ценностную установку, Молоч как ученый далее пытается показать, *как именно* официально практикуется безопасность и *как именно* осуществляются осмысленные человеческие практики. Предметом его анализа являются «локализованные» практики, связанные с конкретными местами: общественными туалетами, нью-йоркским метро, точками досмотра в аэропортах, Ground Zero (местом, где стояли разрушенные башни Всемирного торгового центра) и Новым Орлеаном (подвергшимся удару урагана «Катрина»). В каждом случае Молоч высвечивает определенный аспект проблемы безопасности.

В главе 2 автор рассматривает пример, который на первый взгляд имеет весьма косвенное отношение к проблемам безопасности, однако для Молоча является матрицей любого обсуждения данной темы. Речь идет об общественном туалете. Данной темой Молоч занимается давно⁴. В рецензируемой книге он использует ее для формулирования ряда проблем, которые, на его взгляд, касаются любой ситуации, имеющей дело с безопасностью. Дело не столько в том, что общественные туалеты небезопасны для их посетителей (Молоч показывает, что большинство приписываемых им угроз, вроде возможности заразиться или быть ограбленным или изнасилованным, иллюзорны и не подтверждаются данными). Скорее, они являются удобным примером («лабораторией», как говорит Молоч) для осмысления того, «как образом смутная тревога превращается в коллективную утрату» (р. 22). Общественные туалеты *воспринимаются* чиновниками как проблемные места, хотя их проблемность не подтверждается на практике. Тем не менее такое восприятие ведет к тому, что вместо осмысления проблемы чиновники просто избавляются от нее, т.е. закрывают туалеты, чем существенно усложняют жизнь огромному числу людей, хотя многие из них вынуждены, в силу специфики своей профессиональной деятельности, часто пользоваться общественными туалетами (например, таксисты или уличные торговцы). Общество теряет гораздо больше, нежели приобретает, когда страх небезопасности оказывается руководящим мотивом действий тех людей, которые принимают решения. Молоч полагает, что вместо закрытия общественных туалетов необходимо переосмыслить их, и даже предлагает вполне законченный проект устройства общественного туалета.

В главе 3 излагаются результаты исследования нью-йоркской подземки, в ходе которого Молочем и его коллегами было взято множество интервью у работников метрополитена и чиновников МТА (Metropolitan Transportation Authority, Транспортное управление Нью-Йорка), а также собраны наблюдения в самом метро. Молоч убедительно демонстрирует, каким образом *официальной* практике безопасности противостоит *локальная* практика безопасности. С одной стороны, работники метро (машинисты, дежурные на станциях) и пассажиры сами регулируют и решают вопросы, связанные с безопасностью: останавливают или ловят преступников, сообщают о поломках, помогают друг другу в чрезвычайных ситуациях. С другой стороны, Молоч демонстрирует, каким образом меры, направленные вроде бы на поддержа-

4. См. опубликованный под его редакцией сборник: Toilet: public restrooms and the politics of sharing (2010) / ed. H. Molotch and L. Norén. New York: New York University Press.

ние безопасности, наоборот, ослабляют ее. Например, установка на входах стальных турникетов в рост человека, призванных решить проблему «зайцев», проникающих в метро без проездного, существенно замедлила выход для пассажиров и привела к образованию очередей. Таким образом, Молоч пытается сместить фокус внимания при обсуждении безопасности с тех действий, которые находятся на виду, к тем действиям, которые обычно не видны, но в которых заключается *реальная* безопасность: «...реальная безопасность обеспечивается контекстуально-чувствительной изобретательностью, проявляемой людьми, на которых не лежит обязанность заниматься безопасностью, — не имеющими специально выделенного бюджета, не располагающими оружием и не распоряжающимися другими людьми» (р. 84). Официальному «машинному» порядку (который оказывается дисфункциональным и ведущим к последствиям, прямо противоположным ожидаемым) противостоит порядок локальный — порядок подлинно *социальный*, поскольку он состоит в социальных взаимодействиях. Разница между этими видами порядка становится критичной в чрезвычайных ситуациях. Например, тем утром, когда башни-близнецы подверглись атаке и вот-вот должны были упасть, в метро был введен в действие официальный регламент, согласно которому все поезда должны были следовать без остановки на станции «Всемирный торговый центр — Кортленд-стрит», которая располагалась под ВВЦ. В то время и в том месте оказался только один поезд. Машинисту было приказано не останавливаться, однако приблизившись к станции и увидев толпу, машинист принял решение забрать людей и тем самым спас сотни жизней. Локальная (профессиональная) логика оказалась более адекватной сложившейся ситуации, нежели логика официальная.

В главе 4 рассматривает проблема безопасности в аэропортах. Сегодня (прежде всего — после 9/11) аэропорт является парадигмальным случаем практики обеспечения безопасности: высокотехнологичной, тщательной, четко регламентированной. Но это также парадигмальный случай того, что Молоч называет «театром безопасности» (р. 118), т. е. такой ситуации, в которой каждый участник играет строго отведенную ему роль. В этой ситуации любое действие и любое поведение оценивается прежде всего с точки зрения безопасности. Как показывает пример, приведенный в начале рецензии, это ведет к тому, что обыденные события могут получать совершенно искаженную трактовку. Спешащие на похороны мама и дети становятся террористической ячейкой. Человек, шутящий про бомбу у себя в ботинке (тоже реальный пример: р. 94), оказывается преступником, собирающимся взорвать самолет. И т. д. и т. п. Локальная ситуация, складывающаяся в местах досмотра, обедняется этой логикой и сводится к небольшому набору параметров, на которых сосредотачивается внимание работников. Молоч называет такое восприятие «близоруким». Недостатком такого восприятия является то, что оно не позволяет различить действительно опасные аспекты ситуации. Когда *все* являются потенциальными злоумышленниками, настоящий злоумышленник получает дополнительный шанс. Когда *все* нервничают по поводу того, можно ли оставить в ручной клади тюбик пасты или бутылку воды, другие причины для нервозности становятся неразличимы. Молоч полагает, что по-

дозрительное поведение становится подозрительным только на фоне нормального, спокойного поведения, поскольку профессиональное восприятие сотрудников аэропорта устроено по принципу гештальта. Сегодня этот гештальтный характер обыденного восприятия не учитывается. Доминирует мнение, что использование новейших, высокотехнологичных устройств решит все проблемы. Однако опыт показывает, что это далеко не так. Молоч документирует как случаи полного провала ряда технических систем, которые находили угрозу даже там, где ее не было, так и примеры неспособности службы безопасности аэропорта найти опасные вещества или предметы в багаже пассажиров. И этих слишком много.

Глава 5 посвящена теракту 11 сентября, точнее, не самому данному событию, а проекту застройки того места, где когда-то находились башни-близнецы. Молоч отмечает, что практика безопасности (и доминирующее в ней сегодня милитаристское мышление) реализуется не только в виде непосредственных военных действий или слежки. Архитектурные проекты тоже являются ее частью. «Использование зданий и городских пространств для придания формы идеям (как и для их уничтожения) издавна является одним из аспектов безопасности» (р. 147). Почти все проекты застройки Ground Zero, которые были представлены на конкурс и среди которых был затем выбран победитель, задумывались как демонстрация того, что террористы не достигли своих целей, что порядок был восстановлен. Однако на деле новый проект оказался простым продолжением милитаристского способа мышления, полагает Молоч, представляет собой не более чем зримое воплощение коллективного страха и гнева. Новая башня, которая возводится на месте двух бывших, символизирует желание «сделать что-то», которое Молоч считает нормальной реакцией на угрожающее или разрушительное событие. Чаще всего это желание первоначально не связано ни с каким конкретным планом. Планы появляются позже, под влиянием ситуационных обстоятельств. Например, как вспоминает Молоч, после падения башен-близнецов люди, которые жили неподалеку (в том числе сам Молоч), начали помогать тем, кто бежал оттуда: покупали им воду, давали телефоны и т. д. Однако проблема заключается в том, что люди, распоряжающиеся властью, не могут показать, что у них нет плана действий, хотя во многих ситуациях его действительно нет. И тогда они действуют наугад. В таких ситуациях «политические лидеры и их эксперты, хотя они на самом деле не знают, что делать, действуют так, как будто они знают» (р. 206). Проект реконструкции Ground Zero, видимо, является одной из наиболее наглядных иллюстраций того, что императив немедленного действия, движимого желанием показать, что «у нас есть план», ведет в тупик.

Наконец, в главе 7 Молоч анализирует события, приведшие к затоплению Нового Орлеана, а также реакцию властей на катастрофу. Он показывает, каким образом природное бедствие многократно усиливается в результате непродуманных человеческих действий. Ураган не был рукотворным, но затопление стало результатом не урагана самого по себе, а урагана, канализированного системой дамб и каналов, что и привело к самым печальным последствиям. Череду предыдущих фортификационных и архитектурных ошибок создала необходимые условия для трагедии, реакция на

которую оказалась совершенно неадекватной. Никто не знал, как действовать, хотя незадолго до этого в данном регионе проводились масштабные учения, моделировавшие действия властей в случае затопления. Анализируя реальные эффективные действия некоторых чиновников, Молоч показывает, что они не следовали формальным правилам, а прямо *нарушали* их. Они не подчинялись приказам и действовали, не ожидая указаний, т. е. самостоятельно принимали решения исходя из складывающейся ситуации. В этом смысле они являли собой пример того, что Молоч называет «нормальной бюрократией» (р. 173), т. е. бюрократией, чувствительной к локальной ситуации, которой он противопоставляет «патологическую бюрократию», ориентирующуюся только на иерархическую систему распределения приказов и писанные правила.

В последней, седьмой главе, как и в первой, Молоч формулирует общий взгляд на проблему безопасности. Этот взгляд имеет три основных компонента: идеологический, теоретический и исследовательский. На основную идеологему Молоча я указывал выше. Здесь можно добавить, что борьба с безопасностью в ее официально практикуемой форме ведет к акцентированию жизненной важности прямых связей между людьми. Реальным ответом на угрозу безопасности должно быть не уничтожение источника опасности (тем более что зачастую непонятно, кто или что это может быть), а расширение социальных связей, поскольку реальная безопасность создается, поддерживается и восстанавливается именно в социальных связях. Без взаимной помощи людей, находившихся внутри ВВЦ, количество жертв было бы гораздо больше. Причем Молоч не ограничивается простой констатацией того, что «простые люди» обеспечивают безопасность эффективнее власть имущих. Он показывает, что сотрудники досмотра в аэропортах, машинисты электропоездов в метро, полицейский в Новом Орлеане и даже чиновники более высокого ранга — все они оказываются эффективны не в том случае, когда жестко придерживаются логики инструкций, а когда принимают решения с учетом локального контекста. Порядок поддерживается «на местах» («on the ground» — Молоч постоянно употребляет этот оборот). Причем локальность и эффективность той или иной практики тем выше, чем ближе действующие к «земле», т. е. к повседневным ситуациям действия. Следовательно, если мы хотим действительно обеспечить безопасность (пока большинство мер, принимаемых в этой области, либо усиливают опасность, от которой они призваны защитить, либо вытесняют опасность в другую область), необходимо прислушаться и присмотреться к тем, кто ее действительно создает. Необходимо отказаться от милитаристского мышления в вопросах безопасности, потому что оно слишком опасно. «Система обыденного порядка есть система безопасности и должна быть основой любой системы безопасности» (р. 214). И этот обыденный порядок обнаруживается на любом уровне — от рядовых горожан до президентов. Данный порядок очень далек от того «порядка», который сегодня прочно ассоциируется с безопасностью («порядок и безопасность» обещают политики во время выборов и после любых трагических событий), но именно он обеспечивает как функционирование современных (любых) обществ, так и безопасность их членов (вне зависимости от их ранга), поскольку сам обеспечивается ими.

Отсюда вытекает возможное направление теоретических поисков, на которое Молоч указывает в последней главе. По его мнению, обыденный порядок характеризуется двумя качествами: неявностью (*tacit*) и обоюдностью (*mutual*). Прояснение этих качеств поможет не только созданию более адекватной концепции социального порядка, но и решению множества проблем, связанных с вопросами безопасности. Такое проявление, в свою очередь, должно предполагать специфическую исследовательскую стратегию: «...необходимо изучать близкие-к-земле практики, примером которых является [взаимопомощь] выживших 11 сентября, но которые должны включать и то, что происходит в гораздо более обыденных условиях» (р. 14). Иными словами, предметом исследования должны стать всевозможные «низовые» практики безопасности. В некотором смысле любая практика предполагает обеспечение безопасности не столько потому, что любой материальный объект может быть опасен, сколько потому, что повседневный социальный порядок, в определенных отношениях достаточно прочный, в других отношениях довольно хрупок. Устанавливаемые в рамках любой практики связи между объектами и действиями с этими объектами могут быть разрушены, поэтому в любой практике существуют механизмы поддержания этих связей. Они и должны стать предметом изучения.

Проблема книги Молоча заключается в том, что ее теоретический и исследовательский потенциал гораздо беднее идеологического. Несмотря на постоянное обращение к эмпирическим данным, он не показывает, как эти данные производятся «на местах». Он лишь констатирует определенные (сами по себе очень интересные и говорящие) факты, возводя затем над ними дизайнерскую (как в широком, так и в узком смысле) надстройку. Наиболее показательным примером такого способа мышления является постоянное апеллирование к различным категориям людей, которые осуществляют те или иные специфические практики. Молоч пишет о том, что люди, отличающиеся гендером, физическими возможностями, расой, национальностью, классом, получают различные преимущества или, наоборот, лишаются определенных возможностей в зависимости от принадлежности к той или иной группе внутри этих широких категорий. Молоч, несомненно, прав в том, что нет никакого «среднестатистического человека», есть по-разному и многочисленно категоризируемые люди, однако он забывает о том, что категории не даны, что категоризация — это постоянная работа. Он не анализирует то, каким образом люди категоризируют друг друга в локальных обстоятельствах деятельности, что важно не только с теоретической, но и с исследовательской точки зрения, поскольку проблема безопасности может быть рассмотрена в том числе как проблема трансформации практик категоризации. Молоч лишь намекает на этот аспект, когда упоминает о том, с какими проблемами сталкиваются различные люди в ситуации, когда безопасность реализуется «на местах» в виде практик категоризации. Например, он указывает на то, что в результате предпринятой нью-йоркским метрополитеном кампании, пропагандировавшей лозунг «Если что-то заметил, скажи» (*If You See Something, Say Something*)⁵, начали

5. Ср. в московском метро: «Просим обращать внимание на подозрительных лиц. Если вы заметите в метро подозрительных лиц, сообщайте об этом сотрудникам полиции или машинисту поезда по переговорному устройству».

возникать ситуации, когда люди категоризируют друг друга определенным образом. Были случаи, когда бдительные пассажиры сообщали о том, что человек, похожий на мусульманина, «считает людей» на станции (р. 55). Оказывалось, что это был просто пассажир, перебиравший четки. Однако Молоч никак не развивает этот пример и не показывает, как изменяются (или не изменяются) повседневные способы категоризации под влиянием тех или иных «мер, направленных на поддержание безопасности».

Еще один аспект, который проходит мимо внимания Молоча, — то, каким образом используется сам термин «безопасность». Отмечая, что этот термин может применяться, например, для получения дополнительного финансирования⁶, Молоч указывает — но лишь указывает — на важную исследовательскую проблему: проблеме использования темы «безопасность» в различных практических обстоятельствах. «Безопасностью» можно оправдывать досмотры в аэропортах, обыски на улицах, закрытие учебных заведений, введение новой системы навигации в метро, судебные решения, изменение дизайна автомобилей, введение новых упаковок для таблеток и т. д. Существует огромное количество практических контекстов, в которых возникает тема безопасности и в которых она определенным образом функционирует. Эти практические контексты ее употребления составляют прекрасный предмет для эмпирических исследований, который игнорируется Молочем.

Наконец, следует отметить еще один слабый момент книги Молоча: все те теоретические принципы, которые он заявляет в тексте, сформулированы в ряде уже существующих исследовательских традиций: символическом интеракционизме, этнометодологии, критической этнографии. Разумеется, книга и не претендует на то, чтобы быть теоретическим трактатом, но она претендует на то, чтобы быть исследованием, однако теоретическая слабость в дополнение к эмпирической узости помещает ее где-то ближе к сфере научной журналистики, чем к собственно науке. Наиболее сильной в исследовательском плане является глава, посвященная нью-йоркскому метро, однако, похоже, ее положительные стороны следует отнести на счет соавтора (и бывшего аспиранта) Молоча — Ноа Макклеяна.

Тем не менее, несмотря на указанные недостатки, книга Молоча — отличный пример того, как перефокусировка исследовательского зрения может дать неожиданные ответы на современные вопросы. Перенесение внимания на то, как безопасность практикуется в обыденных ситуациях⁷, не только способно продвинуть социологию как исследовательскую практику, но и позволяет внести существенный вклад в обсуждение важных проблем, которые не имеют простых решений.

6. «Секретные службы заинтересованы в том, чтобы связывать как можно больше своих расходов с обеспечением безопасности и получать тем самым финансирование, которое в противном случае было бы им недоступно» (р. 202).

7. Парадоксально, но в этом контексте «обыденным» оказывается даже такое «экстраординарное» событие, как террористический акт, поскольку он рассматривается с точки зрения того, каким образом разные люди «создают» данное событие «на местах» — как будучи его рядовыми участниками, так и будучи связанными с ним в силу своих профессиональных обязанностей.

От манифеста к тексту¹

GEOGRAPHIES OF MOBILITIES: PRACTICES, SPACES, SUBJECTS. (2011) / ED. T. CRESSWELL AND P. MERRIMAN. FARNHAM: ASHGATE. XII, 276 P. ISBN 9780754673163

Оксана Запорожец*

Аннотация. «Географии мобильности» — сборник статей ведущих британских социальных географов, предпринимающих попытку обозначить специфику географического рассмотрения этой проблематики. Рецензия посвящена анализу тематических приоритетов и методологических посылок географического исследования мобильности, обозначению зон напряжения и компромиссов внутри географического знания.

Ключевые слова. Мобильность, движение, пространство, практики, не-репрезентативная география, масштабирование.

Мобильность — тема, во многом определившая, если не монополизировавшая ландшафт социальных исследований последнего десятилетия. Манифест Джона Урри, провозгласивший мобильность новым основанием социального порядка, создал эффект «прорвавшейся плотины». Исследовательский энтузиазм в отношении мира, внезапно пришедшего в движение, материализовался как в создании междисциплинарного поля исследований мобильности, так и в ревизии концептуального аппарата и методов работы с новым объектом в рамках сложившихся дисциплин (социологии, антропологии, географии). На протяжении десятилетия воображаемая карта исследований мобильности постепенно обретала четкие контуры, свидетельствуя о достижении самостоятельности и состоятельности этого междисциплинарного проекта: формировались траектории исследования, разрабатывался терминологический аппарат, совершенствовались исследовательские тактики.

Подчеркнутая междисциплинарность исследований мобильности за десятилетие стала столь привычной, что выход в свет книги «Географии мобильности: практики, пространства, субъекты» под редакцией Тима Крессвелла и Питера Мерримана, с ее подчеркнутой дисциплинарной принадлежностью, вызывает недоумение очевидной попыткой реанимации границ. Думается, что предпринятый ход спровоцирован не завистью к более удачливым соседям (тем же социологам, чьи работы последнего десятилетия, посвященные мобильности, вполне способны составить небольшую районную библиотеку), но не является и откровенной попыткой присвоения

* **Запорожец Оксана Николаевна** — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник ИГИТИ НИУ ВШЭ. Email: o_zaporozhets@mail.ru

© Запорожец О. Н., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

1. В тексте использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта «Граффити и стрит-арт в культурном пространстве мегаполиса», осуществляемого в рамках программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012 году, грант №12-05-0002.

«нейтральных территорий». Этот жест обращен внутрь дисциплины и продиктован стремлением артикулировать принципы «новых географий», отстоять их преимущество в столкновении с традиционными географическими подходами.

События, разворачивающиеся на страницах книги, могут быть уподоблены не открытым военным действиям, но смотрю войск и инвентаризации ресурсов, призванных впечатлить противника. Подходы, собираемые под знаменами «новых географий», различны по своим исходным посылкам и теоретическим основаниям, а образуемый эклектизм признается авторами отличительной чертой мобильного поворота в географии (р. 11). Конечно, «Географии мобильности» не выглядят как коллекция статей, объединенных лишь жесткой обложкой, но и общность посылок, позволяющих рассматривать их как целостность, неочевидна. Непроговоренность ряда ключевых положений — один из ключевых недостатков сборника, являющийся следствием его эклектичности и компромиссности. Отказ от обсуждения наиболее острых тем, выступающих зонами напряжения в современной географической дискуссии, — цена объединения различных подходов.

Свою попытку создать общее интеллектуальное пространство Крессвелл и Мерриман начинают с конструирования традиции географического исследования мобильности, отсылающей к идеям Перси Кроу, озвученным в 1938 году: «сейчас география статична... в поле зрения (новой) динамической географии должны попасть люди и вещи в движении» (р. 1). Авторы охотно признают прерывистость традиции, множество тупиковых направлений. Так, высказанное в 1960-х Вильямом Банджем предложение о превращении движения в ключевой факт, изучаемый и объясняемый географией, не получает поддержки академического сообщества. Вместо сосредоточения на движении география концентрируется на более доступном объекте — его пространственно укорененной инфраструктуре, что, по мнению авторов, не способствует пониманию мобильности и актуализирует центральный вопрос сборника: «что происходит в движении?», а также ставит задачу по «оживлению мобильных миров» (р. 5).

Авторы текстов предлагают помыслить мобильность как формируемую *практиками*, происходящую в определенных *пространствах* и в свою очередь производящую эти *пространства*; осуществляемую определенными *субъектами* и в свою очередь создающую набор социальных классификаций. На первый взгляд композиция кажется вполне традиционной и очевидной в своих отсылках к классическим работам о пространстве. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что названия разделов — лишь удачная маскировка новых подходов и интерпретаций, задача которой обеспечить читателя более или менее фиксированной системой координат.

Одним из главных отличий сборника можно назвать «новый антропологизм» — подчеркнутое возвращение субъекта, как действующего в физическом пространстве, так и совершающего символические перемещения в системе социальных координат. Он — результат временного перемирия конфликтующих подходов: нерепрезентативной (Trift, 2007) / более-чем-репрезентативной географий (Lorimer,

2005) и теории репрезентаций. При всех различиях «географии» объединяет признание активности субъекта как создателя социальных смыслов, подчеркивание значимости «не-репрезентируемых» состояний: аффекта, движения, телесных опытов. Именно «географии» считают необходимой разработку исследовательских инструментов, позволяющих описать человеческое в мире, «очевидно вышедшим за пределы человеческого, текстового, моносенсорного» (Logimer, 2005: 83). Сосредоточение на нюансах и частностях становится аналитической стратегией, обеспечивающей переход к описанию более широкой социальной организации, выявлению центральных культурных категорий. В свою очередь, теория репрезентаций отстаивает приоритетность символических систем и репрезентаций в структурировании социального опыта, необходимость идентификации центров и механизмов производства культурных смыслов.

Первая часть сборника «Практики» включает описание ходьбы, бега, танцев, вождения и полета — мобильных практик, использующих разные техники тела и задействующих различную инфраструктуру, существующих в рамках определенных социальных конвенций и за их пределами. Рассказывая об истории и современных практиках ходьбы, Хейден Лоример фиксирует ее превращение из неотъемлемой части повседневного опыта в сознательно выбираемое занятие, констатирует постепенное исчезновение мира пешеходных профессий и приобретение ходьбой самоценности. Сегодня она утверждается как важная часть досуга, опыт, формирующий особые телесные компетенции, способствующий освоению новых пространств и установлению связей с людьми и предметами, в свою очередь, определяющих ритмику и хореографию ходьбы. Джон Бейл обращается к рассмотрению «серьезного бега» как специализированной деятельности (подразумевающей участие в соревнованиях) и описывает его как пример «структурированной и механизированной мобильности». Центральной идеей всей современной истории бега, по мнению автора, является ускорение. Достижение необходимой скорости связано с развитием особой технологической сети: тела как «машины скорости» (создаваемой особой диетой, системой тренировок), специальной обуви, технологических устройств, дорожного покрытия. Приемы манипуляции скоростью, такие как замедление и ускорение — важные навыки бегущего, однако их использование зависит и от внешних контекстов — реакций зрительской аудитории, разделяющей нормативность «скоростной культуры». Текст Джи Ди Дьюсбери, посвященный танцу, становящемуся событием и спектаклем, помимо прочего выполняет важную задачу теоретической интервенции, используя ряд постструктуралистских концепций (Делеза и Гваттари, Бадью) для интерпретации танца. Дидия ДеЛайзер обращается к опыту первых женщин-пилотов, рассматривая полеты как практики, проблематизирующие и переопределяющие «женские» пространства и место женщины в обществе» (р. 7).

«Пространства» мобильности, вторая часть сборника, посвящена дорогам, мостам, аэропортам, иммиграционным станциям и подвижным городам. Она концентрируется на взаимовлиянии пространства и мобильности, включая установление пространств, делающих возможными те или иные виды перемещения, — дорог, моря,

воздуха, их особого синтаксиса, поощряющего или затрудняющего движение, а также видов мобильности, образующих особые пространства или меняющих их функциональное и символическое значение (р. 7). При этом сами пространства мыслятся как находящиеся в постоянном становлении (placing, spacing, etc.).

Раздел в полной мере задействует технику масштабирования. Открывающий его текст Питера Мерримана показывает, как «изобретение» «человека мобильного» американским архитектором Лоуренсом Халприним становится одним из ключевых принципов проектирования современного города, создаваемого уже не для абстрактного жителя, но для человека, находящегося в движении. Вдохновленный экспериментами своей жены Анны Халприн, одной из создательниц современного танца, он использует идею хореографии для организации конкретных городских пространств. Хореография в данном случае — это сценарий, согласующий множественное движение в городской среде, включая движение людей, материальных и природных объектов. Предпринятая по его проекту в 1962 году реновация Николетт Авеню в Миннеаполисе, связанная с превращением улицы в пешеходную зону — расширением тротуаров, созданием уличной скульптуры и графического оформления, — один из первых примеров успешного изменения городской хореографии для оживления района. Раздел завершается статьей Дэвида Пиндера о проекте мобильного города, созданного архитектурной группой Архиграм. Мобильный город — это перевод движения за пределы человеческого, рассмотрение его как основного принципа организации городской материальной среды. Конкретные примеры, приводимые в текстах, не просто иллюстрации, они — неотъемлемая часть теоретизирования, демонстрация механизмов производства «пространства движения». Еще одним ракурсом рассмотрения пространства мобильности становится его «историчность или движение смыслов во времени». Описание Ульфом Стрехмайером истории городских мостов — пример кристаллизации мобильности как основной функции пространства. Автор напоминает, что в городе позднего Средневековья мосты — это обжитые пространства, сосредоточение магазинов, складов, гостиниц, в которых инфраструктура мобильности далеко не приоритетна (р. 124). Монофункционализм современных мостов свидетельствует об изменении статуса мобильности и принципов градостроения. Так, Новый мост в Париже становится первым мостом без жилых построек (столь резко отличающимся от средневековых аналогов), открывающим вид на город и наряду с другими городскими преобразованиями создающий возможность продленного городского взгляда.

«Субъекты» — третий раздел сборника, описывающий особые социальные роли, своим появлением обязанные перемещению и его культурному статусу: туристы, мигранты, бродяги и странники, беженцы, комьютеры (люди, ежедневно передвигающиеся по маршруту «дом–работа»). Уже сам факт обозначения, наименования роли является признанием ее культурной ценности, примером чему служит столь трудно переводимое на русский слово «commuter». «Эти субъектные позиции созданы системой культурных репрезентаций — фильмов, романов, законов, газетных статей, но они еще и проживаются, изменяются, сопротивляются» (р. 9).

Подводя итог, нельзя не отметить очевидных достоинств сборника, пытающегося уйти от тотальности и глобализма первых исследований мобильности (Кастельс, Бауман, Урри), на долгие годы определивших приоритеты поля. Недавние исследования продолжают обозначенный тренд, развивая микрооптику и исследовательские тактики, позволяющие понять повседневность движения. «Географии мобильности...» дают возможность выйти за рамки больших схем, рассмотреть вариативность контекстов мобильности. Помимо безусловной академической ценности, определяемой в том числе и «звездным» составом участников, большинство из которых — основатели новых тематических направлений в социальной географии, у сборника есть важное преимущество: его интересно читать. Часть статей, посвященных культурной истории мобильности, будут интересны и неподготовленному читателю.

Однако при всех своих преимуществах сборник все же не убеждает в необходимости возвращения к дисциплинарному разделению, «географизации» исследований мобильности. Наиболее логичным выглядит развитие направлений, основанных на общих теоретических посылах.

Литература

- Lorimer H.* (2005). Cultural geography: the busyness of being «more-than-representational» // *Progress in Human Geography*. Vol. 29. № 1. P. 83–94.
- Thrift N.* (2007). *Non-representational theory: space, politics, affect*. Milton Park, Abingdon, Oxon, New York: Routledge.

Творческое действие в креативном городе

ЛЭНДРИ Ч. (2011). КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД / ПЕР. С АНГЛ. В. ГНЕДОВСКОГО, М. ХРУСТАЛЕВОЙ. М.: КЛАССИКА-XXI. 399 с. ISBN 9785898173401

*Дмитрий Сапонов**

Аннотация. В рецензии анализируется книга Чарльза Лэндри «Креативный город», одна из основополагающих книг по креативной экономике. Основной вопрос книги Ч. Лэндри — каким образом раскрываются творческие возможности человека в городской среде. Автор подробно анализирует понятие креативного действия, исследовательский потенциал которого, как и показано в рецензии, может быть увеличен, если рассматривать креативное действие в контексте культурного процесса.

Ключевые слова. Креативность, креативное действие, креативная среда, поступок, культурные объекты, культурные ресурсы, риск, социальная эксклюзия.

В издательстве «Классика-XXI» вышел перевод книги британского специалиста по развитию городов, эксперта Всемирного банка Чарльза Лэндри «Креативный город». Впервые работа опубликована в Великобритании и США в 2000 году, на русский язык переведена в 2006-м. Это первая из трех известных книг по креативной экономике, вышедших почти одновременно и сформировавших это понятие. Вторая книга — «Креативная экономика. Как делать деньги из идей» Джона Хокинса (2001), третья — «Креативный класс» Ричарда Флориды (2002). Выражение «креативная экономика» впервые было употреблено в августе 2000 года журналом «BusinessWeek». И вот в 2011 вышло дополнительное русское издание «Креативного города».

Суть концепции креативного города заключается в том, что каждое поселение, в какой бы оно ни находилось стране и на каком континенте, может вести свои дела с большей долей воображения, более творческим и новаторским образом.

На протяжении всей книги встречаются как конкретные примеры творческих, инновационных решений городских проблем, так и обобщения и размышления о природе креативности. Основной вопрос — как создать среду, способствующую максимальному раскрытию человеческого потенциала — обсуждается в тесной связи с вопросами о том, какова должна быть эта идеальная творческая среда и как устроена деятельность человека в творческой среде.

В книге много тонких наблюдений, обобщающих частные примеры построения креативной среды и креативного действия. Вместе с тем автор признает, что на удивление мало известно о тех условиях, которые необходимы для проявления креативности и новаторства (с. 17).

* Сапонов Дмитрий Игоревич — MA in Sociology, преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук. Email: dsaponovi@yandex.ru

© Сапонов Д. И., 2012

© Центр фундаментальной социологии, 2012

Обозначим основные линии, вокруг которых группируются отдельные наблюдения.

Множественность перспектив

Множественность перспектив является одновременно и необходимым условием творческого действия, и его результатом. Творческие люди, утверждает автор, допускают множественность точек зрения и подходов, что позволяет им опираться на очень широкие ресурсы, комбинировать различные способности и знания. Важно не только принятие множественности точек зрения, но и возможность новой перспективы по отношению к привычному: «креативность не всегда связана с открытием нового, это еще и поиск нового применения старым вещам» (с. 30).

Для креативного решения проблемы необходимо одновременное присутствие двух перспектив, которые можно условно назвать «взгляд извне» и «взгляд изнутри». Эти перспективы часто являются взаимоисключающими, поэтому возникает задача их управления. Такая задача может быть поставлена как административная, если перспективы распределены в команде между ее членами. «Поиск правильного баланса между внутренним и внешним знанием — ключевая задача руководителя, — отмечает автор «Креативного города», — в лучшем случае внешний взгляд обеспечивает свежесть и прозрачность, а внутренний — глубокое знание ситуации; в худшем — внешний оказывается невежественным, а внутренний — устаревшим» (с. 172). Носителем внешнего взгляда является пришелец, или «Чужак». Быть таким чужаком, свободным от институционального давления и ограничений, смотреть на город свежим взглядом выпадает бизнес-инвестору, консультанту, посреднику или человеку, принимающему решения.

Развивая мысль автора, следует отметить, что проблема управления перспективами не всегда решается административно, это только одна из возможностей, а носители разных перспектив — не всегда разные люди. Управление перспективами может происходить во взаимодействии субъектов и культурных объектов и рассматриваться как аспект культурного процесса. Один из способов заставить культурный объект управлять перспективами — сделать его частью эстетического опыта. Поэтому сфера эстетического служит одним из важных ресурсов для исследования творческого действия, в том числе в социологическом ключе.

Новая перспектива, возникающая в результате творческого действия, является специфическим именно для творческого действия образованием, поэтому множественность перспектив — это не только условие креативного действия, но и его результат. Новая перспектива, будучи результатом творческого действия, становится залогом его завершенности. Поясним последнее утверждение, обратившись к метафорической оппозиции «Черновик без подписи — Беловик», которую Бахтин использует в работе «К философии поступка». Речь идет о различных установках по отношению к действию. Набор лежащих на поверхности ассоциаций, которые очерчивают сложную проблематику, связанную с этим различием, таков: черновик без

подписи — символизирует действие анонимное, безответственное, незавершенное, потому что предполагается возможность сделать заново, переписать. Черновик откладывает действие на потом, на неопределенный срок, поэтому действием не является. Незавершенность чревата бесконечным непродуктивным повторением и т. д. С другой стороны, беловик представляется результатом ответственного, необратимого действия. Действия рискованного, потому что заранее не предрешено, закончится оно провалом или успехом. Действием, рассчитанным на ответную реакцию и ориентированным относительно ответной реакции. Собственно, действием здесь и сейчас. Действием, на которое поставлена печать автора раз и навсегда, и т. д.

Для того чтобы соотнести данный пример с параметрами творческого действия, можно воспользоваться принципом множественности перспектив творческого действия. Черновик и беловик содержательно могут не отличаться. Черновик может быть менее совершенен по своему содержанию, чем беловик, но не обязательно. Может случиться и наоборот: черновик идеален, но он остается черновиком. Ему не хватает лишь подписи. Беловик имеет массу недостатков, но это беловик, потому что у него есть подпись. Так что же различает черновик и беловик? *Их различает форма подачи или установка по отношению к действию (результату действия).*

Действие предполагает определенную перспективу по отношению к элементам действия, из этой перспективы производится уточнение целей, взвешивание и оценка средств, осознание ценностей. Назовем ее *перспективой содержания (взгляд изнутри)*. Предъявление результата в качестве чистовика неизбежно предполагает существенно иную перспективу, удерживающую действие целиком, а не отдельные его элементы. Действие целиком является ее содержанием, сама перспектива содержит утверждающий эмоционально-волевой компонент. Комплексным выражением этой перспективы является форма подачи результата действия как беловика. Назовем эту перспективу *перспективой формы (взгляд извне)*.

Перспектива содержания и перспектива формы неизбежно находятся в конфликтных отношениях друг к другу. Перспектива содержания требует детального уточнения всех обстоятельств, учета новых обстоятельств, которые существуют, но мы о них не знаем, а также учета тех обстоятельств, которые появятся в будущем. Перспектива формы требует подвести черту и завершить то, что из перспективы содержания завершить невозможно.

Самый естественный и простой способ завершить действие — начать пользоваться его результатом. При этом автоматически происходит *смена перспективы*. Мы заканчиваем действие именно тогда, когда начинаем пользоваться его результатом, как бы несовершенен он ни был. И наоборот, если пользоваться пока нельзя, значит, действие не завершено. Отсюда завешанные, прикрытые от взглядов произведения искусства, над которыми художник еще не закончил работу.

Но в тот момент, когда мы начинаем пользоваться результатом действия, создаются условия, когда этим результатом могут воспользоваться и другие. Мы занимаем такую перспективу по отношению к результату, которая принципиально не отличается от перспективы других.

Следовательно, возникновение новой перспективы в качестве результата творческого действия позволяет сформулировать еще один признак завершенного действия — предъявление другим результата и возможность оценки результата другими. В данном примере результат действия, «беловик», является эстетическим объектом, по отношению к которому занимается новая перспектива. Таким образом, момент завершения творческого действия совпадает, с одной стороны, с моментом предъявления другим результатов действия, с другой стороны — с моментом завоевания новой перспективы по отношению к результату действия.

Приведенный нами пространственный пример призван продемонстрировать в общем-то очевидную вещь: в ясно осознаваемом завершении действия присутствует творческий момент, уходящий корнями в сферу эстетической реакции на результат действия, основным элементом которой является соотнесенность как минимум с двумя разными перспективами.

Результат творческого действия состоит из двух частей: первая часть — новый культурный объект, вторая часть — новая перспектива. С точки зрения управленца, первая часть оборачивается инфраструктурной проблемой, вторая — кадровой.

Окружающий мир как ресурс

Помимо множественности перспектив необходимым элементом творческого действия является взгляд на окружающий мир как на ресурс, содержащий скрытые возможности. Этот взгляд отличается от привычной схемы «цель — средство». Ресурсом для такого взгляда может стать все что угодно: природные явления, культурные объекты, социальные группы. «Поиск решений в проблемных ситуациях показывает, что буквально любая вещь может рассматриваться как ресурс развития. Например, финский город Кеми, расположенный на Полярном круге, страдал от сильной безработицы, так как его экономика почти целиком зависела от не очень успешной бумажной фабрики. Здесь главным активом стали снег и холод, благодаря которым удалось построить самый большой в мире снежный дворец. Эффект этого проекта превзошел все самые смелые ожидания» (с. 32). Принцип «сделать что-то из ничего» стал руководством к действию для тех, кто развивает уродливые, холодные, знойные города или иные маргинальные места.

Согласно Лэндри, центральное место в творческом действии занимают культурные объекты в роли культурных ресурсов. Помимо функции управления перспективами, которая должна рассматриваться в эстетической плоскости, у культурного объекта есть и еще одна важная функция. Культура является хранилищем скрытых возможностей, которые должны быть обнаружены и задействованы в ходе творческого действия.

Автор «Креативного города» понимает креативность как процесс выявления скрытых возможностей и творческого использования их потенциала. Немаловажен также и динамический аспект креативности, его связь с контекстом, с конкретной исторической ситуацией. Проект, чрезвычайно креативный для своего времени, со-

вершенно не обязательно будет таковым в другой ситуации и в другой исторический период (с. 37). Например, в определенный момент идея возрождения городов через развитие культурных индустрий была креативна для Сплита в Хорватии или Бургаса в Болгарии, в то время как для Шеффилда или Мельбруна она была уже общим местом (с. 41).

Идея выявления скрытых возможностей и привязка творческого действия к конкретному месту и времени, к конкретной ситуации тесно связаны друг с другом. Существует несколько перспектив рассмотрения культурных объектов. К ним можно относиться как к вещам, как к автономным, неподвижным ценностям и как к скрытым возможностям. Только последняя перспектива подразумевает такое взаимодействие с культурным объектом, которое приводит к смене перспективы. Таким образом, согласно принципу множественности перспектив, именно эта перспектива в наибольшей степени соответствует творческому действию. Итак, рассмотрение культурного объекта в качестве ресурса — вот принцип, позволяющий автору увязать культуру и творческое действие: «Культурные ресурсы — это материал, используемый для создания базовых ценностей города, сырье, которое приходит сегодня на смену углю, стали и золоту. Креативность — метод **эксплуатации и возобновления** этих ресурсов» (с. 30). Иными словами, культура одновременно есть и условие, и результат креативности.

Выявление скрытых возможностей предполагает конкретные культурные, социальные или природные ресурсы и ситуации, возможности которых выявляются. Поскольку креативные решения привязаны к конкретным культурным ресурсам, находящимся в определенном пространстве и времени, они отличаются неуниверсальностью. Отсюда невозможность их тиражирования, переноса в другую культурную ситуацию.

Поиск возможностей обеспечивает проактивность, а не реактивность действия. Согласно Лэндри, не требуется наступления проблемной ситуации, которая служит спусковым крючком креативного действия. В этом он расходится с прагматистской трактовкой креативности: «Креативность атакует не только общепризнанные проблемы, но и то, что всех вполне устраивает» (с. 38). «Принцип „не надо чинить, пока не сломалось“ может быть в чем-то житейски оправданным, однако развитию современных городов он приносит больше вреда, чем пользы. Когда власти лишь реагируют на уже возникшие проблемы, они, в сущности, идут на поводу у этих проблем и вынуждены решать их методами, которые подсказывают сами эти проблемы. В результате они продвигаются от кризиса к кризису и занимаются вчерашними проблемами, а не завтрашними **возможностями**» (с. 85).

Креативным решениям, создающим новый тип инфраструктуры, часто сопутствует возникновение образовательной среды. Точнее, корпоративная культура трансформируется, приобретая черты образовательной среды (с. 172 и далее). Креативная деятельность не только создает инновации, но и меняет действующего, развивает определенные способности, например, готовность к непрерывному обучению. Организация может удовлетворить эти запросы, если ее корпоративная культура до-

пускает и поддерживает частичное преобразование организации в образовательную среду. Важное наблюдение, обосновывающее необходимость образовательной среды, состоит в том, что решение проблемы извне не может быть креативным. В решении проблемы должны быть задействованы те, чьи проблемы решаются. Для этого нужно суметь увидеть в сообществе, проблемы которого решаются, ресурс, а не головную боль. А это требует совмещения разных перспектив. «Необходимо каким-то образом привлекать к решению проблем тех, кого они непосредственно касаются. Решение проблем внешними средствами ведет к формированию нестабильных решений, поскольку не принимает во внимание необходимость обучения самих членов общества. Только работа изнутри сообщества, включающая обучение и механизмы взаимопомощи, может принести устойчивые результаты» (с. 60).

Здесь мы опять видим, уже на другом примере, важность различия «извне — изнутри» для творческого действия. В последнем примере речь идет о том, что внешний взгляд при решении проблем сообщества должен быть дополнен внутренним взглядом самого сообщества. Причем речь идет не о механической сумме этих перспектив, а о столкновении, которое может, но не обязано приводить к результату, весьма неожиданному для участников действия.

Риск

Мы подошли к такой важной особенности творческого действия, как непредсказуемость результата. Почему результат творческого действия непредсказуем? Возможно, непредсказуемость результата творческого действия кроется в его конфликтной природе. Мы показали, что важнейшим элементом творческого действия является множественность перспектив. Каждая перспектива имеет собственную логику, и результат творческого действия — это результат конфликтного противостояния разнородных перспектив. Исход противостояния нельзя просчитать, отсюда непредсказуемость результата, отсюда взрывной, а не постепенный характер изменений, к которым приводит творческое действие. Непредсказуемость результата творческого действия на уровне теоретической модели оборачивается на уровне практической реализации высоким уровнем риска, который, будучи вполне экономической категорией, может быть параметром эконометрических моделей эффективности. По сути, высокий уровень риска и означает неконтролируемость процесса.

Лэндри отмечает рискованность креативного действия, но не связывает ее с принципиальной неподконтрольностью, коренящейся в столкновении разнородных перспектив. «Смелые, новаторские, полные воображения ответы на острые вопросы предполагают риск и возможность провала. В большинстве организаций, особенно государственных, к риску относятся неодобрительно, а неудачи считают неприемлемыми... Боязнь риска нередко значит, что в организации нет аналитического механизма, предотвращающего будущие неудачи» (с. 175–176).

Готовность к риску характеризует участников креативного действия не только на уровне организаций, но и на индивидуальном уровне. В этом случае готовность к ри-

ску проявляется в повышении мобильности, готовности к непрерывному обучению. Адекватная корпоративная культура для такой ситуации будет, как мы отмечали выше, содержать элементы образовательной среды, ориентированной на сотрудников или на социальные группы, которые рассматриваются как ресурс креативного действия.

Преодоление социальной эксклюзии

Показательно, что из трех десятков инновационных проектов по обустройству городской среды, которые приводит в качестве примеров Лэндри, 10 проектов направлены на преодоление эксклюзии определенных социальных групп. Это не случайно: одна из насущных задач городской креативности, считает Лэндри, — адаптация социально незащищенных людей (с. 73). Из десяти проектов три направлены на преодоление социальной эксклюзии пожилых. Приведем описание этих проектов.

1. *Воспитание гражданственности через связь поколений* (Нью-Йорк, США).

«Утрата ценностей традиционных сообществ увеличивает важность взаимопонимания между поколениями, необходимого для оседлой городской жизни. В больших городах пожилые люди часто теряют работу, доходы, уважение, значимость и оказываются в изоляции. В течение более чем десяти лет в нью-йоркском районе Бруклин развивается программа „Старшие делятся искусством“ (Eiders Share the Arts), которая связывает культуры и поколения.

Один из их проектов в рамках этой программы — „Зачем голосовать?“ (Why Vote?) — был осуществлен совместно силами учащихся Бруклинской церковноприходской школы и членами Бушвикского клуба пожилых людей. Вместе они сочинили и поставили музыкальную пьесу о контрастах в истории борьбы за избирательное право. В серии песен и монологов нашли отражение различные позиции — от битвы за право голосовать в сельских районах Юга до безразличного отношения к выборам, свойственного современным горожанам. Весь материал, положенный в основу пьесы, базировался на подлинных историях, почерпнутых из аутентичных источников и обсуждавшихся вместе пожилыми и юными участниками проекта.

В другом проекте, осуществленном в рамках этой программы, различные сообщества Бруклина выбирали из своих рядов пожилых рассказчиков для группы „Жемчужины мудрости“ (Pearls of Wisdom). Их задача была собирать и рассказывать истории. „Жемчужины“ устраивают большие туры по Нью-Йорку и задают людям различные вопросы, например: „Что такое городское сообщество?“, „Как сделать его жизнеспособным?“ и т. д. В своей последней акции „Учиться видеть“ они попросили ряд пожилых людей и подростков нарисовать карту своего района, выделяя на ней места, имеющие для них большое значение: для одних это оказалась поликлиника, для других — магазин видео или школа. Затем они все вместе обсудили результаты и нарисовали обобщенную карту района, добавив в нее изменения, которые им хо-

телось бы в нем видеть. Впоследствии они использовали эту карту, чтобы добиться соответствующих изменений» (с. 58).

2. *«Бабушка напрокат»: восстановление связи поколений путем использования свободного времени пенсионеров* (Берлин, Германия).

«Перегруженные работой женщины в Берлине нашли новое решение проблемы высокой стоимости услуг нянь и гувернеров для своих детей. Занятые родители теперь могут вызывать „бабушек и дедушек“, которые менее чем за 3 евро в час, а зачастую и вовсе бесплатно, посидят с их детьми. „Служба бабушек и дедушек по вызову“, возникшая в городе в 1998 году, имела огромный успех и вскоре открыла еще один филиал. Это агентство налаживает связи между молодыми семьями и пожилыми женщинами (или пожилыми парами), которые зачастую перерастают в долгосрочные отношения пожилых людей с детьми и их родителями. У пожилых людей в результате появляются новые смыслы жизни. „Бабушки по вызову“ работают не больше 20 часов в неделю. Как считает директор агентства Росвита Винтерштайн, секрет успеха ее фирмы в том, что они учитывают интеллектуальные и социальные аспекты при налаживании связей. Единственная проблема заключается в том, что настоящие бабушки и дедушки порой начинают ревновать своих внуков к нанятым бабушкам» (с. 74).

3. *Пожилые люди охраняют здоровье бедняков* (Манила, Филиппины).

«Проблемы пожилых людей редко появляются на повестке дня в городах-гигантах. В Маниле более 200 организаций занимаются проблемами бездомных детей, но проблемы стариков, кажется, никого не волнуют. В такой ситуации проект „Коалиция услуг, предоставляемых пожилыми людьми“ (Coalition of Services of the Elderly) выглядит совершенно новаторским. В рамках этого проекта каждая община сквоттеров Манилы выдвинула из своих рядов по два пожилых человека на должности „общественных геронтологов“. В течение трех дней врачи, стоматологи и медсестры обучали их навыкам первой помощи и профилактики заболеваемости среди стариков. Вооруженные докторским чемоданчиком, в котором есть градусник, приборы для измерения давления и содержания сахара в крови, инструменты для стоматологического осмотра и основные лекарства, общественные геронтологи работают в качестве ценных и в то же время недорогих посредников между профессиональными медиками и скептически настроенными по отношению к медицине сквоттерами. Регулярный мониторинг гарантирует, что они поддерживают и развивают свои навыки. А члены их общин стали более здоровыми» (с. 111).

Общим для всех проектов, преодолевающих социальную эксклюзию пожилых, становится вовлечение пожилых в социальную, творческую активность через смену установки по отношению к ним у остальных членов общества. В рамках традиционной установки пожилые воспринимаются как обуза и объект материальной помощи. Новая установка, попытки сформировать которую мы привели выше, рассматривает пожилых как ресурс для обустройства жизни.

Итак, что мы можем сказать о творческом действии, прочитав книгу «Креативный город»?

Во-первых, творческое действие — это действие, которое характеризуется множественностью перспектив и требует управления перспективами. С позиции менеджера задача управления перспективами может быть решена административно. Если развить эту линию рассуждений Лэндри и рассматривать креативное действие как звено культурного процесса, то вполне логично закрепить управление перспективами за культурным объектом. Культурный объект начинает управлять перспективами в тот момент, когда становится эстетическим объектом. Таким образом, в рамках социологического исследования эстетическую реакцию можно рассматривать в контексте теории креативного действия.

Во-вторых, творческое действие чувствительно к уникальному культурному ландшафту, использует конкретную культуру как ресурс и сопротивляется тиражированию и переносу на другую культурную почву. Это действие, имеющее непредсказуемые и непросчитываемые последствия, требующее принятия риска, часть которого состоит в изменении перспективы и даже идентичности действующего.

В-третьих, творческое действие не является движением к цели в пространстве средств в том смысле, что средства, будучи культурными объектами, обладают собственной логикой, которая направляет действующего. В результате действующий движется не в точности к цели, а под некоторым углом к желаемому направлению, хорошо если небольшим. Более того, культурные объекты могут менять перспективу действующего и переопределять цель.

Еще одна интересная особенность книги, на которую в заключение хочется обратить внимание: рассуждая о креативности, автор не опирается на социологические или философские ресурсы. Говоря о «Чужаке», Лэндри не вспоминает ни Зиммеля, ни Шюца. Его рассуждения выглядят как обобщение эмпирического материала, одобренное здравым смыслом практика. Например, такой пассаж: «Городские проблемы складываются из совокупности частных жизненных дилемм, каждая из которых представляет фрагмент опыта сообщества, в котором происходит гражданская, публичная жизнь индивида. Эта жизнь находится в зависимости от финансовых, экономических и политических структур национального и наднационального уровня, совершенно неподконтрольных отдельным людям. Они воздействуют на жизнь индивидов, делая их невольными участниками функционирования представительских и корпоративных структур, управляемых безымянными — частными или государственными — организациями. Восстановление этих потерянных связей и есть, наверное, главная задача креативной деятельности» (с. 57). Действительно, это же очевидно, ссылка на классиков уже не требуется...

Leo Strauss: The Art of Writing and the Art of Reading

Alexander Pavlov

Assistant Professor, National Research University Higher School of Economics
20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: apavlov@hse.ru

The paper is a foreword for Russian edition of one of the most important political and philosophical texts by political philosopher Leo Strauss, "Persecution and the art of writing". The author explains the meaning of the text and describes Strauss' hermeneutics and rules of interpretation. We introduce Slavoj Žižek's original position on Strauss' view of exoterism and esoterism. Žižek writes in detail about Strauss' views in the appendix of his book *Iraq: The Borrowed Kettle*. Author tries to answer the question whether Leo Strauss himself could write "between the lines" and whether he had reasons for it. He makes the conclusion that Leo Strauss not only could but did write esoterically. Author tries to fundamentally substantiate what Leo Strauss' reasons were and explains why exactly he could write esoterical language. Author believes that Strauss used this method already in earliest English-language book *On Tyranny*. In addition author states that "esoteric" Strauss was mentioned in the early career of the German-American immigrant philosopher Eric Voegelin, who understood the methodology of writing "between the lines" better than others. But what was written by Strauss "between the lines" will be a subject of another investigation.

Keywords: Strauss, Voegelin, art of writing, political philosophy, Žižek, compulsion, persecution, censorship

References

- Kojève A. (1950) L'action politique des philosophes. *Critique*, no 6, pp. 46–55, 138–155.
- Miller J.-A. (2011) *Zhizn' Lakana, predlagaemaja vnimaniju prosveshhennoj publiki* [Life of Lacan, Addressed to an Enlightened Public], Moscow: Gnozis.
- Norton A. (2004) *Leo Strauss and the Politics of American Empire*, New Haven: Yale University Press.
- Pavlov A. (2011) O tiranii i iskusstve pis'ma [On the Tyranny and the Art of Writing]. *Sociologicheskoe obozrenie*, vol. 10, no 3, pp. 115–124.
- Strauss L. (1941) Persecution and the art of writing. *Social Research*, vol. 8, no 4, pp. 488–504.
- Strauss L. (1952) *Persecution and the Art of Writing*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (2000) *On Tyranny*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (2000) Tri volny sovremennosti [The Three Waves of Modernity]. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiju* [An Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praksis, pp. 68–81.
- Strauss L. (2006) *O tiranii* [On Tyranny], Saint-Petersburg: SPbGU.
- Strauss L. (2007) *Estestvennoe pravo i istorija* [Natural Right and History], Moscow: Vodolej.
- Vogelin E. (2011) "O tiranii" Leo Straussa ["On tyranny" by Leo Strauss]. *Sociologicheskoe obozrenie*, vol. 10, no 3, pp. 125–130.
- Žižek S. (2004) *Irak: istorija pro chajnik* [Iraq: The Borrowed Kettle], Moscow: Praksis.
- Žižek S. (2007) *Ustrojstvo razryva. Parallaksnoe videnie* [The Parallax View], Moscow: Evropa.

Persecution and the Art of Writing

Leo Strauss

Elena Kukhar
(translator)

Independent Researcher
Moscow, Russian Federation
E-mail: alenooshka@mail.ru

Leo Strauss' "Persecution and the art of writing" is one of the most important philosophical and political texts of the 20th century. The 1941 article in 1952 became a key part of the expanded eponymous book that would become the greatest source of specific methodology of studying the texts of the great philosophers: Plato, Aristotle, Hobbes, Machiavelli, Locke, etc. In this article Strauss suggests to read "great texts" exoterically and esoterically, that is, to read "between the lines" to better understand the authors' ideas. According to Strauss, the philosophers and "attentively book-reading intellectuals" who tried to tell the truth to society had reasons to fear persecution by the authorities or the social environment ranging from social stigma to the death penalty. Therefore, some philosophers, even in the "most liberal" historical periods have used a special type of "writing", the esoteric one. Authors do not use this method every time, but Strauss proves that there were reasons for great philosophers to write "between the lines", and tries to give us the means to see when it happened. Strauss considers Niccolo Machiavelli as one of the philosophers who could write between the lines. Strauss' article was not only regarded by historians as a central directive for working with texts, but also used as an accusation of Strauss himself for his "esoteric" writing. The article and the eponymous book have spawned controversy about the legacy of Leo Strauss.

Keywords: interpretation, art of writing, esoterism, compulsion, persecution, truth, exoterism, history of political philosophy

References

- Bertolini (1875) *Analyse raisonnee de l'Esprit des Lois*. Montesquieu. *Oeuvres completes*, T. 3, Paris: Garnier, pp. 1–62.
- Blackstone W. (1765–1769) *Commentaries on the Laws of England*, Oxford: Clarendon Press.
- Carlyle A.J., Carlyle R. (1927) *A History of Mediaeval Political Theory in the West*, Edinburgh: William Blackwood and Sons.
- Catlin G.E.G. (1922) *Thomas Hobbes as Philosopher, Publicist, and Man of Letters*, Oxford: Blackwell.
- Cicero (1975) *Tuskulanskie besedy* [Tusculan Disputations]. *Izbrannye sochinenija* [Selected Works], Moscow: Hudozhestvennaja literatura, pp. 207–357.
- Descartes R. (1989) *Rassuzhdenie o metode, chtoby verno napravljat' svoj razum i otyskivat' istinu v naukah* [Discourse on the Method of Rightly Conducting One's Reason and of Seeking Truth in the Sciences]. *Sochinenija*, T. 1 [Works, Vol. 1], Moscow: Mysl, pp. 250–294.
- Edelstein L. (1937) Greek medicine in its relations to religion and magic. *Bulletin of the Institute of the History of Medicine*, vol. 5, pp. 201–246.
- Gauthier L. (1909) *La theorie d'Ibn Rochd (Averroes) sur les rapports de la religion et de la philosophie*, Paris: E. Leroux.

- Gauthier L. (1928) Scolastique musulmane et scolastique chretienne. *Revue d'Histoire de la Philosophie*, no 2, pp. 221–253, 333–365.
- Grotius H. (1956) *O prave vojny i mira: tri knigi* [On the Law of War and Peace: Three Books], Moscow: Juridicheskaja literatura.
- Grant A. (1874) *The Ethics of Aristotle*, London: Longman, Green & Co.
- Hobbes T. (1839) *The English Works*, Vol. 6, London: John Bohn.
- Honigswald R. (1924) *Hobbes und die Staatsphilosophie*, Munchen: Reinhardt.
- Jaefier W. (1934) *Aristotle: Fundamentals of the History of His Sevelopment*, Oxford: Claredon Press.
- Laboulaye E. (1875) Introduction a l'Esprit des Lois. Montesquieu. *Oeuvres completes*, T. 3, Paris: Garnier, pp. i–lxix.
- Lessing (1925) Ernst und Falk. *Werke*, Vol. 21, Berlin: Bong.
- Lessing (1925) Leibniz von den ewigen Strafen. *Werke*, Vol. 21, Berlin: Bong.
- Lessing (1925) Von Duldung der Deisten H.P. Remarius: Fragment eines Ungenannten. *Werke*, Vol. 22, Berlin: Bong.
- Lubienski Z. (1932) *Die Grundlagen des ethisch-politischen Systems von Hobbes*, Munchen: Reinhardt.
- Machiavelli N. (2004) Rassuzhdenija o pervoj dekade Tita Livija [Discourses on the First Ten Books of Titus Livy]. *Sochinenija istoricheskije i politicheskie. Sochinenija hudozhestvennyje. Pis'ma* [Historical and Political Works. Literary Works. Correspondence], Moscow: AST, Pushkinskaja biblioteka, pp. 136–468.
- MacLeish A. (1940) Post-war writers and pre-war readers. *New Republic*, vol. 102, pp. 789–790.
- Meinecke F. (1936) *Die Entstehung des Historismus*, Munchen: R. Oldenbourg.
- Montesquieu. (1875) *Oeuvres completes*, Vol. 6, Paris: Garnier.
- More Th. (1935) *Utopija* [Utopia], Moscow, Leningrad: Academia.
- Plato (1990) Apologija Sokrata [Apology of Socrates]. *Sobranie sochinenij*, T. 1 [Collected Works, Vol. 1], Moscow: Mysl, pp. 70–96.
- Plato (1994). Gosudarstvo [Republic]. *Sobranie sochinenij*, T. 3 [Collected Works, Vol. 3], Moscow: Mysl, pp. 79–420.
- Plato (1994) Timej [Timaeus]. *Sobranie sochinenij*, T. 3 [Collected Works, Vol. 3], Moscow: Mysl, pp. 421–500.
- Plato (1994) Sed'moe pis'mo [Seventh Letter]. *Sobranie sochinenij*, T. 4 [Collected Works, Vol. 4], Moscow: Mysl, pp. 475–504.
- Renan E. (1866) *Averroes et l'averroisme: essai historique*, Paris: M. Levy.
- Sabine G.H. (1937) *A History of Political Theory*, New York: H. Holt.
- Schleiermacher F. (1804) *Platons Werke*, Vol. 1, Berlin: Realschulbuchhandlung.
- Shotwell J. T. (1939) *The History of History*, New York: Columbia University Press.
- Spinoza B. (1934) *Traktat ob usovershenstvovanii razuma* [A Treatise on the Improvement of the Understanding], Leningrad: GAIZ.
- Spinoza B. (1935) *Bogoslovsko-politicheskij traktat* [A Theologico-Political Treatise], Moscow: GAIZ.
- Strauss L. (1930) *Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft*, Berlin: Akademie.
- Taylor J. (1671) *Ductor dubitantium, or, The rule of conscience in all her general measures; serving as a great instrument for the determination of cases of conscience*, London: Royston.
- Toennies F. (1925) *Thomas Hobbes leben und lehre*, Stuttgart: Frommann.

Vaughan V. E. (1939) *Studies in the History of Political Philosophy*, Manchester: Manchester University Press.

Zeller E. (1897) *Aristotle and the Earlier Peripatetics*, London: Longmans & Green.

The Debate about the Foundations of the Political, or, Leo Strauss versus Carl Schmitt

Timofey Dmitriev

Assistant Professor, National Research University Higher School of Economics
20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: t-dmitriev@yandex.ru

Schmitt and Strauss are often discussed in literature as if their conceptions of political had nothing in common. But as the author shows, Heinrich Meier careful study of the relation between Schmitt and Strauss tells us that the three editions of Schmitt's *Concept of Political* and Strauss' *Comments* (1932) may be seen as largely overlooked "hidden dialogue". In his *Comments* Strauss highly praised Schmitt for his affirmation of political and its constitutive role in the human existence in the face of its liberal negation. For Schmitt, the fundamental problem of liberalism was that it denounces the distinction between political, economy and morality and reduces the political to these other dimensions of human life. So understood, modern liberalism has a tendency to deny the sovereignty of the state and the existence of political as a higher instance of the human existence. Strauss' main disagreement with Schmitt in this "hidden dialogue" was that his critique of liberalism was not radical enough because Schmitt failed to recognise that not philosophers of Enlightenment but Hobbes was actually the "founder of liberalism" and the apologist of the "idea of civilization". According to Strauss, the first step in the radical critique of liberalism begins with the recognition of the naturalness of political, but such a step presupposes the return to the classical vision of politics. Therefore in his discussion and critique of Schmitt's *Concept of Political* Strauss defences the naturalness of the political and attempts to understand and defend the Socratic way of life as the realization of the philosophical love of truth.

Keywords: Schmitt, Strauss, political philosophy, political theology, political, critique of liberalism

References

- Beneton Ph. (2002) *Vvedenie v politicheskuyu nauku* [Introduction to Political Science], Moscow: ROSSPEN.
- Filippov A. (2009) Politicheskaja sociologija: problema klassiki [Political Sociology: The Problem of Classic]. *Klassika i klassiki v social'nom i gumanitarnom znanii* [Classic and Classics in Social and Humanitarian Knowledge] (eds. I. Savelieva, A. Poletaev), Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 181–209.
- Hobbes T. (1991 [1651]). *Levifan, ili Materija, forma i vlast' gosudarstva cerkovnogo i grazhdanskogo* [Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil]. *Sochinenija, T. 2* [Collected Works, vol. 2], Moscow: Nauka, pp. 3–545.
- Lefort C. (2000) *Writing: The Political Test*, Durham: Duke University Press.
- Meier H. (2012) *Carl Schmitt, Leo Strauss i "Ponjatie politicheskogo"* [Carl Schmitt, Leo Strauss and "The Concept of Political"], Moscow: Skimen.
- Schmitt C. (1927) Der Begriff des Politischen. *Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 58, no 1, pp. 1–33.
- Schmitt C. (1931) *Der Huter der Verfassung*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (1950) *Ex captivitate salus*, Koln: Greven Verlag.
- Schmitt C. (1992 [1932]) *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of Political]. *Voprosy sociologii*,

- no 1, pp. 35–67.
- Schmitt C. (2000 [1922]) *Politicheskaja teologija* [Political Theology], Moscow: Kanon-Press.
- Strauss L. (1932) Anmerkungen zu Carl Schmitt's "Der Begriff des Politischen". *Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 67, no 6, pp. 732–749.
- Strauss L. (1953) *Natural Right and History*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1965 [1932]) *Spinoza's Critique of Religion*, New York: Schocken.
- Strauss L. (1978 [1964]) *The City and Man*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (1988) *What Is Political Philosophy?*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strauss L. (2000) O klassicheskoy politicheskoy filosofii [On Classical Political Philosophy]. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiju* [Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praxis, pp. 50–67.
- Strong T. B. (2007) Foreword: dimensions of the new debate around Carl Schmitt. Schmitt C. *The Concept of Political*, Chicago: University of Chicago Press, pp. ix–xxxi.

Glossarium

Carl Schmitt

Yuri Korinets
(translator)

Research Fellow, National Research University Higher School of Economics
20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: korinetz7@mail.ru

This article is another fragment of Carl Schmitt's diaries written in January 1948. Main topics of Schmitt's records are the following: (1) The complexity of his personal situation. He mentions the troubles that have plagued him since the second half of the 1930s. The pressure from the Nazi regime was replaced by imprisonment and accusations by the victorious Allies. (2) The significance of the early modern philosophy. In addition to Hobbes whom he mentions very often, Schmitt considers the moral and political writings of Francis Bacon who influenced Hobbes so much. (3) Schmitt considers German idealism paying attention to Hegel's remark that even the most evil in humans as superior to nature. He demonstrates the connection between this question and the later writings of Max Weber. An assumption is made about the future catastrophic effects of the collapse of this philosophy. (4) S. Butler's dystopia "Erewhon" is addressed, the questions of technology and technocracy are formulated.

Keywords: Carl Schmitt, technics, Francis Bacon, Rainer Maria Rilke, Walt Whitman, machines, brave new world

“The Only Voice that Government Gives Ear to”

Evgeny Emelyanov

Graduate Student, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
16 Kovalevskoj Str., Ekaterinburg, Russian Federation 620990
Email: sverdlovsk89@mail.ru

Andrey Teslya

Assistant Professor, Pacific National University
136 Tihookeanskaya Str., Khabarovsk, Russian Federation 680035
Email: mestr81@gmail.com

The published letter of Y. Samarin to A. Herzen is dated May 9, 1858. The first years of reign of Alexander II appeared to be the period of social revival. The atmosphere of upcoming reforms significantly changed the old attitudes and led to the unexpected rapprochements, including Herzen's rapprochement with the Slavophiles. This rapprochement was stimulated not only by practical reasons, but also by the ideological proximity that reached its peak in 1857–1858. The closest to Herzen's views at this time were the position of I. Aksakov, who started to actively contact Herzen and send him his works. Despite different view of the past, Herzen and Slavophiles turned to be very close in their visions of the future. At the same time, Slavophiles significantly modified their views in 1856, as the possibilities of practical action started to open, and began to compromise for partial realization of their goals. Samarin responded to the publication of the chapter of Herzen's *My Past and Thoughts*, that contained the recollections of Moscow Slavophiles, by challenging some Herzen's evaluations and simultaneously proposing a compromised vision of “common past”, focused on the shared tasks. Though the dialogue, indicated in the letter, didn't take place (Herzen actually did not close the dialogue in his answer to Samarin given in the letter to Aksakov), Herzen took some remarks of the interlocutor into account and made some adjustments to the image of the Slavophiles in next edition of *My Past and Thoughts* (1861).

Keywords: Samarin, Herzen, Aksakov, narodnichestvo, nationalism, Slavophiles

References

- Aksakov I. (1886) *Sochinenija, T. 3* [Works, Vol. 3], Moscow: Tipografija M.G. Volchaninova.
- Ananich B. (ed.) (2006) *Vlast' i reformy: ot samoderzhavnoj k Sovetskoj Rossii* [Power and Reform: From Autocratic to Soviet Russia], Moscow: OLMA-PRESS Jekslibris.
- Bazileva Z. (1949) “Kolokol” *Herzena (1857–1867 gg.)* [Herzen's “Kolokol” (1857–1867)], Moscow: OGIZ, Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury.
- Belinsky V. (1983) *Sobranie sochinenij, T. 9* [Collected Works, Vol. 9], Moscow: Hudozhestvennaja literatura.
- Chicherin B. (1858) O nastojashhem i budushhem polozhenii pomeschich'ih krest'jan [On the Present and Future Stance of Landowners' Peasants]. *Athenei*, vol. 1, pp. 486–526.
- Chicherin B. (2010) *Vospominanija, T. 1* [Memoirs, Vol. 1], Moscow: Izdatel'stvo im. Sabashnikovyh.
- Dmitriev M. (1998) *Glavy iz vospominanij moej zhizni* [Chapters from Memories of My Life], Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- Dudzinskaja E. (1983) Slavjanofily i Herzen nakanune reformy 1861 goda [Slavophiles and Herzen on the Eve of 1861 Reform]. *Voprosy istorii*, no 11, pp. 43–59.

- Egolin A. et al. (eds.) (1953) *Literaturnoe nasledstvo, T. 61: Gercen i Ogarjov* [Literary Heritage, Vol. 61: Herzen and Ogarev], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Egorov B., Pentkovsky A., Fetisenko O. (eds.) (2011) *“Russkaja beseda”: istorija slavjanofil'skogo zhurnala: Issledovanija. Materialy. Postatejnaja rospis'* [“Russkaya Beseda”: History of the Slavophile Magazine: Research. Materials. Annotated Index of Contents], Saint-Petersburg: Pushkinskij dom.
- Eidelman N. (1966) *Tajnye korrespondenty “Poljarnoj zvezdy”* [Secret Reporters of “Polar Star”], Moscow: Mysl.
- Herzen A. (1954) *Sochinenija, T. 2* [Works, Vol. 2], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1954) *Sochinenija, T. 7* [Works, Vol. 7], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1956) *Sochinenija, T. 9* [Works, Vol. 9], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1957) *Sochinenija, T. 12* [Works, Vol. 12], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1958) *Sochinenija, T. 13* [Works, Vol. 13], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1961) *Sochinenija, T. 22* [Works, Vol. 22], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1962) *Sochinenija, T. 26* [Works, Vol. 26], Moscow: Izdatelstvo Akademii nauk SSSR.
- Herzen A. (1966) *Byloe i dumy* [My Past and Thoughts]. *Poljarnaja zvezda, Kniga 1* [Polar Star, Book 1], Moscow: Nauka.
- Malia M. (2010) *Aleksandr Herzen i proishozhdenie russkogo socializma, 1812–1855* [Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism], Moscow: Territorija budushhego.
- Milyukov A. (1956) *Znakomstvo s A.I. Herzenom* [My Acquaintance with A. Herzen]. *Gercen v vospominanijah sovremennikov* [Herzen in Recollections of Contemporaries] (ed. V. Putintsev), Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo hudozhestvennoj literatury, pp. 222–237.
- Motin S. (ed.) (2011) *Aksakov Ivan Sergeevich: materialy dlja letopisi zhizni i tvorchestva, Vyp. 3, Ch. 2* [Ivan Sergeevich Aksakov: Materials for the Chronicle of Life and Work, Issue 3, Part 2], Ufa: UYI MVD Rossii.
- Nechkina M., Rudnitskaya E. (eds.) (1974) *Golosa iz Rossii: sborniki A.I. Herzena i N.P. Ogareva, Vyp. 1* [Voices from Russia: Collections Published by A. Herzen and N. Ogarev, Issue 1], Moscow: Nauka.
- Nechkina M., Rudnitskaya E. (eds.) (1975) *Golosa iz Rossii: sborniki A.I. Herzena i N.P. Ogareva, Vyp. 4* [Voices from Russia: Collections Published by A. Herzen and N. Ogarev, Issue 4], Moscow: Nauka.
- Nolde B. (2003) *Yury Samarin i ego vremja* [Yury Samarin and His Time], Moscow: Eksmo.
- Ogareva-Tuchkova N. (1956) *Vospominanija* [Recollections]. *Gercen v vospominanijah sovremennikov* [Herzen in Recollections of Contemporaries] (ed. V. Putintsev), Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo hudozhestvennoj literatury, pp. 176–221.
- Passek T. (1963) *Iz dal'nih let: vospominanija, T. 1* [From Distant Years: Memoirs, Vol. 1], Moscow: Gosudarstvennoe izdatelstvo hudozhestvennoj literatury.
- Pertsev A. (2009) *Friedrich Nietzsche u sebja doma: opyt rekonstrukcii zhiznennogo mira* [Friedrich Nietzsche in His Home Environment: An Attempt at the Reconstruction of Life World], Saint-Petersburg: Vladimir Dal.
- Samarin Y. (1883) *Pis'mo k A.I. Herzenu* [Letter to A. Herzen]. *Vol'noe slovo*, no 59, pp. 10–12.
- Samarin Y. (1911) *Sochinenija, T. 12* [Works, Vol. 12], Moscow: Tipografija A.I. Mamontova.

- Samarin Y. (1997) *Stat'i. Vospominanija. Pis'ma: 1840–1876* [Articles. Memoirs. Correspondence: 1840–1876], Moscow: TERRA.
- Shchukin V. (2007) *Rossijskij genij prosveshhenija* [Russian Genius of the Enlightenment], Moscow: ROSSPEN.
- Sukhov A. (2009) *Literaturno-filosofskie kruzhki v istorii russoj filosofii (20–50-e gg. XIX v.)* [The Literary and Philosophical Circles in the History of Russian Philosophy (1820–50s)], Moscow: IF RAN.
- Teslya A. (2012) Zapreshhennaja 6-ja stat'ja I. S. Aksakova iz cikla “O vzaimnom otnoshenii naroda, obshhestva i gosudarstva” [The Censored Sixth Article by Ivan Aksakov from the Series “On the Mutual Relationship Between People, Society and State”]. *Sociologicheskoe obozrenie*, vol. 11, no 2, pp. 41–70.
- Tsimbaev N. (1978) *I.S. Aksakov v obshhestvennoj zhizni poreformennoj Rossii* [I.S. Aksakov in the Public Life of Post-Reform Russia], Moscow: MGU.
- Tsimbaev N. (2007) *Istoriografija na razvalinah imperii* [Historiography at the Ruins of Empire], Moscow: MUM.
- Tutcheva A. (2008) *Vospominanija: pri dvore dvuh imperatorov* [Memoirs: At Court of Two Emperors], Moscow: Zakharov.
- Walicki A. (1975) *The Slavophile Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-century Russian Thought*, Oxford: Clarendon Press.

Letter of Y.F. Samarin to A.I. Herzen (May 9, 1858)

Yuri Samarin

Alexander Herzen

Cultural Sociology and Watergate: “Politics Beyond Everyday”

Dmitry Kurakin

Leading Research Fellow, National Research University Higher School of Economics
20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: kourakine@gmail.com

Watergate as Democratic Ritual

Jeffrey Alexander

Professor of Sociology, Yale University
493 College Street, Room 203, New Haven, CT, USA 06511-8907
Email: jeffrey.alexander@yale.edu

Grigory Olkhovikov
(translator)

Assistant Professor, Ural Federal University
19 Mira Str., Ekaterinburg, Russian Federation 620002
Email: grigory.olkhovikov@gmail.com

The paper promotes a cultural sociological analysis of one of the most significant and hard-to-explain events in American history when the initial act of breaking and entering into the Democratic Party headquarters at the Watergate Hotel first didn't attract any substantial attention of contemporaries but later initiated a widespread political crisis. What is even more important, the wide national consensus was built as a result: deep cultural structures of American democracy, which had been implicit for the decades, came out on the surface of the public debates; the very event became major icon of political evil, widely recognizable and emotionally charged. That consensus removed the dissociation of the political and social life and partly harmonized conflicting groups of the public battles of the 1960s. Finally, it inspired several generations of Americans with belief in the advantages of contemporary democratic institutions, and seriously challenged Marxism as the major political authority of young American intellectuals. The very ability of a single event to process such extensive consequences in political mobilizing of various groups of people is one of the most important challenges for the contemporary social sciences. J. Alexander considers the dynamics, mechanisms and consequences of the event and its public resonance, building an explanatory model based on his cultural sociological theory. This model allows to reconstruct in detail the development and maintenance of the social consensus at the different levels of cultural structures and to explain its connection to the main elements of social and political context, public rituals and performances.

Keywords: cultural sociology, performance, sacred, profane, ritual, desecration, Watergate, scandal

References

- Alexander J.C. (1982) *Theoretical Logic in Sociology*, Berkeley: University of California Press.
Barber B. (1983) *The Logic and Limits of Trust*, New Brunswick: Rutgers University Press.
Bazin A. (1958) *Qu'est-ce que le cinema?*, Vol. 1, Paris: Cerf.
Dayan D., Katz E. (1988) Articulating consensus: the ritual and rhetoric of media events. *Durkheimian Sociology: Cultural Studies* (ed. J. Alexander), New York: Cambridge University Press, pp. 161–186.
Douglas M. (1966) *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, London: Routledge and Kegan Paul.
Eisenstadt P.N. (ed.) (1968) *The Protestant Ethic and Modernization: A Comparative View*, New York: Basic Books.
Eisenstadt P.N. (ed.) (1971) *Political Sociology*, New York: Basic Books.
Keller S. (1963) *Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in Modern Society*, New York: Random House.

- Lang G., Lang K. (1983) *The Battle for Public Opinion: The President, the Press, and the Polls during Watergate*, New York: Columbia University Press.
- Lipset S.M., Schneider W. (1983) *The Confidence Gap: Business, Labor and Government in the Public Mind*, New York: Free Press.
- Parsons T. et al. (1955) *Family, Socialization and Interaction Process*, Glencoe: Free Press.
- Schudson M. (1992) *Watergate in American Memory: How We Remember, Forget and Reconstruct the Past*, New York: Basic Books.
- Shils E. (1975) *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*, Chicago: University of Chicago Press.
- Smelser N. (1959) *Social Change in the Industrial Revolution*, Chicago: University of Chicago Press.
- Smelser N. (1963) *Theory of Collective Behavior*, New York: Free Press.
- Smith H.N. (1970) *Virgin Land*, New York: Vintage Books.
- Turner V. (1969) *The Ritual Process*, Chicago: Aldine.
- Weber M. (1968) *Economy and Society*, Berkeley: University of California Press.

Corruption — A Return of the “Old World” in the Modern Age?

Karl-Heinz Saurwein

Professor of Sociology, University of Bonn
1 Am Hof, Bonn, Germany 53113
Email: saurwein@uni-bonn.de

Vera Giryaeva
(translator)

Independent Researcher
Moscow, Russian Federation
Email: girv@mail.ru

In the paper a phenomenon of corruption is explored. Author provides arguments against the view that corruption is only typical of societies that did not transit to modernity or are still in process. According to this view, corruption is caused by cultural peculiarities or mentality. Author criticizes those sociological theories that explicitly or implicitly imply a model of an ideal society. In this model corruption is an evolutionary relic or pathological deviation. The author describes this way of theorizing as “theories of insufficiency”. In particular, he considers the advantages and disadvantages of a rational choice theory, a model of the principal-agent relations, a structural-functional perspective and modern system theory. He describes corruption as a form of authority at the intersection of various subsystems and argues that in order to study and understand classical and modern forms of corruption, one needs to look at its interconnections with structures of modern society and communications about corruption. Author comes to the conclusion that corruption, as a specific phenomenon typical of developing and transitional societies, should be challenged both from empirical and historical perspectives. This argument does not take into account institutional and cultural borders of liquidity and relations which emerge as a result of short term economic interests of transnational companies and corporations, and the aspiration for enrichment of local elites. Corruption is a highly modern phenomenon in the sense that it uses the difference of functional subsystems for maximizing personal or collective advantages within a field of action.

Keywords: corruption, rational choice theory, modern society, modernization, system theory

References

- Baecker D. (2000) Organisation als Begriff: Niklas Luhmann über die Grenzen der Entscheidung. *Lettre Internationale*, no 49, pp. 97–101.
- Luhmann N. (1995) Kausalität im Suden. *Soziale Systeme*, no 1, pp. 7–28.
- Smelser N.J., Lipset S.M. (eds.) (1966) *Social Structure and Mobility in Economic Development*, London: Routledge & K. Paul.
- Streissler E. (1981) Zum Zusammenhang zwischen Korruption und Wirtschaftsverfassung: Korruption im Vergleich der Wirtschaftssysteme. *Korruption und Kontrolle* (ed. C. Brunner), Wien, Köln, Graz: Bohlau, pp. 299–328.

Statelessness as a Normal Pattern of Social Life: James Scott's Arguments

Irina Trotsuk

Assistant Professor, Peoples' Friendship University of Russia
6 Miklukho-Maklaya Str., Moscow, Russian Federation 117198
Email: irina.trotsuk@yandex.ru

Four Domestications: Fire, Plants, Animals and... Us

James Scott

Professor of Political Science, Yale University
115 Prospect Str., Room 401, Rosenkranz Hall, New Haven, CT, USA 06520
Email: james.scott@yale.edu

Irina Trotsuk
(translator)

Assistant Professor, Peoples' Friendship University of Russia
6 Miklukho-Maklaya Str., Moscow, Russian Federation 117198
Email: irina.trotsuk@yandex.ru

This paper is an abridged translation of two lectures given by James Scott at the Yale University within "The Tanner Lectures" project. In seeking to answer the question why throughout the entire course of human history all states seemed to pursue the only goal — to ensure by all possible means the sedentary life of their citizens — Scott suggests an "alternative" version of the historical process. While he rejects the dominant "civilizational narrative" about the backwardness, barbarity, savagery and other derogatory features of non-state communities, he concurrently develops quite another model and interpretation of the first agrarian states emergence referring to exactly the same set of historical evidence. Scott believes that we all are in constant danger of resisting the archaeologically based hypnosis of the greatness of empires. Until recently the idea of their unchallenged dominance has prevailed in scientific and non-fiction literature. As a result, a truncated version of human history dominates the science, which, on the one hand, focuses on the moments of statehood, "forgetting" about the long periods of complete absence of any signs of states; on the other hand, it ignores the fact that there always were large and well-populated areas outside small enclaves of imperial rule. Scott shows that in the course of history, humanity has lived most of its life up until recently without any states. This version of history does not match our current perception of the world as an almost completely and totally controlled administrative space.

Keywords: sedentarization, first states, stigmatization, state evasion, agroecological landscape, barbarism, civilization

What is Ethnomethodology? — After 40 Years

Svetlana Bankovskaya

Assistant Professor, National Research University Higher School of Economics

6 20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000

Email: sbankovskaya@gmail.com

What Is Ethnomethodology?

Harold Garfinkel

Svetlana Bankovskaya
(translator)

Assistant Professor, National Research University Higher School of Economics
6 20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000
Email: sbankovskaya@gmail.com

The question of the ontological and methodological status of ethnomethodology is more than forty years long — it was formulated by Garfinkel in his first programmatic work *Studies in Ethnomethodology* (1967) and since then has become an essential part of the discussion on the ethnomethodological research strategies. This question also introduces the second programmatic book by Garfinkel, *Ethnomethodology's Program*. In answering this question, we can detect a change in the conceptual apparatus of ethnomethodology and methodological bias toward the Durkheimian principle of studying the social as the “thing”. Garfinkel joins this principle with a unique phenomenological realism in the representation of social facts. The objective reality of social facts, the work on their creation, featuring, recognition, description, and transmitting, remains the main issue of ethnomethodology. However, the interpretation of social fact's objectivity (“thingness”) acquires different sounding and is organized by the different lines of argument — “there is the order in the Plenum”, “order is found in the properties of the phenomenal field of social facts”, and some others. In the earlier studies, the phenomenon of social order and social facts have been found in the variety of living, local, specific details and have been considered to be an achievement of the individuals (which Garfinkel calls “members”) who are organized and skilled in their everyday life. Now, these facts have become things of the social order, the phenomenon of ordinary society existing before and after the individuals and their achievements.

Keywords: ethnomethodology, social order, Garfinkel, immortal ordinary society, phenomenological realism, objectivity

References

- Agre Ph.A. (1998) *Accountable artifacts: ethnomethodology and the reconstruction of computing*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, August 23, 1998, San Francisco.
- Garfinkel H. (1988) Evidence for locally produced, naturally accountable phenomena of Order*, Logic, Reason, Meaning, Method, etc. in and as of the essential quiddity of immortal ordinary society (I of IV): an announcement of studies. *Sociological Theory*, vol. 6, no 1, pp. 103–109.
- Garfinkel H., Lynch M., Livingston E. (1981) The work of a discovering science construed with materials from the optically discovered pulsar. *Philosophy of the Social Sciences*, vol. 11, no 2, pp. 131–158.
- Livingston E. (1987) *Making Sense of Ethnomethodology*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Quine W.V.O. (1987) *Quiddities: An Intermittently Philosophical Dictionary*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls A.W. (1996) Durkheim's epistemology: the neglected argument. *American Journal of Sociology*, vol. 102, no 2, pp. 430–482.

- Rawls A.W. (1997) Durkheim's epistemology: the initial critique, 1915–1924. *Sociological Quarterly*, vol. 38, no 1, pp. 111–145.
- Rawls A.W. (1997) Durkheim and pragmatism: an old twist on a contemporary debate. *Sociological Theory*, vol. 15, no 1, pp. 5–29.
- Weinstein D. (1972) Unfinished Ph.D. dissertation, University of California, Irvine.

Order on the Ground, or, The Struggle Against Security

Andrei Korbut

Research Fellow, National Research University Higher School of Economics

20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: korbut.andrei@gmail.com

Review of *Against Security: How We Go Wrong at Airports, Subways and Other Sites of Ambiguous Danger* by Harvey Molotch (Princeton: Princeton University Press, 2012).

From Manifest to Text

Oksana Zaporozhets

Leading Research Fellow, National Research University Higher School of Economics

20 Myasnitskaya Str., Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: o_zaporozhets@mail.ru

Review of *Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects* edited by Tim Cresswell and Peter Merriman (Farnham: Ashgate, 2011).

Creative Action in Creative City

Dmitry Saponov

Lecturer, Moscow School of Social and Economic Sciences
82 Vernadskogo Prospect, Building 2, Moscow, Russian Federation 119571
Email: dsaponov1@yandex.ru

Review of *Kreativnyj Gorod* [Creative City] by Charles Landry (Moscow: Klassika-XXI, 2011).

Contents

POLITICAL PHILOSOPHY

- Leo Strauss: The Art of Writing and the Art of Reading..... 4
Alexander Pavlov
- Persecution and the Art of Writing..... 12
Leo Strauss

SCHMITTIANA

- The Debate about the Foundations of the Political, or, Leo Strauss versus Carl Schmitt..... 26
Timofey Dmitriev
- Glossarium..... 41
Carl Schmitt

RUSSIAN ATLANTIS

- “The Only Voice that Government Gives Ear to”..... 45
Evgeny Emelyanov, Andrey Teslya
- Letter of U.F. Samarin to A.I. Herzen (May 9, 1858)..... 60

CULTURAL SOCIOLOGY

- Cultural Sociology and Watergate: “Politics Beyond Everyday”..... 75
Dmitry Kurakin
- Watergate as Democratic Ritual..... 77
Jeffrey Alexander

TRANSLATIONS

- Corruption — A Return of the “Old World” in the Modern Age?..... 105
Karl-Heinz Saurwein
- Statelessness as a Normal Pattern of Social Life: James Scott’s Arguments..... 120
Irina Trotsuk
- Four Domestications: Fire, Plants, Animals and... Us..... 123
James Scott

ETHNOMETHODOLOGY AND CONVERSATION ANALYSIS

- What is Ethnomethodology? — After 40 Years..... 142
Svetlana Bankovskaya
- What Is Ethnomethodology?..... 144
Harold Garfinkel

BOOK REVIEWS

Order on the Ground, or, The Struggle Against Security.....	155
<i>Andrei Korbut</i>	
From Manifest to Text.....	164
<i>Oksana Zaporozhets</i>	
Creative Action in Creative City.....	169
<i>Dmitry Saponov</i>	
Abstracts.....	178